



РОССИЙСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОСТОКА

**КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В РАЗВИТИИ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ**



ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ
Санкт-Петербург
1999

ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
ORIENTAL DEPARTMENT
RUSSIAN ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
INSTITUTE OF THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
SANKT-PETERSBURG BRANCH OF THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

THE STUDY OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE EAST

**Cultural Traditions and Continuity in the Development
of Ancient Cultures and Civilizations**

**Materials of an International Conference
in Sankt-Petersburg (November 23–25, 1999)**



**EVROPEISKY DOM
Sankt-Petersburg
1999**

РОССИЙСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОСТОКА

**Культурные традиции и преемственность
в развитии древних культур и цивилизаций**

**Материалы Международной конференции
в Санкт-Петербурге (23–25 ноября 1999 г.)**



**ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ
Санкт-Петербург
1999**

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Выпуск 61

ARCHAEOLOGICAL STUDIES
Issue 61

Редколлегия

В.М. Массон (ответственный редактор)
В.Ю. Зуев, Н.А. Лазаревская, В.П. Никоноров

Editorial Board

Vadim M. Masson (Editor-in Chief)
Natal'ya A. Lazarevskaya, Valerii P. Nikonorov, Vadim Yu. Zuev

*Проведение конференции и издание ее материалов осуществлено
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(грант № 99-01-1433г.)*

I. МНОГОПОЛЮСНЫЙ МИР КУЛЬТУР ВОСТОКА: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, ВОПРОСЫ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА В РАЗВИТИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

В. М. Массон (Санкт-Петербург)

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА

1. Преемственность и традиционализм представляют собой базисный генетический фактор оседлых оазисов и городского образа жизни, с особой отчетливостью проявляющийся в сфере материальной культуры. Уже раннеземледельческие общества и первые цивилизации образовывали многополюсный культурный мир с собственными устойчивыми традициями, достаточно четкими и в условиях торгового и культурного взаимодействия в рамках сосуществующих очагов цивилизации.

2. Подобный материализованный традиционализм ярко проявляется при переменах, происходящих при различной лингвистической ориентации оседлого населения в условиях смены политической ситуации и утверждения иноязычной лидирующей группы. Это ярко видно на примере городской культуры Месопотамии. Этот материальный традиционализм проявляется и в обществах, основанных на степном образе жизни и номадизме, связанных с определенным набором артефактов, выявляемых материалами археологии. Это лишний раз указывает на сложность прямолинейного использования данных археологии при поспешных типогенетических построениях.

3. Наряду с таким аспектом преемственности и традиционализма, носящим общеметодологический характер, для культур и цивилизаций собственно Востока характерны и специфические проявления традиционализма и преемственности, которая в ряде стран прямым образом возводилась в ранг государственной политики и могла вести к обособленности и изоляционизму. На Древнем Востоке в социальном менталитете очень рано установилось гипертрофированное дистанционное отношение к деспотическим лидерам, когда основное население, включая даже чиновников высокого положения, уничижительно считали себя рабами государя. Это, кстати, породило несколько поспешные заключения о т. н. поголовном рабстве.

4. Психологическая ориентальная приверженность традиционализму достаточно ярко проявилась в средневековой таджикско-персоязычной литературе, варьирующей стандартный набор традиционных сюжетов и тем. В их развитии и трактовке литераторы и поэты должны были проявлять изощренное мастерство. Это, как и ряд других явлений в сфере культуры, представляло собой планируемый целевой традиционализм.

5. Вместе с тем восточные общества зачастую демонстрировали открытость к адаптивным изменениям, особенно в условиях процесса культурной интеграции, когда иностранные стандарты и эталоны воспринимались и перерабатывались на селективной основе. С этим связано явление в культуре, обозначенное отечественными исследователями как постэллинизм, достаточно отчетливо проявившееся в древних культурах Южного Кавказа и Средней Азии. Уже после отхода эллинистической политической доминанты, будь то государство Селевкидов или Греко-Бактрия, преобразованные эллинистические традиции составляли неотъемлемую и отнюдь не

эклeктическую часть всего культурного комплекса. И ранняя Парфия, и Кушанская держава являют тому яркий пример. Весьма показательно многокомпонентное формирование согдийской цивилизации поры раннего средневековья, этого ярчайшего феномена Центральной Азии, который был остановлен на своем взлете арабским завоеванием и последовавшей затем целевой исламизацией. Двухкомпонентное соединение традиций цивилизации древнего Согда и стандартов засырдарьинской культуры Каунчи было обогащено устойчивыми традициями кушанского культурного наследия, органически включавшими индийские компоненты, и – для элитарной субкультуры – традициями Сасанидского Ирана.

А. А. Амбарцумян (Санкт-Петербург)

ТРИ ПАРФЯНСКИХ ТЕРМИНА ИЗ “АЙАДГАР-И ЗАРЕРАН”

Сохранившиеся письменные памятники парфянской эпохи известны благодаря нескольким среднеперсидским переводам и переработкам, осуществленным в сасанидском Иране в V – VI вв. Одним из таких памятников парфянской литературы является стихотворное сочинение “Айадгар и Зареран” (“Ayādgar ī Zarērān” – “Сказание [или Памятная книга] о Зарере”, далее - *A3*), переработанное по-среднеперсидски в VI в. и посвященное героической победе принявших зороастризм иранцев над хийонами, трагической гибели полководца Зарера и многих из его соратников (Jamasp-Asana 1897: 1-17). Текст *A3* содержит большое число парфянских слов и фразеологических оборотов, которые, благодаря значительному литературному влиянию Парфии, в сасанидское время были инкорпорированы в среднеперсидский язык. В настоящем сообщении мы рассмотрим три парфянских термина: *wispuhr*, *hamhirz* и *bayaspān*.

I. Wispuhr, wāspuhr, wāspuhrag, wāspuhragān (*A3* § 1, 2, 79, 88). Северо-западная парфянская форма слова *wispuhr* (юго-западная форма **wispus* в письменных источниках не зафиксирована), переводимая нами как “принц, сын рода, сын царственного рода”, встречается в нашем тексте в нескольких вариантах: в формах мн. ч. *wispuhragān* – § 1, 62, 63, 68; *wāspuhragān* – § 2, в форме ед. ч. *wāspuhr* – § 79, 88. В. Гейгер переводил его как “die Grossen” во всех случаях, А. Пальяро – как “dignitari”, а в § 79, 88 как “la nobilità di Vištāsp” или как “la nobilità vištāspiana”, Э. Бенвенист – как “les princes de mon sang” (§ 62), Х. С. Ньюберг – как “the princes of the blood royal” и “the (foremost) heir of the Vištāsp family”, Д. Монши-Задэ – как “die Prinzen”, С. Орьян – как “šāhzādegān, šāhzāde-ye Goštāsbi”, а Я. М. Навваби – как “xāssān”. Первое значение слова *wispuhr* (арам. идеограмма: BRBYT’ “сын дома”), выводится из авестийского *visō.puθrō* (др.-ир. **visah-ruθra-*) (Яшт V.33) “сын рода”, образованного по типу *tatpuruša*, когда первое существительное служит определением ко второму (ср. парф. *baupuhr* “сын бога”). Женская параллель его сохранилась только в парфянском *wisduxt*, арам. идеограмма BRBYTH (Nyberg 1974: 205, 214-215). Одно из производных значений слова *wispuhr* – “знатный вельможа при дворе царя”, “представитель высшего сословия”, по Х. С. Ньюбергу, “a nobleman of the highest classes”, согласно же Х. Бартоломэ, “die Mitglieder des persischen Hochadels” (Bartholomae 1911: 254). Став взрослыми, принцы царского рода или сыновья царских родов, по-видимому, оставили за собой титул *виспухров*, который стал впоследствии названием высшего сословия в сасанидском Иране (ср. контекст “Kāmāmag ī

Arđaxšīr ī Pābagān”, II.7; XV.8;9; XVIII.4 – там под словом wāspuhragān имеются ввиду молодые принцы царского рода, ср. синоним aburnāyādagān – “несовершеннолетние принцы”). Субстантивированная форма wāspuhr, с долгим гласным в первом слоге, объясняется появлением в раннем среднеиранском долгой ступени vṛddhi – *vāispuθri- “относящийся к сыну рода”, по аналогии со словом šābistān “относящийся к гарему, евнух”, возникшему от простой формы šābistān “гарем” (Henning 1958: 45; Луконин 1961: 47).

Относительно семантического соотношения и перевода wispuhr/wāspuhr и wispuhragān/wāspuhragān к настоящему времени сложились две различные точки зрения. Исходя из значения “принц”, В. Б. Хеннинг сопоставил wispuhr/wāspuhr с латинской парой princeps/principalis и вывел соотношение prince/principal (принц/основной или главный). По мнению Хеннинга форма wāspuhr является прилагательным и должна иметь свое собственное значение “основной, специальный, главный”, в смысле “первого по рангу и важности” (Henning 1964: 95-97). Это положение разделил также Д. Н. Маккензи, предложивший для контекста нашего памятника перевод “special companions”. По его мнению, формы wispuhragān и hamhīrzān в § 1 являются искаженными (corrupt), тогда как в § 2 появляются правильные (correct) формы wāspuhragān и hāmhirzān (MacKenzie 1971: 88; 1984: 156). Однако следует отметить, что оба варианта, с vṛddhi и без нее (как wispuhr/hāmhirzān, так и wāspuhr/hāmhirz), по форме являются северо-западными, т. е. парфянскими. Речь может идти только об отношении переписчика или переводчика к этим формам. § 1 является вводным и принадлежит редактору или переписчику, который употребляет здесь более привычные ему формы, без vṛddhi, наличие которой в § 2 грамматически не оправдано, в отличие от остальных примеров его употребления в тексте (§ 79, 88). Очевидные случаи замены парфянских форм среднеперсидскими многочисленны. Так, например, в § 5 очевидное парф. bidaxš “второй после царя, советник” заменено на ср.-перс. rēšēnīgān sālār; в § 82 парф. āxwarbed “главный конюший” заменено на ср.-перс. āxwar-sālār; возможно парф. форма mašk (ī) pādixšāh “царская палатка” (§ 43) продублирована переписчиком среднеперсидской mašk (ī) abarzēn (§ 44).

Предположение В. Б. Хеннинга расходится с объяснениями Х. Х. Шедера, Э. Бенвениста, Х. С. Ньюберга и А. Г. Периханян. Согласно аргументам последней, понятия первенства нет ни в основном, ни в производном иранском термине. Значения “основной, главный, первенствующий, специальный” не подтверждаются проверкой употребления этого термина в контекстах. Так, например, в среднеперсидском тексте “Abar stāyēnīdārīh ī sūr āfrīn” (§10) rus ī wāspuhr – это “сын-наследник, кронпринц”, а не “principal son”, как было предложено читать Хеннингом. Термин wispuhr/wāspuhr следует переводить в значениях “сын рода, принц, наследник” (Périkhanian 1968: 16-23; Периханян 1983: 218-223, 348-350). Первое значение слова wispuhr сохранилось в курдском bispōr, продолжающем иранское *visahpuθra- в значении “сын дома” (son of the house) (MacKenzie 1961: 376).

Представляется очевидным, что в тексте АЗ речь идет не только о кронпринцах или наследниках, а также о принцах – сыновьях родов в общем смысле. По свидетельству Ксенофонта, например, все сыновья высокопоставленных персов воспитывались при дворе царя (Anab. I.9.3). В § 1 и § 2 АЗ упоминаются сыновья и братья царя Виштаспа, и также все другие принцы - сыновья родов, принявшие маздаяснийскую веру. В § 62 и § 63 царь Виштасп собирается поселить своих сыновей, братьев и всех остальных сыновей родов в Медной Крепости. В § 68 царь Виштасп говорит, что не оставит маздаяснийскую веру

даже в том случае, если погибнут все его сыновья, братья, принцы - сыновья родов, а также жена Худос (Атосса), родившая 30 сыновей и дочерей. В § 79 и § 88 упоминаются принцы - сыновья дома Виштаспа, которых видит в бою Баствар; отсюда становится понятным, что в число принцев - сыновей дома Виштаспа входят также и сыновья бидаша Джамаспа. Вот список *виспухров*, согласно текста АЗ: сыновья Виштаспа - Фрашавард и Спандьяд, братья Виштаспа - Зарер и Падхосрав, сыновья родов - сын Джамаспа Грамиг-кард, сын Зарера Баствар. По одному из предположений А. Пальяро, относившемуся к другому среднеперсидскому тексту, под термином *wāspuhrag* можно видеть "незаконных, незаконорожденных детей" (*figlio illegittimo* - Pagliaro 1947: 68-71), что не может быть принято. Отмеченные в нашем тексте формы *wispuhragān/wāspuhragān* являются формами мн. ч. от парф. *wispuhrag/wāspuhrag*, образованных от более простой формы *wispuhr/wāspuhr* при помощи суффикса -ag. Их, естественно, не следует путать со среднеперсидским словом, заимствованным также из парфянского, являющемся не существительным, а прилагательным, образованным при помощи суффикса -agān/wāspuhragān "наследственная доля; приданое; собственный". Термин *wispuhr* был заимствован в армянском в формах *սեփուհի* *sepuh* и *սեփուհ* *sepuh* "знатный вельможа, дворянин", а прилагательное *wāspuhragān* в форме *սեփուհական* *sepuhakan* "собственный" (**wisepuhr*->*sepuh*, -ah->-e-; ср. также название армянской провинции Васпуракан - *Վասպուրական* *Vaspourakan*) (Benveniste 1929: 9-10; Hübschmann 1892: 327; Периханян 1983: 221, 349-350).

II. *Hamhinz, hāmhirzān* (АЗ § 1,2). Слово *hamhinz* (северо-западная форма) переводится нами как "помощник, компаньон, спутник, сопроводитель, соратник". В § 2 переписчиком оставлена его парфянская форма *hāmharz/hāmhirz*. Парфянское *hāmhirz* засвидетельствовано в манихейско-парфянских текстах из Турфана (А.-Н. III). В диалоге между богом и "телом", написанном в форме гимна, приводится следующее выражение: *dād-am āzādīft ō tō, man hāmhirz* "я дал свободу тебе, мой спутник" (Boyse 1975: 173 [§ 15]). Образовано это слово, по-видимому, путем сложения префикса совместности *ham/hām* и основы настоящего времени *hirz* "оставлять, покидать, освобождать" (инф. *hištan*), от авест. *hərəz-* "отпускать, освобождать" (Ghilain 1939: 49). Северо-западная форма *hamhinz* засвидетельствована также в среднеперсидском тексте парфянского происхождения "Draxt ī asūgīg" (§ 57), где коза, расхваливая свои достоинства, говорит, что из ее кожи делают сафьяновые сапоги для знатных вельмож, доблестных гвардейцев, соратников царя (*mōzag ham saxtagēn // āzādān *wasnād // angustbān <ī> husrawān // šāh <ī> hamhinzān*). Парфянская форма *hamharz* была заимствована в древнеармянском языке в виде термина *համհարզ* (*hamaharz*). Э. Бенвенист предлагал несколько иную трактовку парфянскому *hamharz*. По его мнению, это слово образовано не при помощи префикса *ham-*, а при помощи *hama-* "tout" (весь, все): **hama-harza* (или *hṛza-*) "qui fait abandon de tout" (тот, кто оставляет все), то есть тот, кто жертвует всем, что у него есть, в том числе и своей жизнью. Поэтому в слове *hamharz* (мн. ч. *hamharzān/hāmhirzān*) Бенвенист видит указание на воинов особой сасанидской гвардии *gyān-abespārān* "жертвующих своей жизнью, самоотверженных", институт которой, с его точки зрения, возможно был заимствован Сасанидами у парфянских Аршакидов (Benveniste 1936: 197; Geiger 1930: 197-198; об объяснении *gyān-abespār* в значении "подданного, вассала", то есть "вручающего свою жизнь кому-либо" см. Widengren 1957: 79-89). Этот термин хорошо засвидетельствован в "Kāmāmag...": *tan ud gyān abespārdan* (XII.16,19) "жертвовать телом и жизнью", *gyān-abespārān kardār* (XIII.18) "подданный, вручающий свою жизнь, преданный".

Существование “бессмертной гвардии” или элитного войска при царе было подвергнуто сомнению в статье А. Пальяро (Pagliaro 1954: 146-153). Как отмечает М. А. Дандамаев в одном из примечаний к переводу книги Д. Уилбера “Персеполь”, мнение Пальяро сводится к тому, что Геродот (или его источник) спутал древнеперсидское слово *анушия* (“соратник, приверженец, последователь”) со словом *ануша* (“бессмертный”) (см. Уилбер 1977: 88, прим. 13). Геродот пишет, что отряд из 10000 отборных персидских воинов назывался “бессмертными” по причине того, что “если кого-нибудь постигала смерть или недуг и он выбывал из этого числа, то [на его место] выбирали другого и [потому в отряде] всегда бывало ровно 10000 воинов – не больше и не меньше” (VII.83). Первая тысяча этих воинов состояла исключительно из представителей персидской знати и являлась личной гвардией царя. По мнению Дандамаева, все воспитывавшиеся при дворе царя сыновья высокопоставленных персов, о которых рассказывает Ксенофонт (*Anab.* I.9.3), становились будущими телохранителями царя (Дандамаев, Луконин 1980: 233; о царской гвардии “бессмертных” см. также: Дьяконов 1961: 290). Мнение А. Пальяро критикует в специальной статье Г. Ньюли (Gnoli 1981: 266-280), который считает, что нет достаточных оснований подвергать сомнению сообщение Геродота. Кроме того, постулируемое А. Пальяро *анаоша* со значением “бессмертный” в древнеперсидском не засвидетельствовано. О существовании отряда “бессмертных” в сасанидскую эпоху упоминается в византийском источнике VI в. (Procop. Caes. *BP* I.14.31;45). По мнению Н. Секунды, древнеперсидское название отряда “бессмертных” связано с глаголом *mar-* “умирать” и может быть восстановлено как **amrtaka* (Sekunda 1990: 69-70). В среднеперсидских текстах чаще встречается юго-западная, собственно среднеперсидская форма, возможно, того же самого слова – *hamhal*, *hamahl*, *hamāl* “сотоварищ”, ср. новоперсидское *hamāl* “товарищ, равный по положению”, образованная также от авестийской основы *hərəz-*, где исторический переход северо-западного *-rz-*, юго-западного *-rd-*, в *-l-* вполне закономерен (Nyberg 1974: 92). Совершенно иная этимология этого слова была предложена Х. Бартоломэ, в среднеперсидском *hamahl/hamāl* он видит составное имя, восходящее к гипотетическому иранскому **hamarḡda-*, префикс *ham* + авест. *arəda-* “стремление, тяжба, спор, вещь”, ср. санскрит. *artha* “цель, вещь, стремление”, санскрит. *samartha* “имеющий ту же цель, способный, сильный, равный”, согд. *ʾmʾrḡd-* “сотоварищ”, новоперс. *hamāl* “товарищ” (Bartholomae 1916: 5, 28-30; Henning 1946: 726; Периханян 1973: 483, 485). Однако в Авесте слово *hamərədā-* имеет исключительно негативное значение врага (см., например, Яшт 13.107). В. Гейгер переводил это слово как “die Freunden” (друзья). А. Пальяро, несколько приравнивая значения *wispuhragān ud hamhirzān*, переводил их как “*magnati e dignitari*”. Х. С. Ньюберг для формы *hamharz* предлагал перевод “*yeoman of the guard, aide-de-camp*”, а для формы *ham-hāl* (*hamāl*) – “*companion, fellow*” (Nyberg 1974: 92). Д. Н. Маккензи в своей рецензии на перевод АЗ Д. Монши-Задэ, который переводил это слово как “*Adjutanten*”, предложил для этого контекста более удачное “*attendants*” (слуги, свита) (MacKenzie 1984: 156). В современном персидском переводе С. Орьяна слову *hamhirz* соответствует перс. *hamgāhān* (“спутники, сопроводители”). Я. М. Навваби переводил его как *hammālān* “спутники”.

III. Bayaspān, bayaspānīh (АЗ § 4, 24, 26). В рукописях даются графические формы *bu°sp°n* (§ 26) и *bu°sp°nuh* (§ 24) восходящие к парфянскому **bēspān* “посол, гонец”, **bēspānīft* “посольство”. Этимологизируется от древнеиранского **dvay(a) + aspāna-* “[запряженный] двумя конями”. Отсюда произошла северо-западная парфянская форма – *bayaspān/bēspān*, с переходом др.-ир. *dv-* в *b-*. Она засвидетельствована в манихейско-

парфянском и манихейско-среднеперсидском (А.-Н. II.48), в парфянской версии надписи сасанидского царя Нарсе из Пайкули, а также в книжном пехлеви, например: *stor ī bayaspānīg* “посольская верховая лошадь [или верховые кони, предназначенные для запрягания посольских колесниц]” (“*Husrāw ī Kawādān ud gēdag-ē*”, § 102). Термин этот произошел от древней традиции посылать гонцов на двух конях и на колесницах, запряженных двумя конями (Widengren 1960: 31-32, comm. 112; Bailey 1943: 46-47, comm. 4). В юго-западных диалектах и собственно в среднеперсидском следовало бы ожидать форму **dēspān*, с переходом др.-ир. *dv-* в *d-*, от которой сохранилось заимствование в армянском *դեսպան* *despan* “посол, посланник”, *դեսպանութիւն* *despanout'iuṇ* “посольство”. Аналогичное заимствование засвидетельствовано также в арабском *dusfān* “вестник”. У древнеармянского историка VII в. Себеоса упоминается еще одна юго-западная форма – *դեսպակ* *despak* “колесница; гроб, одр” в описании трофейной “колесницы фарна” Хосрова Ануширвана (*դեսպակ փառած* *despak p'aṛaṣ*, от древнеиранского **dvaya + asp + aka-* “пароконная колесница”), которую сасанидские цари держали при себе во время военных кампаний (Bailey 1943: 46-47). В персидском языке сохранились следующие выражения: *دواسپه* *dōaspe* “на двух лошадях; во всю прыть”, *دروشکه دواسپه* *droške-ye dōaspe* “пароконный экипаж”, *دواسپه تاختن* *dōaspe tāxtan* “мчаться во весь дух”. Первое встречается также в классических персидских текстах (например, в “Шахнамэ” Фирдоуси, см. Wolff 1935: 401, и в “Месневи” Дж. Руми). А. Пальеро читал это слово как *baydēspān* “*araldo reale, araldo divino*” (царский гонец, божественный вестник), вероятно, основываясь на интерпретациях Р. Штакельберга (*bagdēspān* “*Königsbote*”) и Х. Бартоломэ (*baydēspān* “*Götterbote*”) (Pagliaro 1925: 37). Как установлено А. Г. Периханян написание (омограф) *by^osp^on* (варианты в других среднеперсидских текстах *by^ost^on*, *bgdyysp^on*, *bwg^osp^on*) применялось для обозначения другого слова, имеющего иное значение и этимологию – *bayaspān* > *bayaspān* “брак, супружество, брачное обязательство или союз, [скрепленный богиней Багой?]” от гипотетического иранского **baga-spāna-*, где первая часть переводится как имя богини Баги (Хеннинг, Шварц, в отношении к согдийскому термину *βαυānīpš* “бракосочетание; жених”) или “часть, доля, судьба, супружеская доля”, а в основе второй лежит корень **span-* “тянуть; стягивать, связывать”. Сам термин служил в сасанидском праве для обозначения разновидности брака *sine manu mariti*, когда девушка по собственному желанию покидает дом своего отца и вступает в сожительство со своим избранником без согласия отца, брата и других родственников (“Сасанидский судебник”, 21.8-10; 41.9-13; “Ривайат Эмета”, XXXI, 2). Синонимом к этому термину служит, по-видимому, заимствованное из авестийского, среднеперсидское слово *xvasrādēspīh* “самовверение”, *xvasrādēp* “сама передавшая себя [в брак]». В “Фраханг-и-Оим” (II f) последняя форма объясняется следующей глоссой: *девушка, которая самостоятельно выходит замуж* (Периханян 1973: 447, 546; 1983: 104-113, 322; Carlsen 1984: 115-122). Случаи такого брака, практически незаконного, имели место также и в древнеиранском обществе. В частности, нам известны, по крайней мере, два полуполюгендарных случая. Первый описан в “Шахнамэ”: это история Гуштаспа и Катаюн, где Катаюн видит во сне Гуштаспа, и затем на смотринах выбирает в мужья не румийца, как желал того ее отец, а чужестранца Гуштаспа. Символикой самовверения здесь служит букет цветов (из свежих нарциссов [как в списке “Шахнамэ” из коллекции СПбФИБ РАН] либо из роз и цветов базилика [как у Бундари]) или же венец, украшенный цветами, которым она увенчивает своего избранника Гуштаспа “Фаррухзада”. Несмотря на то, что отец не стал препятствовать этому браку, он все же лишил свою дочь благословения и оставил ее без

наследства и содержания. Опальные Катаюн и Гуштасп поселяются в деревенском доме одного дехканина. Катаюн продает оставшийся у нее алмаз, чтобы жить на вырученные деньги. На наш взгляд, это типичный случай брака *байаспан*.

Второй случай такого брака описан у Афиней (XIII. 575a): это романтическая история любви Зариадра и Одатида (Одатис). Здесь Одатида, дочь царя Омарта, видит во сне Зариадра, влюбляется в него и бежит с ним из отцовского дома, так и не выбрав себе жениха, из предложенных ее отцом. Символом самовверения Одатида здесь служит золотая чаша (золотой фиал), которую она вручает Зариадру. Разумеется, бегство Одатида из дома отца и самовольное бракосочетание лишили ее наследственного права и благословения отца. Как известно, Зариадр пришел с войском к реке Танаис (Сырдарье), пересек ее и проехал на колеснице к месту свадьбы. Затем он тайно отвел Одатиду к колеснице, и они бежали вместе на колеснице. Речь идет одновременно о “самовверении” и о похищении невесты, для которого как средство бегства в древнеиранские времена использовалась колесница, обычно запрягавшаяся двумя конями (**dvaya* + *asrāna* “двулошадная, двуконная”, парф. *bayasrān/bēsrān* “двуконная; гонец, посол, курьер”, среднеперс. **dēsrān* “посол, гонец, курьер”). Вполне возможно, что название этого брака – *байаспан*, т. е. брак, возникший в результате тайного бегства или похищения девушки из дома отца на колеснице. Отсюда можно предложить новое толкование брака *байаспан* как возникшего в результате бегства девушки с женихом из отцовского дома на колеснице без согласия отца, братьев и других родственников. Пример такого брака в армянской традиции дошел до нас во фрагментах песен армянских сказителей (*випасанов*). Так, в “Истории Армении” Мовсеса Хоренаци (II.50) приводится рассказ о том, как царь Арташес, вскочив на вороного коня, пересек реку, похитил аланскую царевну Сатиник и доставил ее в свой лагерь. Этот брак позднее был признан обеими сторонами, что послужило поводом к прекращению войны между аланами и армянами.

Приложение (отрывки из АЗ)

§ 1. Ēn Ayādgār ī Zarērān xwānēnd
pad ān gāh nibišt ka Wištāsp-šāh abāg
pusarān ud brādarān wispuhragān ud
hamhirzān ī xwēš ēn dēn ī abēzag ī
māzdēsnañ az Ohrmazd padīrift.

Это [сочинение], называемое
“Сказанием о Зарере”, было написано в то
время, когда царь Виштасп вместе со
своими сыновьями, братьями, принцами и
соратниками принял от Ормазда эту
незапятнанную маздаяснийскую религию.

§ 2. Ud pas Arjāsp [ī] hyōnān-
xwadāy azd mad kū Wištāsp-šāh abāg
pusān. [ud] brādarān ud wāspuhragān ud
hāmhīrzān ī xwēš ēn dēn ī abēzag [ī]
māzdēsnañ az Ohrmazd padīrift.

И узнал тогда правитель хийонов
Арджасп, что царь Виштасп вместе со
своими сыновьями, братьями, принцами и
соратниками принял от Ормазда эту
незапятнанную маздаяснийскую религию.

§ 79. Ēc ēr ud āzād passaxw nē dād
bē ān pus Zarērān kōdag [ī] haft
sālag humānāg frāz ō pāy estād ud gōwēd
kū man rāy asp zēn sāzēd tā man šawam
ud razm [ī] ērān wēnam *wāspuhr ī
Wištāspān <wēnam> ud ān tahm spāhbed
ī nēw Zarēr <ī > man pidar agar zīndag

Никто из героев и знатных не дал [ему]
ответа, кроме того сына Зарера, мальчика
семилетнего. Он встал и говорит:
“Оседлайте мне коня, чтобы я отправился
и увидел бой эранцев и принцев
Виштасповых, и увидел того храброго
полководца, отважного Зарера, моего отца,

ayāb murdag ciyōn ast pēš ašmā bayān живым или мертвым, чтобы все как есть
gōwam. рассказать Вашему Величеству”.

§ 88. Pas Bastwar asp frāz hilēd ud Затем Баствар пускает коня вперед и
dušman *ōzanēd tā ō <pēš> Wištāsp-šāh бьет врага до тех пор, пока не приходит к
rasēd gōwēd kū man šud ham u-m razm царю Виштаспу и говорит: “Я отправился
[ī] ērān drust dīd ud wāspuhr ī Wištāspān. и нашел, что идет сражение благоприятно
для эранцев и для принцев Виштаспа”.

§ 4. U-šān Wīdrafš ī jādūg ud И послал он посольством в Эран-
Nāmxwāst ī Hazārān abāg dō bēwar spāh шахр Видрафша колдуна и Намхваста
ī wizīdag pad bayaspānīh ō Ērān-šahr сына Хазара с 20 тысячами отборного
frēstīd. войска.

§ 24. [Ērān]-šahr azd kunēd ud “[Повели, чтобы Эран]-шахр [весь]
bayaspān azd kunēd kū bē moy-mard kē известили и [всем] гонцам сообщили, что
āb ud ātaxš ī Wahrām yazēnd ud за исключением магов, почитающих и
pahrezēnd ēnyā az dah sāl[ag] tā haštād хранящих воды и огни Вахрама, ни один
sālag cē mard pad xānag ī xwēš bc ma мужчина [в возрасте] от 10 до 80 лет в
pāyēd. своем доме не остался”.

§ 26. Pas har mardōm az bayaspān Тогда весь народ, гонцами
azd mad ō dar ī Wištāsp-šāh āmad hēnd извещенный, явился ко двору царя
pad *ham-spāh ud tumbag zanēnd ud nāy Виштаспа, и (вот) они всем войском бьют
pazdēnd ud gāwdumb wāng kunēnd. в барабаны, играют на флейтах и дуют в
рожки.

Библиография

Дандамаев М. А. Луконин В. Г. 1980. Культура и экономика древнего Ирана. М.

Дьяконов М. М. 1961. Очерк истории древнего Ирана. М.

Луконин В. Г. 1961. Иран в эпоху первых Сасанидов. Очерки по истории культуры.

Л.

Периханян А. Г. 1973. Сасанидский судебник “Книга тысячи судебных решений”
(Mātakdān ī hazār dātastān). Ереван.

Периханян А. Г. 1983. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский
периоды. М.

Уилбер Д. 1977. Персеполь. Археологические раскопки резиденции персидских
царей. Ред. и послесл. М. А. Дандамаева. М.

Bailey H. W. 1943. Zoroastrian Problems in Ninth-century Books. Oxford (repr. 1971).

Bartholomae Chr. 1911. Mitteliranische Studien. I-II // ZDMG. 25.

Bartholomae Chr. 1916. Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten I. Heidelberg.

Benveniste E. 1929. Titres iraniens en arménien // RevÉtArm. 9.

Benveniste E. 1936. Notes parthes et sogdiennes // JA. 228.

- Boyce M. 1975. A Reader in Manichaean. Middle Persian and Parthian. Texts with notes. Téhéran-Liège (Acta Iranica. 9).
- Carlsen B. H. 1984. Who is the Bayāspān daughter? // OrLovAn. 16.
- Gnoli Gh. 1981. Antico-Persiano anušya- e gli immortali di Erodoto // Acta Iranica. 21.
- Henning W. B. 1946. The Sogdian Texts of Paris // BSOAS. 11/4.
- Henning W. B. 1958. Mitteliranisch // Handbuch der Orientalistik: Iranistik. Leiden; Köln.
- Henning W. B. 1964. The Survival of an Ancient Term // Indo-Iranica. Wiesbaden.
- Hübschmann H. 1892. Armeniaca // ZDMG. 46.
- Ghilain A. 1939. Essai sur la langue parthe. Son système verbal d'après les textes manichéen du Turkestan Oriental. Louvain.
- Geiger B. 1930. Zu den iranischen Lehnwörter im Aramäischen // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 37.
- Jamasp-Asana J. M. 1897. Pahlavi Texts. I. Bombay.
- MacKenzie D. N. 1961. Kurdish Dialect Studies. II. London.
- MacKenzie D. N. 1971. A Concise Pahlavi Dictionary. London.
- MacKenzie D. N. 1984. [Rev.] Die Geschichte Zarēr's. Ausführlich kommentiert von D. Monchi-Zadeh. Uppsala 1981 // Indo-Iranian Journal. 27/2.
- Nyberg H. S. 1974. A Manual of Pahlavi. Pt. II: Ideograms, Glossary, Abbreviations, Index, Grammatical Survey, Corrigenda to Part I. Wiesbaden.
- Pagliari A. 1925. Il testo pahlavico Ayātkār-i-Zarērān, edito in trascrizione con introduzione, note e glossario // Rend. Mor. Acc. Lincei. Ser. 6. Vol. I/7-8.
- Pagliari A. 1947. Note di lessicografia pahlavica (5, 6, 7) // Rivista degli Studi Orientali. 22.
- Pagliari A. 1954. Riflessi di etimologie iraniche nella tradizione storiographica greca // Rend. Mor. Acc. Lincei. Ser. 8. Vol. IX/5-6.
- Périkhanian A. G. 1968. Notes sur le lexique iranien et arménien // RevÉtArm. NS. 5.
- Sekunda N. 1990. Achaemenid Military Terminology // AMI. 21 (1988).
- Widengren G. 1957. Recherches sur le féodalisme iranien // Orientalia Suecana. 5.
- Widengren G. 1960. Iranisch-semitische Kulturbegegnung in parthischer Zeit. Köln; Opland.
- Wolff F. 1935. Glossar zu Firdosis Schahname. Berlin.

***Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Российского гуманитарного научного фонда (№ 99-01-00321а).**

В. К. Афанасьева (Санкт-Петербург)

**ШУМЕРСКИЙ ПЛАСТ МЕСОПОТАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕКСТЫ С ПОЗИЦИЙ ПЕДАГОГИКИ**

В какой мере древняя духовная культура влияет на развитие более поздних поколений? Когда речь идет об исторической преемственности в хронологической последовательности, вопрос этот как будто бы не представляет больших загадок, даже если мы говорим о культурах разных географических ареалов, как, скажем, о влиянии греко-римской античности на европейскую культуру. Но совершенно иная картина предстает перед нами, когда мы встречаемся с цивилизацией прочно забытой, чей облик неожиданно предстает перед нами в результате археологических исследований и научных

изысканий, и выясняется, как прочно и многолико она жила в нашем сознании, не называя себя. Познание этого процесса может стать объектом не только и не столько абстрактных философских рассуждений, но будучи должным образом изученной и усвоенной, древняя культура может оказать влияние на развитие будущих поколений.

Так, шумерская школа уже в III тыс. до н. э. выработала приемы воспитания детей в духе дружелюбного отношения к иноязычным культурам, уважения к человеческой личности и постулировала те правила морального и этического сосуществования людей в обществе, которые много позже были сформулированы в библейских “Заповедях Моисея”. Причем зачастую это выражалось в формах столь живых и увлекательных и столь оригинальных, что материал этот даже сейчас может быть использован в школах и даже высших учебных заведениях, естественно, при соответствующей творческой переработке.

Из необычайно широкого и многообразного спектра проблем, встающих при таком нетрадиционном подходе к шумерским литературным текстам, автор выбрал ракурсы, представляющие, по его мнению, многие шумерские литературные произведения в новом свете:

1. Проблема двуязычия, как она встает из шумерских “школьных текстов” (экзаменационный текст “А”, “О том, кого укусила собака” и др.).

2. Использование пословиц и поговорок в качестве учебного материала.

3. Повторы-клише не только как стилистический прием, но и как мнемонический (способ заучивания и запоминания).

4. Композиционное построение шумерских литературных текстов – “жанровое” разнообразие отдельного произведения (“Энки и Инанна”, “Дом рыбы” и другие тексты).

5. Дидактическое направление шумерской литературы: этические максимы; заповеди-наказания и поучения; “библейские сюжеты” в шумерской литературе.

6. Пласт житейских наставлений: практицизм, реализм (“Наставление испуганному сыну”, “Гимн писцовому искусству”).

7. Шумерский пласт в “Поучениях Ахикара” и “Повести об Акире премудром”.

8. Шумеро-аккадские словари-силлабарии как важнейший источник изучения и понимания духовной и интеллектуальной культуры жителей Древнего Двуречья – следующий необходимый этап в истории науки о древности.

Шумерский пласт таким образом обнаруживается и прослеживается не только в культуре месопотамской цивилизации, но и много шире. Причем, кроме видимой и как бы внешней струи, питающей последующие месопотамские культуры, существует и внутреннее “подводное течение”, неожиданно обнаруживающееся в условиях современных исследований, когда мы выясняем, что какая-то культура усвоила плоды шумерской, даже не подозревая о том (как в случае с русской нравоучительной повестью). При этом не следует забывать, насколько меняется “образ” древней культуры в зависимости от восприятия ее другой культурой во времени.

Боголюбов М. Н. (Санкт-Петербург)

ХОРЕЗМИЙСКАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ГЛОССА

В “Главе о молитве путешественника и молитве на судне и на верховом животном” (MacKenzie 1990: 195) говорится: *Судно пристало к берегу, по-х(орезмийски) miškiṭa.*

Глагольная форма 3-го лица ед. числа имперфекта *mičkiīta* содержит префикс прошедшего времени *m-* и окончание, восходящее к вторичному медиальному окончанию *-tā*. Для определения строения основы, собственно, ее ауслота, необходимо дать ответ на вопрос, что обозначает [t̥], согласный, помеченный знаком ташдида. Предположение о том, что ташдид (MacKenzie 1989: 270) применялся для указания места словесного ударения, не состоятельно. Пример написания слова *riūt brynza, сыр* через [n̥] указывает лишь на то, что оно не является заимствованием персидского *ranīr*. В то же время варианты, в которых продолжается др.-иран. **pati-nīra-/*pati-nīθra-*, а именно азербайджанское *pendir* и туркменское *reunir brynza, сыр*, содержащие [nd] и [ēy], вместе с хорезм. *riūt*, расширяют круг производных от др.-иран. **pati-nīra-/*pati-nīθra-*. Здесь мы исходим из того, что [t̥] подразумевает геминат [tt].

Из прекрасного описания хорезмийской глагольной системы, принадлежащего М. Самади (Samadi 1986), следует, в частности, что в хорезм. [č] может продолжаться др.-иран. [tʃ], ср., например:

m|čf̥y- stehlen от основы **tʃfya-* корня *tarp/tʃp stehlen*, авест. *trʹfiia- stehlen*, согд. *cf-stehlen*; - Impf. 3. Sg. *mčfydyč* (**mčfydʹhyc*) *yʹ bdw er stahl ihm die Habe*;

m|čy- durstig sein, durstig werden от основы **tʃša-*, др.-инд. *tʃša- dürsten* – Impf. 3. Sg. *mčyd er war, wurde durstig* = перс. *tišna šud*; Impf. 3. Sg. *mčuyd y mrc der Mann wurde durstig*.

При *m|čf̥y-* *красть* от основы **tʃfya-* и *m|čy-* *испытывать жажду* от основы **tʃša-* имперфект *m|č°kīā* восходит к глаголу *tʃk/tark/θrak*, который запечатлен в пассивном причастии авест. *θraxta- zusammengedrängt, eng aufgeschlossen* (AirWb: 801). Yt. 14.63: *θraxtanam rasmanam den zusammengedrängten Schlachtreihen*.

М. Самади (Samadi 1986: 322) выделила корень *tʃk/tark/θrak drängen* в глаголах *pšc- прилеплять*; *pšxš- прилепляться, приставать*; *m|šc̥y- соединять, скреплять*, *m|šxš- соединяться*: *pʹšcdybyr er klebte es darauf*, *<*pati-θrača-*; *pʹšxšt fʹ βwm er haftete am Boden* (= перс. *bar čafsīd ba zamīn, dōsīd ba zamīn*), *<*pati-θraxsa-*; *mšcydʹh* (**mšcydʹh*) *er nähte, fügte die Sache zusammen*, *<*ham-θračaya-*; *mšxšt es (das Zerbrochene) wurde zusammengefügt*, *<*θʃxsa-/*θraxsa-*, или при **m|šxš-* *<*ham-θʃxsa-* (**ham-tʃxsa-*)/**ham-θraxsa-*.

По форме *m|č°kīā* относится к группе глаголов, имперфект которых в 3-м лице ед. числа оканчивается на *-yt* и в 3-м лице мн. числа – на *-yl*. Соответственно, *m|č°kīā*, форма 3-го лица ед. числа, в стандартном написании имела бы *-y-* перед окончанием: **mčkyt*, **m|č°kyt̥*. В состав данной группы входят глаголы: *bʹdyt*, *bʹyut*, *βʹryt*, *cʹyrdyt*, *cʹyt/cʹyl*, *pʹmūt*, *pʹryt*, *pʹxryt*, *pʹxut*, *šʹmūt*, *wʹzyt/wʹzyl*, *pʹcxryl*, *mncyt*, *mrxyt*, *mxyt*, *myt*. Исходя из написаний *myt*, *m|č°kīā*, можно считать, что [t] и [l], находящиеся в окончании этих глаголов, являются геминатами [t̥] и [l̥]. Геминированный [t] в исходе форм является следствием упрощения группы *-št-*, примером чему может служить хорезм. *wzī Rückenfett, fettes Stück vom Fleisch* из авест. *vazdah-*: **vazdi- жуп* – **vazdi-šti-*, ср.-перс. *gūšt, gōšt мясо* *<*gav-šti-*. Основу имперфекта *mičkiīta* представим в виде *-ičkiš-* *<*-čikiš-* *<*tʃkiš-*. Строение основы **tʃkiš-* при корне *tʃk* заслуживает внимания. Примечательным является соотношение в области имени, где противостоят авест. *špiš*, др.-перс. **θiša-/*θiīša-* (Skjærvø 1996: 271), согд. *špš-h*, пехл. *špiš*, перс. *šipiš*, пушту *spʹža*, вах. *šiš вошь*, с одной стороны, и хорезм. *spʹh вошь* – с другой. Также в области глагола. В хорезм. 3. Sg. Conj. *šmʹh* с *чтобы он соизволил*, в инфинитиве *pmʹhʹk испытывать* представлена регулярная

основа презенса šm^h- <*fra-māha- <*fra-māya-, prm^h- <*pari-māha- <*pari- māya-. Но имперфект этих глаголов – š^hmyt он *соизволил*, p^hmyt он *испытал* – образован от основы, отличающейся от основы презенса. Если допустить, что показатель –t окончания этих глаголов представлен геминированным –ī, в этом случае основа рассматриваемых форм исходила на –š и являлась основой сигматического аориста нетематического спряжения (со вторичным аугментом): š^hmyt <*fra-mayiš-tā, p^hmyt <*pari-mayiš-tā; pr^h- : pr^hd^hyk *отпустить, освободить* <*pa(ra)-raya- : *pa(ra)-rāta-. От основы сигматического аориста *pa(ra)-rayiš- образованы 3. Sg. Inj. pryt во фразе nyf^h β^h pryt^h y δ^hrkd *не отпускал тебя твой владетель*, и 3. Sg. Impf. p^hryt^h он *освободил его*; p^hxrytybr (<p^hxryt^hhybr) y^h krc (= перс. bikašīd bar vau kārd rā) он *направил на него нож*. 3. Sg. Impf. m^hc^hk^htā – *утвердился, прижился, пристал*.

Библиография

- MacKenzie D. N. 1989. Khwarezmian in the Law Books // Études irano-aryennes offertes à Gilbert Lazard. Paris.
- MacKenzie D. N. 1990. The Khwarezmian element in the *Qunyat al munya*. London.
- Samadi M. 1986. Das Chwaresmische Verbum. Wiesbaden.
- Skjærvø P. O. 1996. Of Lice and Men and the Manichean Anthropology // Festschrift Georg Buddruss. Reinbek (St.II. 19 [1994]).

А. К. Бондарев (Санкт-Петербург)

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И КИТАЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО

В дискуссиях об экономических феноменах Азии культурологический (антропологический) подход, восходящий к М. Веберу (который отдельно выделял проблематику Китая), несмотря на его дискуссионность, приводит к конфуцианскому хозяйству, являющемуся до определенного этапа барьером на пути становления экономического модерна, при наличии тем не менее многих объективных социально-экономических предпосылок – большие города, независимые профобъединения и т. д. – и превращающемуся затем в *causa activa* трансформации. Такой метаморфоз сопрягается с моделью Г. Хофштеде, согласно которой характер экономического развития в той или иной стране определяется природой культурных ценностей, превалирующими в данной стране. Хотелось бы разобраться, в чем смысл упомянутых “характера” и “природы”, но важнее подчеркнуть, что в этом случае внимание уделяется уникальным чертам культурной окружающей среды хозяйствования.

Сравнивая западную и китайскую культуры, в литературе признается, что в последней отдельный человек рассматривается просто как физическое тело, которое может быть цельным только при условии, если его сердце обращено к другим людям, т. е. при условии создания “коллективного тела”, выхода за рамки своего собственного интереса и подчинения его единству с другими людьми. Человеческое сознание, таким образом, пробуждается лишь в процессе обмена некими ценностями с другими людьми. В китайской культуре выход из тяжелого морального состояния принято находить с помощью переосмысления своего “Я”, которое заключается в отождествлении себя с

коллективом. Результат такой психотерапии – пробуждение чувства благодарности, которое должно находить выход в услужении другим. Отмечается, что чувство привязанности к коллективу – это своего рода бумажные деньги, то есть универсальное средство обмена, превращающие взаимный обмен духовными и материальными ценностями (реципрокность) у китайцев в род кредита. В экономике этот культурный код применяется для программирования иерархической системы управления, основой которой выступают синдикаты, холдинги и прочие центры, объединяющие хозяйствующие субъекты в императиве максимальной пользы народу и стране.

В традициях Ф. К. фон Баадера, В. А. Вэйскопфа, М. Фуко, подчеркивается феномен деромантизации любви, свойственный конфуцианству, когда функциональность половых влечений формируют пренебрежительное отношение к индивидуальному хозяйству, полноценность которого приобретает лишь при условии вовлечения в более возвышенную сферу коллективного хозяйства. Некоторые авторы полагают, что китайская культура с этой точки зрения в современных условиях предстает иной эгоистичной стороной, которая связывается с даосской философией, в том числе с наукой любви. Обратной стороной включенности индивида в коллектив является редкость собственного одиночества и собственных потаенных желаний, – предпочтение интровертных форм существования, меньшей эмоциональной близости с другими людьми. Как представляется, существенно то, что становится энанциодромия, дополнительность, эксполарность культуры, что, обуславливая ренту, делает ее отдельным фактором экономического роста. Смысл же ее состоит в том, что показной коллективизм в сочетании с глубинным эгоцентризмом приводят к тому, что за коллективистским хозяйством централизованно планируемой системы скрывается частная предприимчивость. В связи с этим в литературе отмечается, что одна из особенностей деловой китайской этики заключается в стремлении обмануть партнера, чтобы приобрести чувство превосходства и уважение соотечественников.

Рассматривая данные суждения, можно отметить обычные логические ошибки культурологии и обществоведения – фикции обобщенного образа и сопутствующие им мифы. Представляется, что переход к новым общественным отношениям, какими бы они не обозначались, сопровождается ренессансом патриархальных семейных отношений. Взаимный обмен в виде даров – это генезис любой общественной связи (ср. М. Мосс). Построение картины культуры на крайностях задано свойственной “наивной” логике наглядностью и конкретностью (ср. др.-индийская силлогистика). В суждениях аналитиков так или иначе присутствует импульс эклектики (творческой?) традиционных учений конфуцианства, легизма, моизма, даосизма. Недостаточна компаративистика конфуцианского культурного региона.

Однако при нынешних условиях Китая и макроэкономической эффективности культурных традиций возникают новые вопросы: о дремавшей долгое время и стремительно прорвавшейся креативности конфуцианского хозяйствования; о возвращении капиталов китайской диаспорой; о возможности радикальной переориентации крестьянско-ремесленно-торгового мышления на получение иностранных кредитов, роль которых в становлении экономического чуда превосходит и средства “хуацяо” и спекулятивные доходы Гонконга. Во-первых, особые периоды функционирования конфуцианства в стране, где оно являлось официальной идеологией до 1949 г., хотя учение Конфуция не следует отождествлять с конфуцианством императорского Китая (в котором господствовала трактовка “достижения единства через разномыслие” как гармонии). Реабилитация Конфуция началась после суда над

зачинателями кампании “критики Линь Бяо и Конфуция” (1972 – 1976 гг.), когда власти официально объявили себя последователями ранних легистов, а всех политических оппонентов конфуцианцами. Во-вторых, это функционирование дифференцированной для правящих слоев и народных масс идеологии, которая вместе с тем обеспечивает жесткий централизованный контроль, осуществляемый не столько директивными и административными, сколько неформальными, методами, что, несмотря на негативный потенциал коррупционности, обеспечивает положительное решение вопроса о политической воле, которая в свою очередь подкрепляется, как представляется, традиционной идеей ответственности властей за правильный Дао-Путь и экономической риторикой “общества малого благоденствия”. В-третьих, изменяется идеологическое содержание национализма: если вначале царство связывалось с династией или со знатью, то постепенно оно сближается с понятием народа, превращаясь в китайскую нацию, а, следовательно, в носителя всех высших ценностей и в определение нации в терминах дополитического культурного единства, в идее которого мыслится достижение единства через разномыслие, а не путем соглашательства. На самом деле, компромисность, как правило, сопряжена с неустойчивостью. Тогда, эффективность выражается формулой: $\mathcal{E} = 1/U$, где \mathcal{E} – эффективность; U – устойчивость.

Таким образом, вывод сводится к тому, что переход к современным условиям не был постепенным и непрерывным, включая не столько инновации, сколько фиксирование и институционализирование гибких и развивающихся традиций.

Дальнейшие перспективы анализа связаны с решением историко-методологических и компаративистских проблем. Можно выделить два подхода в культурно-экономических исследованиях – рационалистический и культурологический (антропологический). Согласно первому, социально-экономические организационные формы возникают благодаря адаптации более ранних систем, функционирующих в промышленно развитых странах, посредством простого заимствования или собственного изобретения в качестве реакции на специфические проблемы и задачи индустриального хозяйствования, которые, тем не менее, имеют некоторые существенные универсальные черты. К ним относятся организация и функционирование крупного производства и промышленная демократия.

Второй подход рассматривает и аргументирует адаптацию модели традиционного доиндустриального поведения, опыт которого отличается совершенными механизмами сопряжения централизации и децентрализации, выработанными в процедурах арбитража конфликтов по поводу распределения водных ресурсов, а также создания барьеров обособлению групп внутри совместно функционирующей организации, к которым относятся полуавтоматическая координация деятельности различных производственных единиц, централизованно управляемая ротация работников между подразделениями организации. Представляется, что второй подход, отличающийся информационной емкостью, позволяет раскрыть такие характеристики экономического роста, как его высокие темпы, и содержит ряд черт, которые в силу “иронии истории” демонстрируют формы производственной организации постиндустриальной и информационной экономики. Между тем, методологические проблемы этого подхода состоят в том, что требуется учитывать конкретно-исторические этапы экономической модернизации каждой отдельной страны, что в конце концов, приводит к доминированию идеографического инструментария. Кроме того, в специальном смысле он оставляет в стороне проблемы финансовой демократизации и инновационности.

Несмотря на значение культурно-экономического фактора, выделяются рациональные экономические, а именно экстенсивные факторы, такие как: предельное

наращивание вложений, увеличение числа занятых в производстве, повышение образовательного уровня, тотальная мобилизация материальных и физических ресурсов, которые обуславливают временные успехи, однако страдают ограниченностью, поскольку не преодолевают узость внутреннего рынка. Кроме того, увеличение вложений без повышения эффективности их использования в результате прогресса в технологии обречено на постепенное снижение темпов роста. Собственная непоследовательность рассуждений преодолевается тем, что традиционная идеология, игнорирующая ценности финансовой демократии, к которым следует отнести платежеспособный массовый спрос и доступность банковского кредита, позволяет добиться высоких темпов экономического роста и изменений, но сами эти темпы и результаты трансформации остаются случайными в смысле способности обеспечения благосостояния и стабильности в долгосрочной перспективе, поскольку не приводят к инкорпорированию рыночных институтов.

Существенно, что в традиционном китайском наследии нет идеи независимости судебной власти, возникающей, как известно, на основе ленного права и прецедента. Между тем, представляется, что подобный правовой менталитет по сравнению с религиозным и политическим, оказывается непосредственным культурным фактором генезиса цивилизованных рыночных экономических отношений, обуславливая формирование таких стереотипов сознания, как сословные и личные свободы, правотворчество и т. д. и соответствующего поведения.

Таким образом, представляется уместным вывод о том, что китайский новый и новейший опыт экономической политики свидетельствует о макроэкономической значимости культурных, философских и религиозных традиций, практическая эффективность которых связана в первую очередь с решением задач экстенсивного роста, к которым, несмотря на дискуссионность подобных вопросов, не сводятся цели экономического развития.

Я. В. Васильков (Санкт-Петербург)

АРИЙСКО-ФИННО-УГОРСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В СФЕРЕ ЗАУПОКОЙНОГО РИТУАЛА

Ж. Дюмезиль в книге “Romans de Scythie et d’alentour” (1978) цитирует статью В. Миллера (1882) о справляемом после Нового года осетинском заупокойном обряде *mærdtu badæp* ‘сидение мертвых’: “Делают чучело, изображающее покойника, распялив на палках его одежду (по другим данным: “надевают одежду покойника на крестообразную палку” [Е. Бинкевич]). Чучело ставят на скамейку, вокруг которой раскладывают все любимые вещи покойного – винтовку, шашку, кинжал, трубку с табаком, балалайку и т.п. Перед чучелом ставится чашка и бутылка арака, предназначенные покойнику... В течение дня происходит оплакивание, а затем угощение”. Вслед за В. Миллером Дюмезиль ставил осетинский обычай в связь с тем, что у скифов, по Геродоту (IV.72), через год после смерти царя вокруг его могилы ставили 50 чучел убитых в честь его юношей и коней, – параллель не слишком убедительная. Важнее отметить, что у осетин обычай изготовления “поминального чучела” стоит в прямой связи с практикой воздвижения через год после смерти на могиле покойного деревянного столба-памятника, на котором, согласно той же статье В. Миллера, “красками изображается ряд патронов, носимых на черкеске, пороховница, нож, ружье, пистолет, плеть, ниже – лошадь, кувшин и чашка”; а это уже находит полную параллель в

культуре “скифского мира” в виде так называемых “оленных камней”, представлявших собой те же “поминальные столбы”, но возводившиеся для наиболее знатных или иначе отмеченных судьбой героев, а потому – в более долговечном материале. Отнести данный обычай даже к доскифской (скажем, “андроновской”) древности позволяет обнаружение сходной практики в других частях индоиранского мира, например у кафино-дардских народностей (где в обряде похорон и поминок использовали “соломенное чучело, на которое надевали праздничную одежду покойного”, или “носили деревянную крестовину, на которую была надета его красная рубаха”, а через год после смерти устанавливали на могиле деревянный столб-памятник [Йетмар]). В Индии находим бесконечное многообразие форм – от примитивных “памятных столбов” или “памятных камней” – до великолепных мемориальных колонн и статуй умерших царей в специальных зданиях (известны лучше всего кушанские образцы таких статуй).

Однако сопоставление форм одного отдельно взятого обрядового мотива у разных народов не обладает достаточной доказательной силой. Гораздо важнее то, что у разных индоиранских племен совпадает последовательность поминальных обрядов, в целом система заупокойного ритуального символизма и некоторые сопутствующие ей мифологические представления. И чрезвычайно важным для исторической реконструкции древнейшей системы заупокойной обрядности у индоиранцев представляется тот факт, что в значительной мере совпадает с ней, по-видимому, система символических форм в хорошо документированной заупокойной обрядности финно-угорских народов Волги, Урала и Сибири. Существование такого параллелизма не удивительно, так как соседство на протяжении многих веков древних финно-угров с индоиранцами на Южном Урале и в других областях, заимствование финно-угорскими языками арийской лексики (в том числе ритуальной) давно можно считать доказанным.

У восточных финно-угров, как и у индоиранцев, заупокойная обрядность состоит из серии *индивидуальных поминок* (напр., у волжских финнов: в день похорон, 3-й, 7-й, 40-й день [в нек. местах еще 9-й и 20-й], а также через год после смерти). Затем покойного чествуют уже в составе всего класса умерших предков, в ходе *общих годовичных поминок* (общественного жертвоприношения). У угров (хантов и манси) соблюдался длительный траур с участием деревянной куклы (чучела): вдова одевала на нее одежды и украшения мужа, сажала на мужнино место, готовила и предлагала его любимые кушанья; обнимала, целовала, брала с собой в постель (ср. обычай траура у осетин: в течение года муж как бы незримо присутствует дома, для него совершаются все обычные действия (жена подает воду при умывании, стелет постель и т. д.)). Присутствие “куклы” здесь, впрочем, не засвидетельствовано, как и в варианте обряда у восточных мари: в поминки 40-го дня, по окончании пира, вдова брала с собой в постель подушку, на которой мертвец “сидел” за столом: “Этой ночью в последний раз мы будем спать вместе” (Holmberg). В воздании почестей “кукле” знатного покойника, содержащейся в особом чуме, принимали участие все близкие. Через год (3, 5 лет) “куклу” погребали, а в старину чаще помещали в так называемые “намогильные дома”. У чувашей (мощный дотюркский субстрат в культуре которых следует, по-видимому, считать протомарийским) во время осенних общих поминок члены семьи, недавно потерявшей своего главу, вырубали в лесу столб, придавали ему антропоморфные черты (навершие-“фуражка”), везли в дом, где “одевали его чем-нибудь, как бы человека”, и воздавали ему почести. По окончании обряда столб отвозили на кладбище и устанавливали на могиле в качестве памятника. Термин для этого столба-памятника (чув. *йоба* [Магнитский], совр. словарное *юпа*; ср. морд. *юба* ‘жертвенный столб’, удм. *юбо* ‘столб’) вопреки принятой “тюркской” этимологии (в связи

с монг. *обоо, обон*) следует, по-видимому, этимологизировать в связи с санскр. *йупа* – ‘столб, к которому привязывали жертвенное животное’ (что отражено непосредственно в этимологии: *йупа* < *йаупи* ‘привязывает’), но в определенных контекстах – и “памятный столб”. У волжских финнов (мордва, мари) и коми-зырян преобладают несколько иные формы выражения “присутствия умершего”: участие живого человека в роли “заместителя” (скорее всего – нововведение в процессе развития ритуала и в интересах его драматизации) или “незримое” присутствие покойника (форма, развившаяся, не исключено, под влиянием русских соседей); там не менее, у мордвы и мари засвидетельствована более древняя форма обряда с присутствием тряпичной “куклы”, представляющей покойника.

Из числа более или менее значимых схождений (а таким менее значимым, точнее значимым лишь в контексте совпадения общей структуры обряда элементом, является, например, троекратное обведение вокруг могилы коня, принадлежавшего усопшему, у осетин и марийцев) между арийским и финно-угорским заупокойным обрядом следует выделить заключительную часть поминальной церемонии, когда у коми-зырян, удмуртов, марийцев и чувашей жертвенная пища, которой “угощали” гостей-покойников, отдавалась *собакам* (иногда: собакам и воронам). Можно было бы считать эту деталь не имеющей символического значения (пищу просто выбрасывали в определенном углу двора или кладбища, собаки, естественно, поедали ее) – если бы подношение собакам жертвенной пищи неизменно не сопровождалось бы прямым обращением к покойникам (например: “Старые черемисы, ... хорошо поевши-попивши, тихо, а не бранясь, уходите”), если бы устойчивые традиционные интерпретации обряда не представляли собак либо “заместителями” покойников (“Если они пренебрегают едой, то считают, что усопшие не довольны пиром; если собаки грызутся из-за еды, это признак того, что между усопшим нет согласия” [Holmberg]), либо посредниками между двумя мирами, доставляющими еду усопшим. А это уже отсылает нас к известным индоиранским представлениям о собаке как посреднике между живыми и мертвыми, проводнике и страже на загробном пути. Ближайшую аналогию этому мифологическому представлению, точную даже в деталях, находим в традиции коми: собака сторожит переправу на тот свет, “четыреглазая” (т. е., с двумя надбровными пятнышками) собака видит злых духов, не дает им напасть на хозяина (В. А. Семенов). Как известно, у иранцев “четыреглазая” собака считалась прокладывающей путь на тот свет и способной видеть смерть, на чем основывался ритуал *sagdid* (“взгляд собаки”), когда собака своим взглядом отгоняла от мертвого тела духа трупного разложения (см. *Видевдат* 8.16-19). В фольклоре коми фигурирует также хтоническая, связанная со смертью “пестрая собака” (Д. А. Несанелис), что заставляет вспомнить стих *Ригведы* (X.14.10), где описываются стерегущие путь в царство мертвых “четыреглазые, пестрые” собаки “царя Ямы”. Позднее у индийцев выработалось представление о собаке исключительно как о нечистом животном, но пережиточно сохранилась и архаическая идея о том, что остатки жертвенной пищи, отдаваемые собакам (и воронам), доставляются предкам.

Сходные мифологические представления археологически засвидетельствованы, по-видимому, находками собачьих костяков в ряде погребений (иногда у входа в могилу или в дромосе) андроновского и скифского времени (подробнее см. в подготавливаемом расширенном варианте настоящей статьи).

В заключение отметим, что рассматриваемая система заупокойных обрядов у мари и чувашей сопрягается с мифологическим представлением о переходе умерших в загробный мир по узкому мосту, тонкой жердочке или нитке. Например, у луговых мари в ходе

поминок 40-го дня перебрасывали через канавы и ручьи длинную жердь – “мост” для покойника, чтобы легче было переправиться. Этнографы и фольклористы, описывавшие это поверье у народов Поволжья, увязывали его с иранской традицией, но иногда предполагали посредство ислама (см., например, Маторин). Между тем, это представление, встречающееся в архаических иранских традициях (напр., у осетин – “скользящий и льдистый путь” во владения царя мертвых, затем путь в рай по стеклянному волоску; у кафиро-дардской народности калашей – поминальную пищу бросают воронам, кормя таким способом умерших, которые иначе не смогут перейти на тот свет по узкому мосту), является дозораострийским, более того, оно возводится к эпохе индоиранской общности (М. Бойс, М. Элиаде). Поэтому, при возможном наложении на это представление у волжских народов в его позднейшей форме мусульманских влияний, в основе своей оно могло быть заимствовано предками волжских народов непосредственно от индоиранцев или иранцев – вместе с вышеописанными элементами заупокойной обрядности.

***Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований (№ 97-06-80326).**

С. М. Горшенина (Ташкент)

ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

(об экспедиционной деятельности В. В. Крестовского)

Практически во всех изданиях, посвященных истории археологического изучения Средней Азии, роль В. В. Крестовского укладывается в простую схему: буржуазный реакционный писатель, появившись в Туркестане при генерал-губернаторе М. Г. Черняеве, провел вместе с Ю. Д. Южаковым реорганизацию целого ряда учреждений, в частности способствовал передаче коллекций Самаркандского музея в Ташкент (1883) (Массон 1956: 8–9) и ликвидации Ташкентской публичной библиотеки, которая из самостоятельного учреждения превратилась в книгохранилище при Ташкентском музее (1883) (Добромыслов 1911: 258), а также осуществил по собственной инициативе дилетантские раскопки Афрасиаба, которые были приостановлены Русской Императорской Археологической комиссией, направившей сюда “для спасения” уникального городища Н. И. Веселовского. Одним из самых резких отзывов современников В. В. Крестовского о его работе является реплика Н. А. Наследова: “Крестовский, не имевший никаких познаний в археологии, ископал эту местность и вывез оттуда в Ташкент несколько возов древностей..., но знатоки признавали, что эти древности, сваленные в кучу без всякой систематизации, не имеют той ценности для науки, какую они должны были иметь, если бы их собирал человек, знающий археологию. Словом, Крестовский все дело испортил по своему невежеству” (Лефтеева 1986: 105).

Подобное противопоставление “героя” (Н. И. Веселовского) и “антигероя” (В. В. Крестовского) неоправданно в силу ряда обстоятельств. Во-первых, кандидатура Веселовского рассматривалась как наиболее оптимальная для проведения археологических исследований в Туркестане задолго до начала работ Крестовского (2 февраля 1883 г.) (Лунин 1979: 40–41), а не в качестве его “пожарной альтернативы”. Во-вторых,

Крестовский проводил раскопки не по личной инициативе, а был командирован Туркестанским генерал-губернатором на Афрасиаб “для предварительного осмотра” (ЦГА РУз. Ф. И-1, оп. 11, д. 240, л. 14). В-третьих, последующие исследования показали, что среди первых предпринятых на городище раскопок (Борзенков 1873–1874; Ужфальви 1879–1880; Крестовский 1883; Веселовский 1884–1895; Шаффанжон 1894–1895; Блан 1893) именно опыт Крестовского можно оценивать как наиболее удачный. Не стремясь умалить роль Н. И. Веселовского, который, прежде всего, был историком-востоковедом, а не археологом, думается, что настало время пересмотреть пренебрежительное отношение к “антигерою” В. В. Крестовскому, который, также не будучи профессиональным археологом, все же смог внести определенный вклад в среднеазиатскую археологию.

Всеволод Владимирович Крестовский родился 11 февраля 1840 г. в селе Малая Березайка Таращанского уезда Киевской губернии, в родовом имении старинного дворянского рода своей бабки. С десятилетнего возраста начинается петербургский период его жизни: сначала учеба в Первой петербургской гимназии, затем – Университет, со второго курса которого он уходит, предпочтя науке литературу. В 1860 г. Крестовский вступает в литературный кружок Ф. М. и М. М. Достоевских, где царит своеобразный дух почвенничества и радикализма одновременно. Занимается переводами (Анакреонт, Сапфо, Гораций, Гете, Гейне, Шевченко), параллельно пишет самостоятельные литературные произведения для журналов “Сын Отечества”, “Русское слово”, “Русский мир”, “Иллюстрация”, “Светоч”, “Время”.

Наибольшая удача Крестовского-писателя, чье восьмитомное собрание сочинений увидело свет после его смерти, – роман “Петербургские трущобы”, опубликованный в “Отечественных записках” (1864–1867) (о литературной деятельности В. В. Крестовского см.: Отрадин 1990: 3–24). Роман двадцатипятилетнего автора становится бестселлером: он “...читался тогда нарасхват, и добиться его в публичных библиотеках было нелегко; нужно было ждать очереди месяц и более” (Посадский 1898: 393). Читатели составляли специальные группы и отправлялись на посещение описанных В. В. Крестовским мест (особую пикантность придавал тот факт, что во время написания романа автор находился под негласным надзором агентов Третьего отделения), а Ф. М. Достоевский “упрекал самого себя, что упустил из «Эпохи» (журнал, который он в ту пору издавал) такое сокровище, как «Петербургские трущобы»..., которые привлекли массу подписчиков «Отечественным запискам»” (Бунаков 1909: 60).

В 1867 г. Крестовский еще раз круто меняет свою судьбу, поступив, неожиданно для многих, как когда-то его отец и дед, юнкером в уланский полк. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. его ангажируют как официального корреспондента; с 1880 г. он – секретарь при Штабе русских военноморских тихоокеанских сил. В 1882 г. лейб-гвардии уланского Его величества полка ротмистра Крестовского направляют в Туркестан, “в распоряжение генерал-губернатора, с зачислением по роду оружия для назначения на должность старшего чиновника особых поручений”, где он приступает к своим обязанностям 27 июня 1882 г. (ЦГА РУз. Ф. И-1, оп. 33, д. 707, л. 2, 4). Впоследствии, с 1884 г. Крестовский служит в Министерстве внутренних дел, много ездит по России, продолжает свою литературную деятельность, становится более консервативно-правым в своих политических взглядах, за три года до смерти работает редактором правительственной газеты “Варшавский вестник”. Умер В. В. Крестовский 18 января 1895 г. и был похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге (Энциклопедический словарь 1895: 651).

По приезде в Туркестан Крестовскому, тут же произведенному в подполковники, было поручено составить “боевую летопись русской регулярной кавалерии до 10 января 1883 г.” (ЦГА РУз. Ф. И-1, оп. 11, д. 240, л. 20). Однако его первой акцией в Туркестане стало участие в дипломатической миссии князя Витгенштейна в Бухару (1882 г.), ход которой подробно описан в его книге “В гостях у эмира бухарского” (Крестовский 1887). Впоследствии его деятельность сосредотачивается в области археологии. 2 декабря 1883 г. М. Г. Черняев возложил на Крестовского “как заведование археологическими исследованиями в Туркестанском крае, так и непосредственное сношение по поводу этих исследований с Императорской Археологической комиссией” (ЦГА РУз. Ф. И-1, оп. 11, д. 240, л. 45), а также формирование коллекций Ташкентского музея и реорганизацию Ташкентской публичной библиотеки (Рапорт старшего чиновника 1882; Приказы по военно-народному управлению 1882).

В октябре 1883 г. была создана комиссия по производству раскопок Афрасиаба, куда по распоряжению М. Г. Черняева и под руководством В. В. Крестовского были направлены коллежский секретарь Брунс, коллежский регистратор Корнилов и подпоручик Бабагалиев в качестве переводчика (ЦГА РУз. Ф. И-1, оп. 11, д. 240, л. 25). Позднее в комиссию влились инженер-ирригатор З. Э. Жижемский и полковник Черневский (Крестовский 1884). Для проведения работ Черняевым на основании предписания от 30 сентября 1883 г. было выделено 1000 рублей (ЦГА РУз. Ф. И-1, оп. 11, д. 240, л. 76). 8 октября Крестовский приступил к осмотру местности и по рекомендации Жижемского, прокладывавшего в 1871 г. дорогу через Афрасиаб, избрал место будущих раскопок на бугре к востоку от тракта Самарканд – Ташкент, в 150 саженях от мечети Хазрет-Хызр. С 10 по 26 октября, согласно отчету Крестовского, комиссией производились топографические и археологические работы, а вплоть до 21 ноября ее члены “наносили на план предметы, найденные в траншеях, колодцах, зданиях, мостовой и др.” (там же: л. 41).

Впервые посетив Самарканд в рамках посольской миссии (17–25 декабря 1882 г.), В. В. Крестовский составил себе представление об его истории, во многом ложное – со слов бывшего казия Самарканда Низамиддина ходжи Абдулгафарходжаева, однако, его отождествления (первые среди российских исследователей) древней Мараканды античных авторов с Самаркандом оказались верны, хотя приведенные им локализации не вполне точно совпали с центром древнего города, а пришлось на его средневековые пригороды (местоположение Мараканд он ошибочно определял к западу и юго-западу от тимуридского города).

В. В. Крестовский был первым и единственным из дореволюционных исследователей, осуществившим в южной части городища крупный стратиграфический разрез (42 × 2,5 м при глубине 8 м) (Массон 1972: 3) и практически единственным раскопщиком, оставившим детальные описания проведенных работ, одна часть которых была опубликована (Крестовский 1884; Туркестанские ведомости 1883, 1884; Сын Отечества 1883; Новое время 1883), а другая сохранилась в виде подробного дневника. По свидетельству О. Н. Иневаткиной, фотокопии подробного археологического дневника В. В. Крестовского, включавшего стратиграфические планы и разрезы, хранились у бывшего директора Музея истории на Афрасиабе М. Моргенштерна, ныне уехавшего в Израиль. Благодаря детальным описаниям Крестовского удалось не только реконструировать ход и характер раскопок (они отмечены на топографическом плане Афрасиаба 1885 г. военных топографов Васильева и Кузьмина), но и идентифицировать

большинство находок, назначение которых было зачастую правильно понято уже им самим (Шишкин 1969: 16–22).

В. В. Крестовскому принадлежит и пионерская для археологии Афрасиаба мысль о необходимости послойного вскрытия памятника, хотя именно с этой методикой и связана принципиальная ошибка в его интерпретациях. Выделив десять слоев, он соотнес их со всеми известными ему периодами существования Афрасиаба, начиная от Александра Великого до XV в., тогда как самый ранний из вскрытых им слоев может датироваться не ранее IX в. Методика Н. И. Веселовского представляла в этом отношении шаг назад по сравнению с методикой В. В. Крестовского: он отказался от послойного вскрытия памятника и от работы в одном пункте, решив “пройти по всему Афрасиабу, чтобы выбрать затем наиболее интересные места” (Шишкин 1969: 27).

В ходе раскопок Крестовским было “собрано 564 предмета, составлен альбом из 40 снимков, один экземпляр которого он [Крестовский] хотел отослать в Археологическую комиссию в Петербург, второй – в Московское археологическое общество” (Шишкин 1969: 22), но их след на сегодняшний день не обнаружен. Сами же собранные коллекции были разделены между Ташкентским музеем и Археологической комиссией.

Кроме раскопок на Афрасиабе, Крестовским также проводились археологические исследования в “Лагере Тимура”, в 9 верстах от Самарканда, за Даргомом (Эварницкий 1893: 110) и “в Ташкентском уезде, близ кишлака Зеркенд” (ЦГА РУз. Ф. И-1, оп. 15, д. 460, л. 2).

Работы В. В. Крестовского, который, по словам генерал-губернатора М. Г. Черняева “с любовью отнесся к раскопкам древностей”, еще раз подтвердили важность Туркестана “в археологическом отношении” (Минаев 1886: XXV, LXXXIV, XCII) и ускорили приезд Н. И. Веселовского, так как сам В. В. Крестовский не считал себя достаточно компетентным для классификации древностей, им самим раскопанным, так и собранным ... в разное время” (ЦГА РУз. Ф. И-1, оп. 15, д. 460, л. 50).

Библиография

- Бунаков Н. Ф. 1909. Записки. СПб.
- Добросмыслов А. И. 1911. Ташкент в прошлом и настоящем. Вып. 2. Ташкент.
- Крестовский В. В. 1884. Самаркандские раскопки 1883 г. // Санкт-Петербургские ведомости. № 32; 34; 35; 37.
- Крестовский В. В. 1887. В гостях у эмира Бухарского. СПб.
- Лефтеева Л. Г. 1986. Присоединение Средней Азии к России в мемуарных источниках. Ташкент.
- Лунин Б. В. 1979. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения. Ташкент.
- Массон М. Е. 1956. Среднеазиатские надгробные кайраки // Эпиграфика Востока. XI.
- Массон М. Е. 1972. По поводу далекого прошлого Самарканда // Из истории искусства великого города. Ташкент.
- Минаев И. П. 1886. О необходимости раскопки Афрасиабова городища лицом, специально знакомым с археологией края // ЗРАО. Нов. сер. Т. 1. Новое время. 1883. № 2741.
- Отрадин М. В. 1990. Вступительная статья к кн.: В. В. Крестовский. Петербургские труды. Л.

Посадский Я. 1898. Из местных литературных воспоминаний // Литературный сборник "Волжского Вестника". Казань.

Приказы по военно-народному управлению об упразднении Ташкентской публичной библиотеки. 1882 // Туркестанские ведомости. № 50.

Рапорт старшего чиновника по особым поручениям В. В. Крстовского о Туркестанской библиотеке 1882 // Туркестанские ведомости. № 49.

Сын Отечества. 1883. № 288.

Туркестанские ведомости. 1883. № 42.

Туркестанские ведомости. 1884. № 1.

Шишкин В. А. 1969. К истории археологического изучения Самарканда и его окрестностей // Афрасиаб. I. Ташкент.

Эварницкий Д. И. 1893. Путеводитель по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологическом и историческом отношении. Ташкент.

Энциклопедический словарь 1895. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. 16а. СПб.

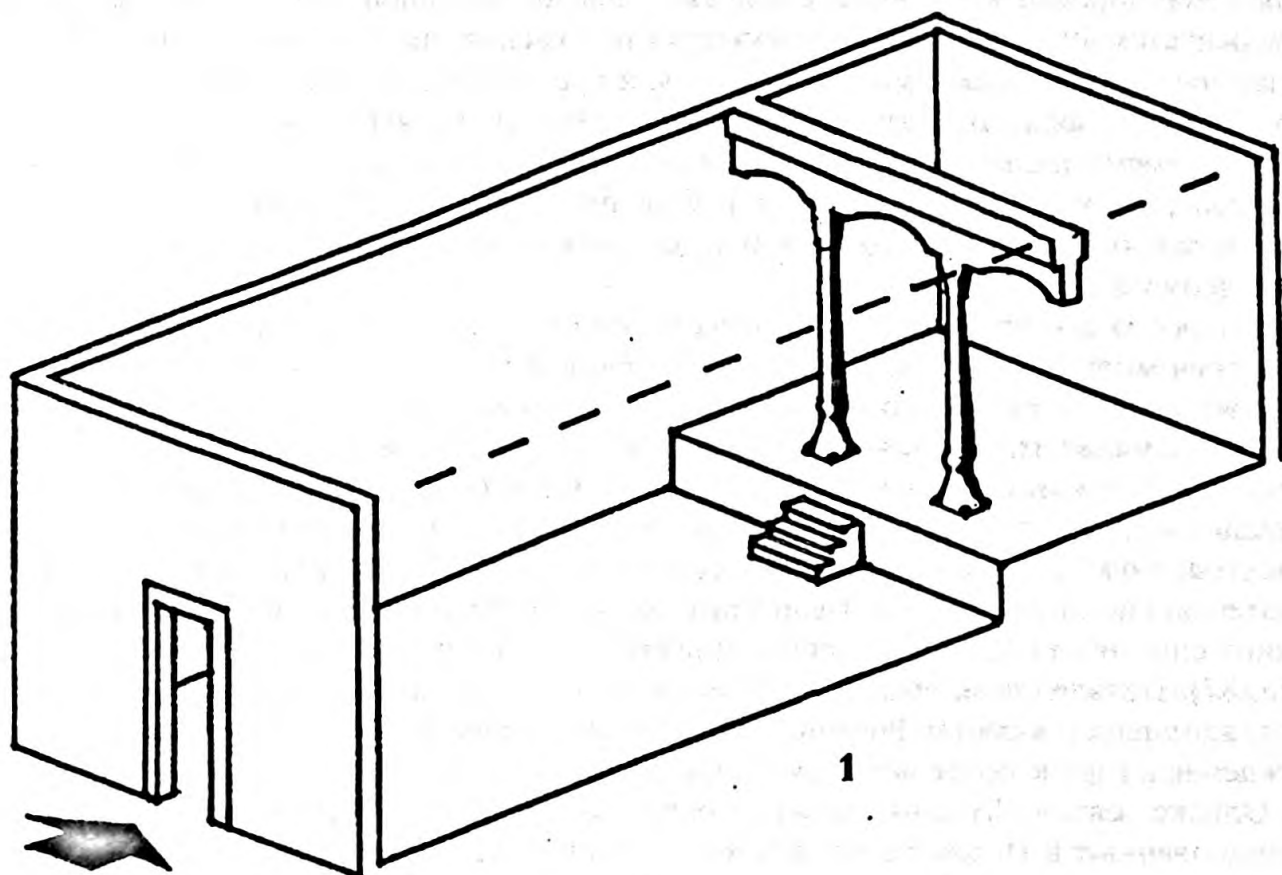
Л. Л. Гуревич (Санкт-Петербург)

БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ И ПРОБЛЕМА ДЕСЯТИ ПОТЕРЯННЫХ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

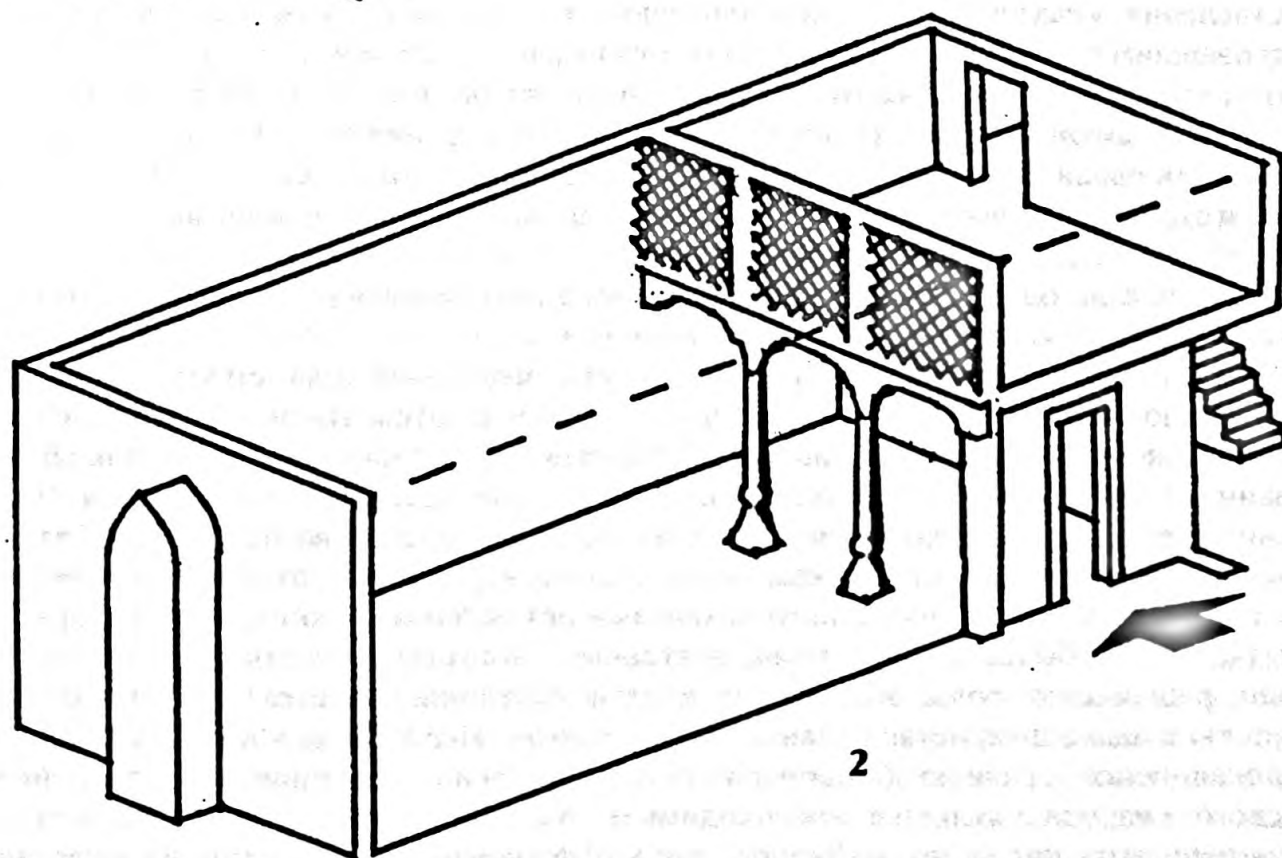
Хронологический интервал между первым (ассирийским) пленением и переселением в Месопотамию евреев Израильского царства (10 колен Израиля) и вторым (вавилонским) пленением и переселением евреев Иудеи (остававшиеся два колена Иуды и Бениамина) составил 146 лет. Согласно принятой в иудаизме традиции, ко времени второго плена первоначальные пленники были рассеяны по периферии империи. После завоевания Вавилона персидским царем Киром, освобождения евреев и указа о восстановлении Иерусалимского храма, возвратиться на родину могли только прожившие в Месопотамии без малого пятьдесят лет колена Иуды и Бениамина. Согласно традиции, остальные десять колен, оказавшиеся к этому времени в отдаленных местностях за некой рекой Самбатсион, считаются с этих пор "десятью потерянными коленами Израиля". Известны бесчисленные попытки локализовать реку Самбатсион, в надежде найти за нею потерянные колена.

Могу засвидетельствовать, что и некоторые из современных бухарских евреев, возбужденные сообщениями о том, что японцы представляют собой одно колено Израиля, а горные пуштуны – другое, вносят свою лепту в научный поиск. Так, в еврейской махалле Самарканда мне рассказали, что спускавшиеся при царе с гор в Самарканд на заработки жители Матчи (по научным данным – прямые потомки неисламизированных согдийцев), – также евреи, ибо по субботам они зажигают светильники-чероги и совершают ритуальные омовения.

Крупнейший специалист по истории и языку бухарских евреев М. И. Занд в своих лекциях по истории еврейской диаспоры высказал предположение, что вторая волна месопотамских пленников ассимилировала первую волну пленников из Израиля, и никакие колена не терялись. Эта позиция входит в противоречие с традицией, но согласуется со здравым смыслом. Ведь ассимиляция могла начаться еще на родине, когда беженцы из Израиля находили спасение в Иудее от ассирийских завоевателей. Согласно Торе, браки между представителями разных колен Израиля не возбраняются.



1



2

Варианты композиции традиционной гостиной-мехмонхоны в богатом городском среднеазиатском доме: 1 — в мусульманском доме; 2 — в еврейском доме.

Некоторые новые данные по этнографии бухарских евреев, собранные мною во время командировки в Бухару и Самарканд, предоставленной Петербургским Еврейским Университетом осенью 1992 г., могут служить косвенным подтверждением гипотезы о восстановлении единства еврейского народа в пределах вавилонской, позднее персидской державы. Оказалось, что жители еврейской махаллы как в Бухаре, так и в Самарканде блюдут в своем городском быту членение махаллы на двенадцать кварталов (официально – “участков”, по местному – “гузаров”). Они помнят, как в прежние времена в каждом кварталчике была своя синагога, свой хедер, своя чайхана, часто сгруппированные вблизи общественного водоема – хауза.

Вопрос о происхождении 12-частной структуры Еврейской махаллы в Самарканде рассмотрен мною в специальной статье. Впервые научная публикация об этой структуре появилась в 1933 г., но, по моим предположениям, она была уже в первоначальной планировке махаллы, основанной в 1843 г. и объединившей всего 35 частных усадеб, 2 площади с общественными хаузами и один участок общей синагоги. За первые 90 лет площадь махаллы увеличилась почти в 10 раз, и первоначальные аккуратные прямоугольники “участков” превратились в расплывшиеся пятна нерегулярной формы, как бы обтекающие друг друга. Жители показали мне сохранившиеся здания или участки 12 прежних синагог, включавших один или несколько молитвенных залов (Гуревич 1995: 73–81, 86, 87). Появление многих синагог представляется вполне вероятным в Самарканде, с 1868 г. входившем в состав России, где был снят средневековый мусульманский запрет на учреждение в городе более чем одной синагоги.

Однако евреи Бухары также сохранили до 1992 г. память о 12 синагогах, сгруппированных в 10 синагогальных комплексов (часть этих зданий сохранилась). Такие представления находятся в противоречии с мусульманским законодательством, действовавшим здесь до самого захвата Бухары Красной армией. Правда, известно, что за заслуги еврейских коммерсантов и промышленников им было разрешено иметь 3 официальных синагогальных зала в одном комплексе (Гуревич 1995: 85–86). Тем не менее, ашкеназский еврей Неймарк, посетивший Бухару в 1885 г., отметил, что здесь существует 12 синагогальных приходов, а их старосты собирают с прихожан налоги в пользу эмирской администрации.

Правда, еще один путешественник в эти же годы отметил другое число бухарских синагог – шесть, также являвшееся запретным.

В докладе 1996 г. я попытался показать, что 12-частная структура еврейской махаллы, возможно, имела место уже в двенадцативратной квадратной схеме первоначального шахристана Бухары (в соответствии с реконструкцией О. Г. Большакова), основанного в середине I тыс. н.э. Другим наследником этой схемы явилось сохранившееся до последних дней эмирата деление Бухары на 12 налогооблагаемых джеривов – больших городских кварталов. Велика вероятность того, что в учреждении плана шахристана, сформированного дехканами без патронажа со стороны бухар-худата, евреи (а, может быть, и христиане), являвшиеся торговыми партнерами основателей, сыграли решающую роль. Навряд ли в этой ситуации является случайным полное соответствие плана шахристана плану возрождаемого Иерусалима у пророка Иезекииля и в “Апокалипсисе” Иоанна (Gourevich 1996). Согласно традиции иудаизма, полнота еврейского народа является необходимым условием грядущего спасения. Тем любопытнее, что нигде ни в Европе, ни в Африке этот императив не отразился в планировке еврейских кварталов. Мне известны лишь два случая градостроительных структур, соответствующих Бухаре и Самарканду.

Считается, что еврейская община в Сардах была основана еще в период персидского владычества, но основную ее часть составляли потомки евреев, переселенных Селевкидами из Вавилона. Большая синагога Сард основана в римское время и разрушена в начале VII в. н.э. В ее огромном длинном зале в два ряда вдоль длинной оси располагались двенадцать больших каменных столов, за которыми во время ритуалов собирались двенадцать групп прихожан, представлявших таким образом полноту еврейского народа (Сарды 1994).

Исследователи еврейской махаллы города Куба в Азербайджане отмечают, что в лучшие времена в ней было, по разным свидетельствам, 11 или 13 синагог, каждая соответствующая своей территориальной общине, влившихся в еврейскую общину Кубы в разное время. Однако число приводимых исходных топонимов гораздо меньше числа самих синагог. Скорее всего, за неясной совокупностью 11–13 мест обитания таится воспоминание об уделах колен Израиля на родине. Число синагог не является практически мотивированным – оно искусственное, идеологически спровоцированное. Свидетельством тому является хитроумная система частных синагог Бухары и Самарканда, функционировавших вопреки официальному запрету. Наблюдения, архитектурные обмеры и записи, сделанные автором, дают возможность представить, каким образом в мусульманском городе одновременно функционировали двенадцать синагог.

Каждый состоятельный еврей этих городов считал своим долгом устроить в своем доме обширную гостиную-мехмонхону, на первый взгляд не отличимую от мехмонхоны традиционного дома среднеазиатского города, повторяющей в уменьшенном виде композицию тронных залов доисламских владык – худатов, в архитектуре которых отразилось иерархическое строение древнего иранского общества (Абдуллоев 1990: 30). Дальняя от входа треть мехмонхоны представляет собой эстраду, обрамленную трехпролетным ордерным порталом, где место под средним пролетом называется царским – “шахшин”. В мехмонхоне бухарского еврейского дома меньшая часть зала также отделена трехпролетным порталом, стоящим на ровном полу и служащим опорой антресоли для женщин, огражденной деревянной решеткой. В противоположном конце зала расположен не вход, а скрытая ритуальным занавесом “парохет” ниша для хранения свитка Торы. Вход в зал устроен под антресолю, а ведущая на нее лестница – в соседнем помещении (см. рис.). Такая мехмонхона выполняла функции синагоги – “кинесо”, когда хозяин в честь какого-либо важного в жизни семьи события “по уважительной причине” обетовал ее на какой-то срок под молитвенный дом своего прихода, который оставался постоянным при смене синагоги. Совпадавшая по приемам архитектурного оформления с обычной мехмонхоной временная синагога оставалась незамеченной соглядатаями – блюстителями шариата.

Помимо соблюдения традиции двенадцатичастной общины, признаком, объединяющим создателей трех описанных градостроительных структур, является язык, во всех трех случаях представлявший местные диалекты персидского языка соответствующего периода. Языковая общность указывает на единство их происхождения из одной популяции евреев в вавилонской державе, ставшей затем частью Ахеменидской империи, для которой персидский язык был основным языком повседневного бытового общения. Эта общность никогда не ощущала своей усеченности, так как сохраняла память о прибытии в Месопотамию второй волны пленников, восполнивших временное отсутствие колен Иуды и Бенямина. Поэтому исчезновение десяти колен Израиля не имеет ничего общего с исторической реальностью. Но они действительно исчезли в сознании вернувшихся на родину иудеев.

Главным официальным мотивом возвращения евреев домой было восстановление иерусалимского храма. Таким образом разрешился многовековой спор между двумя святилищами евреев – в Иерусалиме и в Шомроне (Самария). Все самаритяне – крестьяне, оставленные на земле и потому не уведенные в первый плен, – стали считаться с этих пор неевреями. Как известно, после опубликования указа Кира лишь малая часть евреев вернулась из Месопотамии в Иерусалим. Возвратившиеся считали ассимилированных в их семье израильтян принадлежащими теперь коленам Иуды и Беньямина, оставшихся в Израиле самаритян – отступниками, оставшихся в Вавилоне евреев – потерянными для иудаизма ввиду их неучастия в иерусалимском культе.

Оставалось мечтать о восстановлении полноты еврейского народа и строить планы возвращения “потерянных колен”. Один из духовных вождей возвращения, Иезекииль в последней части своего послания описал проект разделения земли на двенадцать уделов-колен – широтных полос от моря до гор и устройства квадратной городской стены Иерусалима с двенадцатью воротами, соответствующими каждому колену. В храмовом свитке из Кумрана описана квадратная внешняя стена иерусалимского храма с двенадцатью воротами. В “Апокалипсисе” грядущий квадратный Иерусалим также имеет двенадцать ворот с начертанными на каждом из них именем одного из колен. Ни одному из этих планов не суждено было осуществиться. Однако воплотились архитектурные замыслы ираноязычных евреев, поскольку у них была социокультурная основа – незыблемая уверенность в этнической полноте живущего здесь еврейского народа.

Библиография

Абдуллоев Д. 1990. К структуре тронных залов дворцов правителей Маверранахра VII – VIII вв. н. э. // КСИА. Вып. 199. М.: 28–30.

Гуревич Л. Л. 1995. Бытовое и сакральное пространство Махаллаи Ягудиен Бухары и Самарканда // Евреи в Средней Азии в прошлом и настоящем: Экспедиции, исследования, публикации. Труды по иудаике. Сер. “История и этнография”. Вып. 4. СПб.: 70–91.

Gourevich L. 1996. Biblical Symbolism in the Spatial Structure of Ancient Bukhara // The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art. Fifth International Seminar on Jewish Art: Abstracts. Jerusalem.

Сарды 1994. Краткая Еврейская Энциклопедия. Т. 7. Иерусалим: 682.

С. Г. Кляшторный (Санкт-Петербург)

РУНИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ТАЛАСА: ПРОБЛЕМЫ ДАТИРОВКИ И ТОПОГРАФИИ

В 1987 г. К. М. Байпаков передал мне фотоснимки и рисунок фрагмента каменной зернотерки с выбитой на верхней плоскости рунической надписью. Этот осколок был обнаружен на городище Джуван-тобе, расположенном в 15 км к западу от городища древнего Тараза, на берегу р. Талас. В конце 1930-х гг. Джуван-тобе было обследовано А. Н. Бернштамом, который и отождествил это городище с раннесредневековым городом Атлахом, впервые упоминаемым арабскими источниками в связи с событиями середины VIII в. (Бернштам 1939: 175–176; 1950: 25). В XI в. Атлах упоминается Махмудом Кашгарским как город близ Тараза (Волин 1960: 83). Единственное краткое описание

Атлаха содержится в сочинении ал-Макдиси (X в.): “Атлах – большой город, приближается по площади к главному городу, вокруг него стена. Большая часть его – сады, а в рустаке его преобладают виноградники. Соборная мечеть в медине, а рынки в рабаде” (Волин 1960: 80).

Отождествление, предложенное А. Н. Бернштамом, оспорил Л. И. Ремпель (1956: 71–72), что создало отмечаемую исследователями неопределенность в решении проблем исторической топографии Таласской долины (Беленицкий, Бентович, Большаков 1973: 206). Между тем, городская культура этого района была весьма интенсивна – в X в., по сведениям арабских географов, здесь насчитывалось 12 городов (Бартольд 1966: 34–35), и корреляции между современной археологической картой и историко-топографическими сведениями аутентичных письменных источников весьма важны для исторических реконструкций. Счастливую возможность проверки обеих предложенных гипотез дала находка рунической надписи на городище Джуван-тобе. Эта надпись, состоящая из пяти знаков, выполненных в обычной для таласских рунических памятников палеографической манере, хотя и более тщательно, читается без труда и содержит одно слово: *atlay* (Атлах), букв. “место переправы, перевала” (из тюрк. *атла-* “перешагивать”, “переступить”).

Тем самым подтверждается как чтение самого названия города, до того известного только в написании арабской графикой, так и, что особенно важно, правильность историко-топографических отождествлений, предложенных для долины р. Талас А. Н. Бернштамом. Джуван-тобинская надпись – первая из найденных здесь непосредственно на территории древнего города, и это обстоятельство указывает на более широкую сферу применения тюркского рунического письма в городах Таласской долины и прилегающем регионе (Бернштам 1950: 25).

Другая группа рунических граффити, выбитых на скальных поверхностях в Таласском Ала-тоо, зафиксирована в ущельях рек Терек-сай (четыре надписи из нескольких знаков каждая) и Куру-Бакайыр (две надписи: Джумагулов, Кляшторный 1983: 78–81). Одна из Куру-Бакайырских надписей передает тюркским руническим письмом слово *šarya* (из согдийского *šryw*, *šrw* “лев”), с закономерной утратой при адаптации в тюркском конечном билабиального *w*. Здесь этим словом, еще раз знаменующим плотность тюрко-согдийских связей в Семиречье, обозначено имя (часть имени?), и оно точно калькирует распространенное в карлукско-караханидской среде имя-титул *арслан*. Не только выбор алфавита, но и форма языковой адаптации слова свидетельствуют о том, что исполнителем граффити был тюрк, а сама надпись вряд ли может быть датирована временем ранее IX – X вв. Вторая надпись, несколько отличная по духу, содержит имя-титул *кут* = *чор*. Именно титул *чор* связывает эту случайную посетительскую надпись с самой большой группой рунической эпиграфики Таласа – сравнительно крупными тюркскими текстами на камнях-валунах.

В 1896 и 1898 г. известный туркестанский краевед В. А. Каллаур с помощью нескольких местных жителей обнаружил в урочище Айртам-Ой, что в предгорьях Таласского Ала-тоо, в восьми верстах от села Дмитриевского (ныне г. Талас) три камня-валуна с тюркскими руническими надписями. В 1898 г. еще два таких же камня обнаружила археологическая экспедиция Финно-Угорского общества во главе с Г. Гейкелем. Шестой валун с надписью в том же урочище Айртам-Ой был найден лишь в 1961 г. П. Н. Кожемяко. После тщательного археологического обследования местности в последние два десятилетия были обнаружены еще шесть камней с надписями. Таким образом, по подсчетам Ч. Джумагулова, в урочище Айртам-Ой или поблизости от него

было обнаружено двенадцать камней-валунов с руническими надписями (Массон 1936: 3-17; Джумагулов 1987: 8-20).

Археологическое изучение местности, впервые после работ финских археологов, было проведено П. Н. Кожемяко и Д. Ф. Винником. Все найденные в Айртам-Ой валуны с надписями, а также два обнаруженных там же древнетюркских каменных изваяния оказались привязаны к частично уничтоженному позднейшими строительными работами курганному могильнику, который по конструктивным особенностям датируется Д. Ф. Винником VI – VIII вв. В X в. часть территории могильника использовалась для застройки – там было сооружено небольшое караханидское укрепление (ныне городище Кескен-тобе), определяющее верхнюю дату погребальных сооружений и связанных с ними надписей. При шурфовке мест находки восьмого и девятого камней установлено, что они находились под культурным слоем караханидского времени, а один из камней был заложен в фундамент постройки той эпохи. Все это свидетельствует о достаточно большом разрыве во времени между периодом создания памятников письма и периодом сооружения караханидского укрепления (X в.) (Винник 1963: 94–99; Кожемяко 1963: 184–186).

Вся группа эпитафийных рунических памятников Таласа палеографически совершенно единообразна. Самый значительный по объему текст (по принятой нумерации, второй памятник) насчитывает около 140-150 знаков, некоторые из которых разрушены. Другие надписи значительно короче и зачастую трудны для чтения из-за плохой сохранности. Типологически таласские письменные памятники близки к эпиграфийной енисейской рунике, но значительно уступают ей в стилистическом и литературном отношениях. Их дукт менее выработан и заметно отличен от дукта енисейских памятников. Содержание и терминология таласских памятников зачастую не вполне понятны без знания утраченных реалий. Все эти обстоятельства делают датировку таласских надписей по палеографическим и текстологическим основаниям весьма трудной, что отразилось в специальной литературе. Так, С. Е. Малов, по традиции, идущей от финских археологов, датирует памятники V в. Таково мнение и многих других тюркологов. Впрочем, сам С. Е. Малов оговаривает, что “все эти памятники не новее VIII в.” (1959: 63). Напротив, Л. Р. Кызласов датирует надписи на таласских валунах IX–X вв. (1969: 186). А И. В. Кормушин относит таласские памятники “по всей видимости к караханидскому времени”, т. е. X – XII вв. (1975: 47). Таким образом, предложенные в литературе датировки расходятся на 500–700 лет, от V до XII в. Однако две последние оценки находятся в явном противоречии со стратиграфическими наблюдениями П. Н. Кожемяко и Д. Ф. Винника.

Между тем, анализ употребляемой в памятниках титулатуры на фоне истории западнотюркских государств, коррелятивной связи енисейских и таласских текстов, учет практически полной однородности таласских памятников – все это позволяет предположить достаточно обоснованную датировку группы таласских надписей (библиографию изданий и переводов см. Джумагулов 1987).

Высшим титулом, который носили покойные князья, чьи эпитафии воздвигнуты вместе с изваяниями на погребальных курганах в урочище Айртам-Ой, был, судя по надписям, титул *чор*. Этот титул, вероятно, наследовался по прямой линии. Так, согласно второй и четвертой надписям, именно сын наследовал от отца титул *чор*. Наиболее характерным атрибутом этого титула было слово *кара* (“черный”).

В эпоху Западнотюркского каганата областью Таласа, как и всей западной частью государства, владели племена из союза нушиби (библиографию работ, посвященных затрагиваемым проблемам истории Западнотюркского каганата и тюргешей, а также

вопросы генеалогии и хронологии см. Кляшторный 1985: 164–170). Вожди этих племен носили титул *иркин*, а титул *чор*, более высокий в иерархии, носили вожди из союза дулу, владевшие восточной частью каганата. С приходом к власти тюргешской династии (самый конец VII в.), которая вышла из племенного союза дулу, титул *чор* стал употребителен на всей территории нового государства. Со времен Чабыш-чора Сулука (716–738) слово *чор* вошло в царскую титулатуру. Союз тюргешских племен подразделялся на две фратрии – “черных” и “желтых” тюргешей. Первые тюргешские князья, Уч-элиг (699 – 706) и Сакал (706 – 711) были из “желтых” племен; Чабыш-чор Сулук стал первым князем из “черных” тюргешей, он ввел слово *кара* в свою титулатуру. Именно при Сулуке в Таразе утвердилась кара-тюргешская династия, боковая ветвь ханского рода, высшие представители которой именовались титулом *чор* (*кара-чор*). С согласия сына Сулука, Тахварсен Кут-чора (738–739), местная династия сохранила за собой прежние владения. Однако в 740 г. князья из “черных” тюргешей погибли в борьбе с танскими войсками. Неясно, сумели ли их потомки восстановить власть прежней династии в период между 741 – 766 гг. В 766 г. Тараз был захвачен карлуками, и остатки тюргешей покинули Таласскую долину.

Таким образом, наиболее вероятный отрезок времени, к которому могут быть отнесены таласские эпитафии, приходится на период правления Сулука и его сына Тахварсена, т. е. на 716 – 739 гг., хотя нельзя полностью исключить несколько последующих десятилетий (до 766 г.). Одна из эпитафий (текст № 2) может быть датирована более точно, так как этот текст содержит дату по циклическому календарю: “в (год) обезьяны 17-го (дня)”. Упоминание месяца сокращено, но, возможно, речь идет о первом месяце, который обычно не называется. Год обезьяны приходится в упомянутый отрезок времени на 720 и 732 г.

Кара-тюргешская династия, основанная Сулуком, в енисейской эпиграфике названа “(династией) кара-ханов” (Малов 1952: 59, 67). В течение долгих лет обитая на восточных рубежах Западнотюркского каганата, тюргеша были соседями Кыргызского государства на Енисее. Именно у восточных соседей они заимствовали обычай создания камнеписных эпитафий покойным князьям и перенесли его в Семиречье. Там этот обычай просуществовал с некоторыми изменениями в дукте и типологии надписей до середины VIII в., и нет свидетельств, что он пережил тюргешскую династию.

Библиография

- Бартольд В. В. 1966. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью // Сочинения. Т. IV. М.
- Беленицкий А. М., Бентович А. Б., Большаков О. Г. 1973. Средневековый город Средней Азии. Л.
- Бернштам А. Н. 1939. Археологические работы в Казахстане и Киргизии // ВДИ. № 4.
- Бернштам А. Н. 1950. Обзор археологических исследований в 1938–1940 гг. // МИА. № 14. М.; Л.
- Винник Д. Ф. 1963. Новые эпиграфические памятники Таласской долины // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе.
- Волин С. 1960. Сведения арабских источников IX – XVI вв. о долине реки Талас и смежных районах // Труды ИИАЭ АН КазССР. Т. 8. Алма-Ата.
- Джумангулов Ч. Д. 1987. Эпиграфика Киргизии. Вып. 3. Фрунзе.

Джумангулов Ч. Д., Кляшторный С. Г. 1983. Наскальная древнетюркская эпиграфика в Таласском Ала-Тоо // Советская тюркология. № 3.

Кляшторный С. Г. 1985. Генеалогия и хронология западнотюркских и тюркешских каганов // Из истории дореволюционного Киргизстана. Фрунзе.

Кожемяко П. Н. 1963. Оседлые поселения Таласской долины // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе.

Кормушин И. В. 1975. К основным понятиям тюркской рунической палеографии // Советская тюркология. № 2.

Кызласов Л. Р. 1969. История Тувы в средние века. М.

Малов С. Е. 1952. Енисейская письменность тюрков. Л.

Малов С. Е. 1959. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. Л.

Массон М. Е. 1936. К истории открытия древнетурецкой рунических надписей Средней Азии // Материалы Узкомстариса. Вып. 6-7. Ташкент.

Ремпель Л. И. 1956. Археологические памятники в дальних низовьях Таласа // Труды ИИАЭ АН КазССР. Т. 1. Алма-Ата.

А. И. Колесников (Санкт-Петербург)

О ХАРАКТЕРЕ РАЗНОЧТЕНИЙ В ТЕКСТЕ V КНИГИ “ДЕНКАРДА”

(по спискам *B* и *K43b*)

Трудности перевода и интерпретации зороастрийских священных книг возникают не только из-за неясности самих религиозных текстов, но и от многих других причин. Одной из них являются текстуальные разночтения нескольких списков одного и того же сочинения. Иногда такие разночтения помогают выявить точный смысл фразы, либо вынуждают переводчика выбирать из предложенных вариантов чтения один (без твердой гарантии в правильности выбора), или же сами варианты всего лишь отражают возможности среднеперсидской синонимии.

В процессе работы над V книгой “Денкарда” по двум наборным и двум факсимильным изданиям текста (представляющим две рукописи XVII в. – *B* и *K43b*) мы обнаружили несколько сот больших и малых разночтений в списках. Остановимся на характеристике более примечательных. Но сначала несколько слов об истории рукописей, поскольку несовпадение списков в значительной мере обусловлено их разной судьбой. В конце XIX в. Вест, исследуя колофоны рукописи *B* и копий с нее, установил, что ее давним “предком” является копия Багдадского списка от 1020 г. н. э. В течение шести столетий она трижды переписывалась – последний раз в 1659 г. В конце XVIII в. рукопись (список XVII в.) попала в Сурат, а потом стала собственностью верховного жреца бомбейских парсов (West. PT IV. Introduction: 32–36). Ученые парсы обозначили ее аббревиатурой DM (у Санджаны – сначала MB), в Европе она известна как рукопись *B*. Наборным текстом рукопись была издана Маданом в 1911 г., факсимиле – Дрезденом в 1966.

Происхождение списка *K43*, независимого от *B*, более туманно. Известно только, что Н. Вестергаард в XIX в. привез рукопись из Ирана, и она оказалась в университетской библиотеке Копенгагена. *K43* включает в себя пятую часть объема “Денкарда” и представлена двумя отдельными частями (*K43a* и *K43b*) некогда большой рукописи. В первой имеется колофон, датирующий переписку маем 1594 г. Во второй, написанной

другой рукой, колофона нет, но А. Христенсен и более поздние ориенталисты уверенно датируют ее XVII в. Д. Санджана активно привлекал Копенгагенский список при подготовке X–XIII томов своего издания “Денкарда”. Рукопись стала более доступной специалистам после факсимильного издания, осуществленного в 1936 г. (САРВУН. Vol. V, VI). Шестой том в серии публикаций представляет вторую часть списка, полностью включающего V книгу “Денкарда”.

Исследователи и переводчики V книги по-разному относятся к спискам *B* и *K43b*. Так, Д. Санджана во введении к X тому отмечает “три наилучшие списка из ныне существующих”, а именно: *K43*; рукопись DM (т. е. *B* – А. К.) из библиотеки Муллы Фируза в Бомбее; копию DE списка из Сурата (т. е. копию со списка *B*). Среди этих трех он выделяет рукопись из университетской библиотеки Копенгагена как “наиболее верную” (DkS X. Introduction: 8–9).

Позиция М. Моле, который много лет спустя использовал тексты *B* и *K43b* при переводе первых четырех глав V книги (легенду о Зороастре), страдает неопределенностью. В целом он отмечает лучшее чтение списка *B*, а в частностях отдает предпочтение вариантам *K43b* (Molé. LZ. Introduction: 7). Причина кажущегося противоречия в суждении объясняется тем, что факсимильное издание *K43* предлагало реальный рукописный текст, не искаженный псевдо-эпиграфическими и стилизованными для набора знаками. Как известно, факсимильное издание рукописи *B* появилось уже после смерти Моле (Иранские исследователи А. Тафаззоли и Ж. Амузгар подготовили к публикации французский перевод V книги “Денкарда”. До выхода из печати их монографии отношение современных издателей к различным спискам нам не известно).

Не останавливаясь на многочисленных, но несущественных разночтениях и ошибках (таких, как отсутствие изафета в нужном месте, недостаток или излишек факультативных вертикальных линий в конце слов, замена иранских корней идеограммами в одном списке и проч.), обратимся к более серьезным текстовым расхождениям. Они встречаются уже в самом начале V книги. В перечне сюжетов, составляющих содержание Книги, первым в обоих списках упоминается загадочное сочинение *nibēg ī sīmlā*, приписываемое главному жрецу Адур-Фарробагу с. Фаррохзада. Примыкающий пассаж касается сборника ответов того же Адур-Фарробага на вопросы некоего Йакуба б. Халида и посланцев неизвестных племен *suml'* (в *K43b*) или *šmly'* (вариант *dylm'*) в списке *B*. Вторая фраза является логическим продолжением первой. Название сочинения и название племен можно считать идентичными. Таким образом, в повествовании о Симле/Салме/Сарме речь идет о племенах Симла/Салма/Сарма.

Было несколько попыток атрибуции такого странного названия: Гемара и племена Гемары, т. е. иудеи (West. PT V: 119–120); сочинение о Селамис и племя потомков Селама (DkS IX: 611); наконец, “Книга Димлак” и племена дейлемитов (Molé. LZ: 106–107). Х. Нюберг дважды пытался отождествить *suml'* с Южной Аравией на основании графического сходства этого слова с топонимом Самран в пехлевийском географическом трактате “Города Ирана” (Nyberg. OSD V: 105–107; idem. MP II: 176). С такой трактовкой не согласился Ж. де Менаш, указав на слабость филологической аргументации – отсутствие конечного *n*, но в то же время настаивая на отождествлении *suml'* с Дейлемом (Menasce. PM: 97, no. 2).

Неосознанно (т. е. не приводя объяснений) ближе других к истине оказался П. Санджана, отдав предпочтение варианту *šmly'* по списку *B*. Именно Салма/Сарма связывает зороастрийскую традицию с древней иранской мифологией, о которой говорится далее в тексте. Автор “Денкарда” безусловно знал “Фарвардин-яшт”, в котором

в числе пяти древних народов упоминается народ Sairima, наряду с Airya, Tuirya, Sāinu и Dāhi (Bartholomae. AIWb: 1566; Gnoli. GA: 21–22). Маркварт отождествлял Sairima с племенами савроматов, расселившихся на территории к северо-западу от Аральского моря (Marquart. Eranschahr: 155). В иранской мифологии Sairima – это название западной части обитаемого мира, поделенного Фраетаоной (Фредоном) между тремя сыновьями. Старший, Сайрима (в “Шах-наме” – Сальм) стал эпонимом для обозначения западных земель, идентифицируемых в сасанидскую эпоху с Восточно-Римской империей (Hrōm, Rūm), традиционным противником Ирана (Justi. IN: 289). В “Индийском [Малом] Бундахишне” страна Салм прямо отождествляется с Римом: ān ī pad salm deh ast ī hrōm “и те, что в стране Салм, т. е. в Риме” (BdH: 34 [text], 96 [transl.]). Таким образом, разговор главы зороастрийцев с “племенами Сарма” (Сайрима, т. е. пришельцами с запада) касался древнего иранского мифа о разделении земли и о превосходстве Ераншахра над соседними странами. Идея военного и конфессионального превосходства иранцев над иноземцами выражена в двух следующих предложениях, повествующих о вторжении Кай Лохраспа в Рум и разрушении языческих храмов в Иерусалиме. Списки *B* и *K43b* по разному интерпретируют обстоятельства разговора с послами:

B: ke-šān hampursag frāz awiš rasišnīg “когда они пришли к нему [Адур-Фарробагу] для беседы”.

В списке *K43b* вместо hampursag присутствует группа знаков, которая на первый взгляд представляется бессмыслицей: hm šk pwr (PWN?) wндыk.

Д. Санджана попытался исправить положение сомнительной эмендацией hampursagīg. В наборе разрозненных частей мы усматриваем два знакомых слова: hamēšag и rauwandīg. В таком случае фраза обретает несколько иной смысл: “потому что они всегда приходили и поддерживали связь с ним”.

Если в списке *B* высказывается намерение прибывших, то в *K43b* внимание акцентируется на продолжительности контактов Адур-Фарробага с послами.

Отвлекаясь от разночтений, следует сказать несколько слов о палеографии списка *K43b*. Положительное впечатление, сложившееся после первого знакомства с текстом, остается неизменным и далее, несмотря на многочисленные исправления, сделанные рукой самого переписчика. Разборчивый рукописный текст составлен четким курсивом, 20–21 строка на странице, с равными интервалами между ними. Verso каждого листа имеет внизу кустоду (перс. حافظ *ḫāfez*), соединяющую recto следующего листа. В целом *K43b* можно охарактеризовать как добротный черновик (или рабочий экземпляр), составленный компетентным переписчиком, который понимает смысл текста и может вносить существенные исправления как в работу своего предшественника, так и в свою собственную. Сомнительные и неясные варианты чтения он часто исправляет пояснительными примечаниями над строкой или на полях. Некоторые пояснения составлены новоперсидской графикой: “Написано дважды” – над необоснованными повторами; gōz (“день”) над идеограммой YWM с тем же значением; или “Следует прописать красными чернилами” – над славословием Ормазду и маздаяснийской вере.

Ничего подобного не обнаруживаешь в списке *B*. В этом смысле *K43b* чем-то напоминает вычитанную и подготовленную к печати корректуру книги.

Списки *B* и *K43b* по разному обозначают зороастрийские молитвы (в главе “О духовных руководителей”):

B: ud kē-iz pad yašt kard a-tuwānīg ēg-iz iθā ašəm vohū (ud) yaθā ahū vairyō warm kardan abārīg ošmurišn abestāg paydāg “Если кто-либо не в состоянии цитировать яшты, он должен

знать наизусть ‘Ашэм Воху’ (‘Истина есть наилучшее добро’) и ‘Ахунвар’ (‘Как наилучший Господь’), а другие знания он найдет в Авесте” (DkD: 348, l. 11–13).

K43b: ud kē-iz pad yašt kardan a-tuwānīg ēg-iz iθā ašəm vohū ud yatāg-ahūg-wērūg warm kardan xwēš arzānīgān nām az abestāg paydāg (Fol. 9v.: l. 16–18).

Как видим, название второй молитвы в *K43b* представлено не в авестийской, а в пехлевийской транскрипции (yatāg-ahūg-wērūg), принятой в зороастрийской среде. Варьируется и окончание фразы: “... а названия достойных его [поступков] он может найти в Авесте”.

В данном случае трудно сказать, какой из вариантов более предпочтителен.

Существование вариантов в тексте списков памятника предполагает и вариации в переводе его отдельных пассажей и открывает широкое поле для дискуссии.

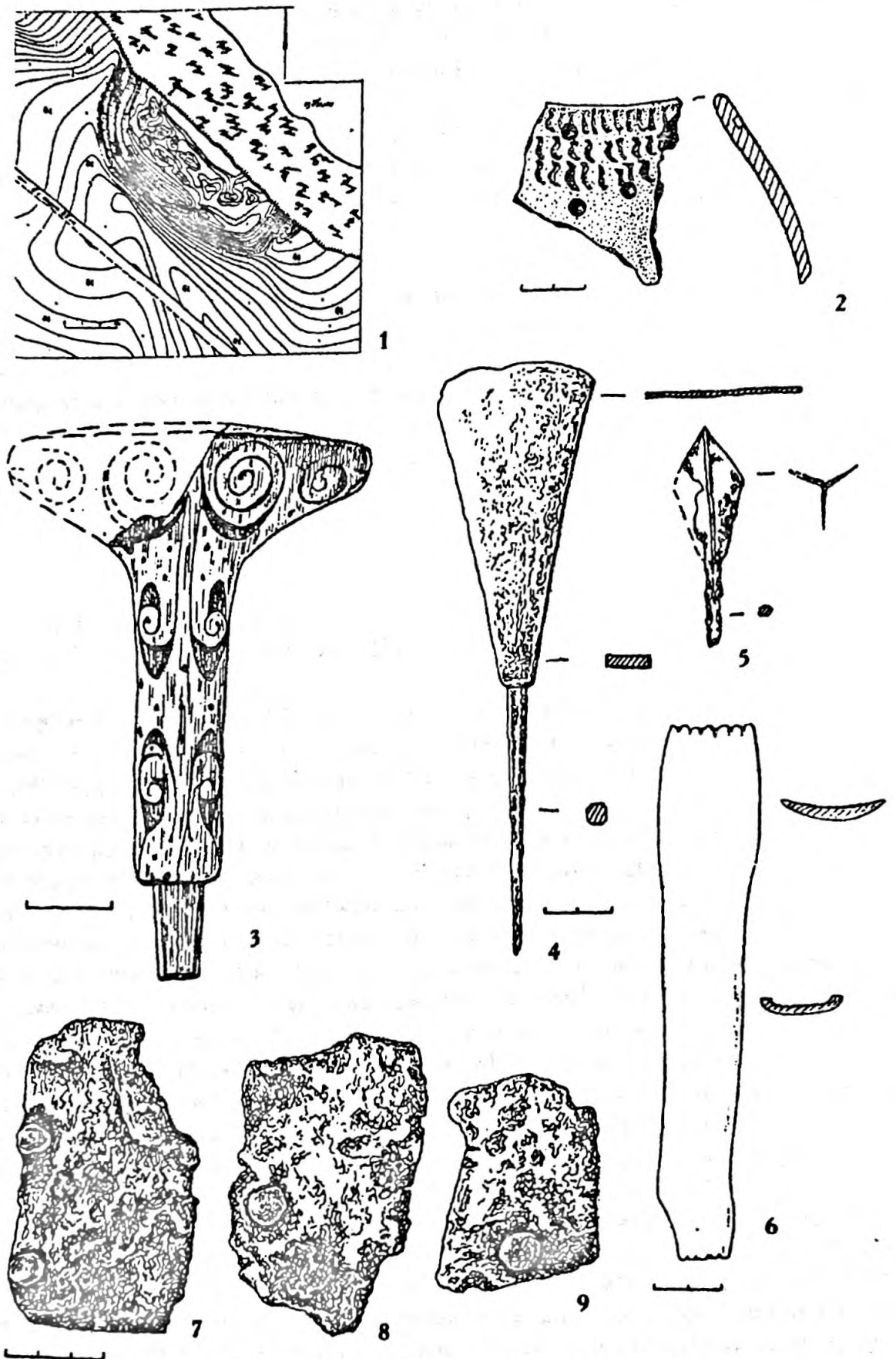
***Настоящее сообщение представляет собой сокращенное изложение доклада “Textual diversities in various copies of the 5th Book of *Denkard*”, прочитанного на 4-й Европейской конференции по иранистическим исследованиям (Париж, 6 – 10 сентября 1999 г.).**

С. В. Красниенко (Санкт-Петербург)

КУЛАЙЦЫ НА СРЕДНЕМ ЧУЛЫМЕ: СТОЛКНОВЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

1. Со времени академических экспедиций XVIII века территория Среднего Причулымья – Назаровская котловина – в природно-ландшафтном смысле часть лесостепной зоны представлялась безусловно относящейся к ареалу культур степного типа. Это представление основывалось на информации о многочисленных памятниках широкого хронологического спектра от андроновской археологической культуры (АК) до находок кыргызского времени (Вадецкая 1986). При этом следует отметить, что распределение находок по отдельным хронологическим “горизонтам” было весьма неравномерным. Так, культуры ранних кочевников “иллюстрировались” большим числом погребальных памятников (в подавляющем большинстве курганов), относящихся в основном к тагарской АК. Поздний период был представлен случайными находками, происхождение которых связывалось с ранними тюрками. Однако косвенные (по отношению к археологии) данные топонимики и лингвистики (Карцев 1961: 70-71) давали основания предполагать здесь наличие в прошлом самодийского населения.

2. Протосамодийский этнический компонент по данным археологии принято локализовать, начиная с VI века до н. э. в среднем течении Оби и связывать с так называемой кулайской АК (Чиндина 1984). Фиксируемые с VI в. до н. э. вначале в пределах Васюганья артефакты кулайской АК в дальнейшем к рубежу нашей эры распространились на широком пространстве таёжной и лесостепной зоны от Зауралья до бассейна Томи. Датированный началом нашей эры комплекс памятников кулайской АК состоит из поселений, городищ, а также немногочисленных могильников, петроглифов, культовых мест (святилищ). Относящийся к кулайскому времени инвентарь памятников весьма богат и состоит из орудий труда, предметов вооружения, украшений, материальных свидетельств производственной деятельности (бронзолитейного производства, костерезного дела и пр.).



Находки кулайского типа на территории Назаровской котловины:

1. план городище Подозёрное; 2. фрагмент венчика орнаментированного сосуда (Усть-Парная V); 3. костяное изделие (Косые Ложки XV); 4-5. железные наконечники стрел (Темра VII, Шарыповское VII); 6. костяная накладка лука (Усть-Парная II); 7-9. фрагменты железных лат (Холмогорское IV)

3. Сплошная паспортизация на указанной территории, связанная с переносом акцентов с выявления только ярких и очевидных, в первую очередь разрушаемых памятников, на создание максимально полной археологической карты, привела к открытию многочисленного пласта артефактов и памятников, не имеющих прямых аналогий в культурах степного круга. На территории обследованной части Назаровской котловины в процессе этой работы были открыты памятники, среди подъёмного материала которых обнаружены керамика с характерным орнаментом – мотивом “уточка” (рис. 2), связываемая с кулайской АК, а также орнито-антропоморфные культовые украшения (рис. 3), свидетельства железной и бронзовой металлургии (тигли, льячки, шлаки и пр.) и некоторые железные изделия (топоры-тёсла, наконечники стрел, фрагменты лат) (рис. 4-5, 7-9). Количество таких памятников, атрибутированных, прежде всего, на основе находок подъёмного материала, превысило к настоящему 20. Среди них – Косые Ложки VIII, Косые Ложки Кладбище, Косые Ложки XV, Темра VII, Темра XIII, Усть-Парная, Усть-Парная V, Холмогорское IV, Шарыповское VII, Шушинское I и др. Наиболее интересными памятниками, генетически связанными с таёжными этническими компонентами, являются городище Подозёрное и случайно обнаруженное одиночное захоронение в пункте Усть-Парная II. Городище Подозёрное (рис. 1) (Красниенко, Субботин 1999: 102) было открыто автором в 1987 г. Тогда же А. В. Субботин заложил на нём рекогносцировочные шурфы, в которых были обнаружены фрагменты в основном неорнаментированной керамики, а также крупный костяной наконечник стрелы. Расположенное в лесу, на юго-западном берегу озера Белое, городище, точнее сохранившаяся его часть стоит на краю обрыва коренного берега озера. Судя по планировке, городище было в большей своей части разрушено подмывами западного берега озера. Установить его первоначальные размеры невозможно. Сохранившаяся часть имеет длину (вдоль берегового обрыва) по верху вала 60 м и в ширину (от берега вглубь леса) – 25 м. Высота обрыва – 12-15 м. Городище укреплено валом высотой 3,5-4,5 м. С напольной стороны сохранился ров глубиной 0,4-0,7 м. Примерно в середине юго-западной стены вал в древности был прорезан на достаточно большую глубину. Вероятно, здесь находился вход. Внутренняя поверхность городища перекопана грабительскими траншеями и ямами. В последние годы разрушение памятника продолжается. Аналогии таким памятникам неизвестны восточнее и южнее, но исследованы и описаны, в частности, в литературе, посвящённой кулайской АК.

4. Погребальный памятник Усть-Парная II, исследованный Сибирской экспедицией в 1998 г., содержал захоронение одного человека, произведённое на древней дневной поверхности и перекрытое бревенчатым настилом. При лежащем на спине, головой на юго-запад погребённом находилась костяная накладка от лука (рис. 6), подобна нескольким, обнаруженным на юге Западной Сибири.

5. В последние годы вновь ожил интерес к топонимике рассматриваемого региона (Комиссаренко 1999). Согласно последним топонимическим версиям, самодийское население – носитель кулайской АК – из Приобья проникало как далеко на север (в низовья Таза и Енисея), так и на юг (в верховья Енисея) (Могильников 1997: 110). Назаровская котловина в последнем случае служила частью достаточно удобного пути на юг. Топонимическим свидетельством этого движения, в частности является гидроним “Колба” (название ручья в Шарыповском районе Красноярского края и реки в Кемеровской области).

6. Археокультурная ретроспектива Назаровской котловины представляется в связи с вышеизложенным следующей. Период, начиная со II тыс. до н. э., отмечен сначала медленным, затем всё более ускоряющимся движением этносов в основном в широтном

направлении: восток-запад и запад-восток. Исключением была окуневская АК – вероятно, результат культурных и этнических контактов таёжного населения самусьской общности и жителей степных районов. Такая пограничная между степью и тайгой территория, как Назаровская котловина, даже в эпоху раннекочевнических культур демонстрирует некоторые отличия от “чистых” памятников минусинского типа. На рубеже нашей эры культурное давление степи на север ослабло. Связано это было, вероятно, с нарушением некоей относительной стабильности, наступившей в эпоху Великого переселения народов, и вовлечением в этот процесс практически всего населения пояса степей Евразии. Возникший в результате относительный культурный “вакуум” (относительный, в частности, потому, что существует большая вероятность “доживания” тагарской и более поздних археологических культур степного типа на территории Назаровской котловины до середины I тыс. н. э.) заполняется никогда не прекращавшимся, но в рассматриваемый период усилившимся культурным воздействием населения таёжно-степного пограничья юга Западной Сибири. Судя по имеющимся историческим реконструкциям, носители кулайской АК в начале н. э. переживали период экспансии, выразившейся в проникновении предметов материальной культуры и самих её носителей в соседние степные и лесостепные районы, где происходило смешение различных этносов, что нашло отражение и в материальной культуре. Подобные процессы отмечены не только в таких стоящих особняком регионах как Назаровская котловина, но и в традиционно населённых степняками верховьях Оби и Иртыша (Могильников 1978: 89).

Библиография

- Вадецкая Э. Б. 1986. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л.
- Карцов В. Г. 1961. О чём говорят курганы Енисея. Историко-археологические очерки. Абакан.
- Комиссаренко А. Н. 1999. Поэзия шарыповской земли. Топонимический словарь. Шарыпово.
- Красниенко С. В., Субботин А. В. 1999. Археологическая карта Шарыповского района (Красноярский край). СПб.
- Могильников В. А. 1978. К вопросу о контактах населения Среднего Приобья и Прииртышья в раннем железном веке // Ранний железный век Западной Сибири. Томск.
- Могильников В. А. 1997. Миграции древних самодийцев и их контакты с соседями // Четвёртые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Материалы научной конференции (Омск, 2, 3 декабря 1997 г.). Омск.
- Чиндина Л. А. 1984. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Томск.

***Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 98-01-00316).**

Г. А. Пугаченкова (Ташкент)

БУДДИЙСКОЕ ИСКУССТВО КУШАНСКОЙ БАКТРИИ

Время Кушан, ознаменованное вхождением в их владения обширных земель современных Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана и Индии, отмечено

проникновением на эту обширную территорию идей и их воплощений в различных областях культуры, в частности в художественной культуре. Это наглядно запечатлено в памятниках архитектуры, изобразительных и прикладных искусствах на территории Бактрии – древней исторической области, простиравшейся по обе стороны Амударьи. Открытие этих памятников связано с археологическими исследованиями XX века.

Связи Бактрии с Индией в основном запечатлены в памятниках пришедшего отсюда буддизма. Главная роль в них принадлежала архитектурным сооружениям: наземным и пещерным монастырям-*чайтья*, вихара с помещениями – *сангарамы*, памятным башнеобразным сооружениям – *ступы*.

Приведем перечень археологически исследованных памятников этого рода, двигаясь с севера на юг. На территории Узбекистана это городище Дальверзин-тепе, таящее остатки столицы Кушан, которая фигурирует в китайских источниках под названием Ходзо. Далее городище Старого Термеза – здесь исследованы буддийские храмы загородный и внутригородской территорий, полупещерный и частично наземный монастырь Кара-тепе, монументальный наземный монастырь Фаяз-тепе, отдельно стоящая “башня Зурмала” – крупная *ступа*, близ которой, очевидно, располагалось буддийское строение. В Айртаме над руинами греко-бактрийского оборонного здания был возведен буддийский храм, включавший святилище, входной айван, платформу реликвария. На этом же городище имеются следы еще одного сооружения, от которого дошли остатки *ступы*.

Среди буддийских памятников, обнаруженных в Южной Бактрии (северный Афганистан) к кушанскому времени относятся руины небольшой *вихара* в Кундузе. На городище Дильберджин в округе Балха – небольшой буддийский храм. В самом Балхе был знаменит Наубехар, ныне представленный огромным холмом. Само его название – “Новая вихара” – указывает на буддийскую основу этого комплекса; вблизи от него зафиксирован массив башнеобразной *ступы*. В области Балха изучались также остатки *сангарамы* Топрак-кала и крупная *ступа* Ярты-гумбез.

Хотя типология буддийских сооружений в Бактрии следует индийским канонам, в них налицо локальные отличия, связанные с местной архитектурной традицией. Прежде всего это строительная техника. Ведущий строительный материал – сырцовый кирпич, в то время как в Индии – камень. Перекрытия деревянные, а также сводчатые. В разработке пространства и поверхностей многое идет от греко-бактрийских традиций, связанных с эллинистическим зодчеством и, в частности, – с ордерной системой.

В декоративном оформлении буддийских построек Бактрии заметное место занимала скульптура, соподчиненная выработанным в Индии буддийским образам и сюжетам. Частью она безусловно следует им – таковы образы Будды, боддисатв, монахов, но частью связана и с пластическими традициями бактрийского искусства – таковы образы деватов, светских персонажей – донаторов, воинов. В отличие от Гандхары, где преобладала каменная скульптура, т. е. ваение, в Бактрии применялась лепка из глины с поверхностным гипсованием, хотя встречены и каменные скульптуры, например, знаменитый Айртамский фриз.

Настенная живопись в буддийских постройках Бактрии, дошедшая фрагментарно, содержит традиционные образы Будды и боддисатв, сцены их почитания, но если образы эти каноничны, то облик донаторов вполне локален, в них подчеркнуты местные внешность и регалии. В области малых искусств канонические образы Будды и боддисатв получают распространение в бактрийской коропластике. Их терракотовые образки, изготовленные штампом с матриц, встречены на многих бактрийских городищах. Среди

найденных в Бактрии предметов, связанных с буддизмом, – каменные резервуары, “зонтики почета”, небольшие алтари.

Главные верования в Бактрии всегда были связаны с древними локальными культами, среди которых преобладала местная разновидность зороастризма. Но буддизм также пустил здесь корни, задержавшись вплоть до прихода арабов и утверждения ислама. Буддийское искусство продолжало здесь свое развитие в послекушанское время – превосходные образцы его дают Аджина-тепе и Фундукистан.

И. В. Пьянков (Великий Новгород)

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ И ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В БАКТРИИ КО ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КУШАНСКОЙ ДЕРЖАВЫ

Вопрос об этнической и языковой ситуации в Бактрии ко времени возникновения Кушанского государства уже давно является темой моих устных и письменных выступлений (см. “Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана”. Вып. II. М. 1990: 55-57; “Восток”. 1995. № 1: 50, 51; № 6: 28-32; “Вестник древней истории”. 1996. № 3: 21-23; “История таджикского народа”. Т. 1. Душанбе 1998: 521-523 [помещенный на этих страницах раздел “Памятники неизвестной письменности” принадлежит мне, хотя по ошибке приписан другому автору], 707-709).

Эта ситуация представляется мне следующим образом. Земледельческие оазисы юга Средней Азии и востока Иранского нагорья, в том числе Бактрия, ко времени прихода во II в. до н. э. кочевников-тохаров, из среды которых вышла династия Кушанов, были населены ираноязычным населением, занимавшим промежуточное положение между западными и восточными иранцами. Именно в среде этого населения несколькими веками раньше сформировалось ядро авестийских текстов с их двумя диалектами. Соседние индийцы называли это население камбоджами. Оно пользовалось нерасшифрованной пока письменностью, которую обычно называют “неизвестной”. Тохары же, пришедшие в Бактрию, говорили на восточноиранском языке, к которому был приспособлен греческий алфавит. На этом языке и составлялись кушанские надписи. Такая трактовка ситуации во многом противоречит принятым до сих пор взглядам и, конечно, является гипотетичным построением, которое может быть или подтверждено, или опровергнуто новыми данными.

В недавно вышедшем 2-м томе “History of civilizations of Central Asia” (Paris 1994) в соответствующем разделе (с. 397-440) интересующая нас ситуация нашла новое освещение. Его автор, известный иранист Я. Харматта пришел к выводу, что древнее, докушанское, население Бактрии и соседних стран, которое и он считает камбоджами, говорило на авестийском языке, но, в соответствии с прежним господствующим мнением, признает бактрийским и язык кушанских надписей, выполненных греческим письмом. Предложенная им дешифровка “неизвестной” письменности рисует ее язык как восточноиранский, близкородственный сакскому, который должен быть признан или языком неких саков, или собственным языком Кушанов.

Таким образом, первый и основной из моих тезисов (который, собственно, возрождает очень старую теорию) – об авестийском языке докушанских, бактрийцев – находит поддержку. Но если признать бактрийским и язык кушанских надписей, то нужно объяснить, почему одинаково бактрийскими оказываются два столь разных языка, к тому же хронологически смыкающихся. Далее, если признать, что язык кушанских надписей

является языком местного покоренного населения, а язык “неизвестной” письменности – языком завоевателей-Кушанов, то нужно объяснить, почему статус этих языков оказывается прямо обратным статусу их носителей: кушанские тексты греческим письмом являются единственной или первой версией монументальных надписей, а тексты “неизвестного” письма – третьей. И почему завоеватели решили приспособить греческий алфавит именно к языку покоренного населения (как будто этого не могли сделать до них сами греки)? Кроме того, для определения языка “неизвестного” письма как языка собственно Кушанов необходимо решить ряд частных вопросов – например, о времени и месте изготовления знаменитой иссыкской чаши.

С. Н. Травкин (Санкт-Петербург)

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ “ВОСТОКА”
В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДРЕВНОСТЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
(НА ПРИМЕРЕ МОНЕТ ШЕХР АЛ-ДЖЕДИДА)

Рассматриваемые земли простираются от Карпат и Дуная на западе до Днепра и Крыма на востоке, от Припяти на севере до Черного моря на юге. С точки зрения географии они находятся в Европе. Следовательно, могут быть отнесены к такому культурно-историческому понятию как “Запад” или “Европа”. Понятию, которое принято противопоставлять “Востоку”. Но при изучении средневековых древностей становится ясным, что термины “Восток” и “Восточная культура” являются здесь весьма относительными. Особенно ярко это отразилось в нумизматике.

Одной из особенностей региона было то, что “восточные” монеты не только поступали в него с разных направлений (с востока, юга и юго-запада), но неоднократно и господствовали здесь. Эти земли в Средние века неоднократно попадали под власть государств, в которых преобладала “восточная” культура, а следовательно и монеты соответствующего облика. Часто остается не совсем ясным: в какой мере эта культура стала “местной” и “автохтонной”, а в какой оставалась чисто “импортной”. Спорным остается вопрос и о путях взаимодействия “Востока” и “Запада”. Оно могло проходить тремя способами: “либо то, либо другое”, “не то, не другое”, “и то, и другое”. В первом случае полную победу одерживала одна из культур. Во втором из столкновения и взаимопроникновения разных элементов появлялось нечто новое. В последнем случае фрагменты двух культур продолжали сосуществовать достаточно продолжительное время. В любой ситуации требовалась адаптация “импортной” культуры к местным условиям. Типичным примером такой адаптации являются чеканка и обращение серебряных дирхемов и медных пулов Шехр ал-Джедида (= Янги-Шехра = “Нового города”).

Время чеканки Шехр ал-Джедида известно по датам на дирхемах (пулы дат не имели). Первоначально были найдены дирхемы 765, 766, 767, 769 гг. X. (Янина 1977). Позднее появились дирхемы 768 и 770 г. X. (Nicolae 1995: 197-200; материалы Сесенского клада из Музея с. Сесены). Даты на дирхемах подтверждаются наличием на части из них имени хана Абдуллаха. Вероятно, они выпускались в 1363 – 1369 гг.

Сложнее определить место чеканки этих монет, так как нет письменных свидетельств о местонахождении Шехр ал-Джедида. Это привело к широкой и продолжительной дискуссии. С. А. Янина (а за ней и большинство молдавских исследователей) считала, что Шехр ал-Джедид был на месте городища Старый Орхей в Бессарабии. (Янина 1977: 193-

210). В. Л. Егоров располагает Шехр ал-Джедид на Кучугурском городище на левом берегу Днепра (1985: 84-85). По мнению А. О. Добролюбского ставка Абдуллаха во второй половине 60-х гг. XIV в. откочевала на восток (на Кучугурское городище) и унаследовала от Старого Орхея имя Шехр ал-Джедид (1988: 53).

При всех разногласиях названные авторы размещают Шехр ал-Джедид в рассматриваемом регионе. Наиболее обоснованной представляется точка зрения С. А. Яниной, так как она опирается на богатые нумизматические коллекции Старого Орхея, но при этом необходимо указать на ее уязвимые места. Прежде всего, монеты Шехр ал-Джедида известны в Бессарабии не только в Старом Орхее: они встречаются и на городищах Костешты и Белгород-Днестровск (Булатович 1986: 117-120, и материалы раскопок этих памятников). Имеются эти монеты (в том числе медные) и в районе Кучугурского городища на Днестре (Ельников, Клокарев 1997: 64; частная коллекция в Запорожье). Кроме того, между Днестром и Днестром известны неисследованные золотоордынские городища. (Егоров 1985: 85-87). Каждое из них в теории может претендовать на тождественность с Шехр ал-Джедидом. Для нас важно только то, что судя по концентрации нумизматических материалов, чеканка данных монет осуществлялась в рассматриваемом регионе, но необходимо признать: точная локализация этого города остается весьма спорной.

Таким образом, монеты Шехр ал-Джедида вероятно являются частью культурного наследия Юго-Восточной Европы. К их характерным чертам можно отнести чисто мусульманское оформление монет (арабские надписи, содержание легенды, отсутствие изображений); двойное название города на ранних типах монет: на арабском и тюркском языках; относительно короткий период чеканки (менее 10 лет); быструю деградацию монетного типа; отсутствие на поздних монетах имени хана Золотой Орды. Все это свидетельствует о первоначально чисто "импортном" характере чеканки монет приезжими мастерами, которые позднее были заменены местными ремесленниками. (Янина 1977: 209). В результате произошла адаптация монет к местным условиям. Интересно, что подчеркнуто мусульманский ("восточный") характер этих монет сохранился до самого конца их чеканки, а знаки зависимости от ханов Золотой Орды постепенно исчезли: имя хана было заменено нейтральным титулом "амир". (Nicolae 1995: 200). Этому соответствует и то, что только на первых типах дирхемов используется как тюркское (Янги-Шехр), так и арабское (Шехр ал-Джедид) название города. На более поздних дирхемах и на всех пулах есть только арабский вариант. Складывается впечатление, что местные мастера стремились специально подчеркнуть свою связь именно с культурой "Востока", а не с властью золотоордынских ханов. Данное желание имело особое значение, так как они явно не смогли достигнуть технического уровня своих предшественников.

Подобной ситуации соответствует и состав монетных находок на городищах Бессарабии, которые являются наиболее вероятными кандидатами на место чеканки монет Шехр ал-Джедида. Среди монет XIV в. в Старом Орхее, Костештах и Белгород-Днестровске абсолютно преобладают чеканки Золотой Орды. В более восточных областях Юго-Восточной Европы (на Украине) джучидские монеты концентрировались там, где не было оседлого украинского населения, и постоянно жили татары. (Котляр 1971: 76). Подчеркнуто золотоордынский характер монет Шехр ал-Джедид находит соответствие и здесь.

Из всего этого можно сделать вывод, что чеканка монет Шехр ал-Джедида была типичным примером господства "Восточной" культуры в "нетипичном" для нее регионе

Юго-Восточной Европы. Особенно необходимо подчеркнуть, что это не было случайностью: в раннем Средневековье здесь обращались куфические дирхемы, позднее сюда поступали монеты Золотой Орды, Турции и Крымского ханства. Все это свидетельствует, что понятие “Восток” и “культурное наследие Востока” в средние века было много шире той территории, которую принято относить к Восточным странам.

Н. О. Чехович (Санкт-Петербург)

НОВЫЙ КЛИНОПИСНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗ
ФИНИКИЙСКОГО ТИРА В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
(к вопросу о “мирных” документах среди руин)

Долгое правление вавилонского царя Навуходоносора II (604 – 562 гг. до н. э.) проходило под знаком постоянного наступления его державы на запад. При всем разнообразии источников, освещающих походы этого правителя, в частности, его финикийскую кампанию (Ветхий Завет, античные авторы, вавилонские царские надписи и храмовые документы), их свидетельства скудны, и последние 12 лет правления Навуходоносора представляются “темными”. Между тем, именно на этот период приходится окончание похода в Финикию, завершение осады островной цитадели финикийцев – города Тира. Согласно данным античных источников, эта осада продолжалась 13 лет; ее общепринятая хронология укладывается в рамки 587 – 572 гг. до н. э. Но до сих пор не прояснены обстоятельства самой осады и ее снятия. Город, скорее всего, не был взят штурмом: царю Вавилона это не удалось так же, как до него ассирийцам; лишь Александр Великий сумел захватить Тир штурмом.

Вавилонские хроники от этого времени не сохранились, однако имеется около десятка клинописных хозяйственных документов на аккадском языке, место составления которых – Тир (по-аккадски Цурру), а дата – как раз последние 12 лет правления Навуходоносора. Кроме того, имеется столь же небольшая группа текстов, упоминающих этот город. Содержание клинописных документов из Тира весьма прозаично. В большинстве случаев это заем денег, реже – продовольствия. В некоторых из них указывается, для чего произведен заем. Один раз деньги идут на покупку военного обмундирования (PTS 2516), причем кредитором является один из богатейших храмов Вавилонии – Эанна (в Уруке). Представители администрации этого храма бывали в Цурру, ведя клинописное делопроизводство и отвозя затем документы на хранение в храмовый архив, где они и сохранились до наших дней. Администрация Эанны вообще проявляла, судя по документам, большую активность в Цурру, давая в долг деньги или продовольствие, а иногда и занимая их. Порой денежные средства шли на оплату довольствия храмовых рабов: указывается, что это рабы *ширку* Эанны, занятые на работах в Цурру (PTS 3181 [Эрмитаж 15474]). В другом случае деньги были нужны на оплату работы и питания пастухов, и администрация храма занимала сумму серебром у некоего лица (GC I: 94). Среди свидетелей и контрагентов, упомянутых в известных в настоящее время документах, встречаются и служители храмов из других городов Вавилонии – Ниппура (Ni 361 – это самый ранний документ из Цурру/Тира, датируемый 31-м годом Навуходоносора, скорее всего, 574 г. до н. э.) и Марада (PTS 2992). Особенно пестрым оказался список свидетелей документа Ni 361 – единственного, дата составления которого предшествует снятию блокады с Тира: здесь и главный жрец-певчий бога Энлиля в

Ниппуре, и два пивовара – один бога Нинурты, другой – богини Унгаль; присутствует там и храмовый привратник, а также др.

Французский исследователь Ф. Жоаннес проанализировал в двух статьях тексты из Цурру и о Цурру (Joannès 1982; 1987). Он попытался преодолеть противоречия в содержании этих документов разделением их на две группы, руководствуясь при этом чисто внешним признаком, а именно наличием или отсутствием в текстах военных реалий. В “военную” группу попал также (по признаку принадлежности к западносемитской топонимике) документ о Милки-этири, губернаторе Кадеша (в Сирии), обязанном отдать одному вавилонянину коров: в случае невыполнения этого он был должен выплатить крупную сумму в 5 мин серебра.

Действительно, если упоминание о Кадеше вполне вписывается в обстоятельства западного похода Навуходоносора, то гораздо сложнее объяснить присутствие в финикийском Тире храмовых служителей Вавилонии, страны по тем временам весьма отдаленной. Используя достижения семитологов, которые открыли западно-семитские имена и топонимы в документальных данных о поселенцах-пленных в Вавилонии, Жоаннес разрешил все противоречия по-своему, предложив признать существование двух Цурру – одного в Финикии и другого в центре самой Вавилонии, где-то между Ниппуром и Уруком. Действительно, в такой вавилонский Цурру (по мнению исследователя, ничем, кстати, не подкрепленному, это был поселок [bourgade], населенный пленными финикийцами), ездить было бы ближе, чем в Финикию. Однако сам царь Тира жил в Вавилоне; в вавилонском дворце можно было встретить финикийских моряков (корабельщиков?) и ремесленников, получавших довольствие из казны (Weidner 1939: 929-932).

К гипотезе Жоаннеса о городе Цурру в Вавилонии научные круги, например, редакторы “The Cambridge Ancient History” (Vol. III/2. 1991: 235) отнеслись осторожно. Поддержал же ее Р. Цадок, который, собственно, и отыскал раньше других наиболее близкий топоним – Бит-Цуррайя – в позднеахеменидских документах из района Ниппура (Zadok 1978: 60-61). В своем превосходном географическом справочнике он разбил тексты, упоминающие Цурру, на две группы. Одна, с заголовком *Ṣūru*, т. е. с долгим *u*, может относиться к Тиру в Финикии (наличие в их содержании военных реалий, а также детерминатива “страна” перед названием Цурру). Вторая группа, т. н. “мирные” тексты упоминают *Ṣurru*, который “не идентичен Тиру” (Zadok 1985: 280 f.). Примечательно, что в параграфе о финикийском Тире мы встречаем графические варианты ^{ur}*ṣur-ru*, ^{kur}*ṣur-ru*, ^{kur}*ṣur-ri*, тогда как в текстах второй группы – *ṣu-ú-ru*, т. е. с долготой. Причина такого деления кроется в противопоставлении “военных” и “мирных” документов. Но правомерно ли оно? Достаточно ли оснований для локализации Цурру в Вавилонии?

Нет ни одного документа из Цурру, содержание которого действительно противоречило бы обстановке в городе, только что избавленном от блокады, где представители армии завоевателей остро нуждаются в деньгах и продуктах, в том числе для содержания прибывших с войсками рабочих “мирных” профессий. В том, что в финикийском Тире составляют клинописные документы на глине, также нет ничего странного, поскольку в городе действительно находилось много людей из Вавилонии, храмы которой, как известно, были оплотом клинописной культуры и делопроизводства даже 300 лет спустя после описываемых событий.

Очень любопытный список свидетелей – из разных культовых центров Вавилонии – приводит документ из Тира, обнаруженный мной в клинописном собрании Гос. Эрмитажа

(инв. № 15474), о существовании которого Ф. Жоаннес не знал. Речь здесь идет о займе, причем немалой сумме – 19,5 мин серебра (около 10 кг). Имя кредитора – Набу-аххе-буллит, сын Апла. Должников целая группа – девять человек во главе с распорядителем имущества (акк. *кипу*) храма Эанна по имени Син-иддин. Через три месяца они обязуются отдать долг шерстью высшего качества посылному кредитору в Уруке. Син-иддин отвечает за возврат долга. “Довольствие [для храмовых рабов] *ширку* Владычицы Урукской, которые производят работу [для] города Цурру, выдано. Свидетели: Бел-шузибанни, *кипу* храма Эзида; Бел-ана-каши-аткаль, *кипу* храма Эмеслум [sic!]; Бел-кацир, градоначальник (акк. *шакин теми*) города Киша; Нергал-буллит, градоначальник города Дильбата. Писец: Балату, сын Мушезиб-Бела. Цурру, 5-й (?) день месяца аба, 32-й год Навуходоносора, царя Вавилона. Прежнее долговое обязательство (акк. *у’ильту*) уничтожено”.

Что касается даты этого документа, то указанный в нем год практически не вызывает сомнений, поскольку сохранилась верхняя часть знаков. Число месяца аба повреждено, поэтому возможны варианты от 5-го до 19-го. Упомянутые в тексте Эзида (храм бога Набу) и Эмеслам (храм бога Нергала) находились соответственно в Борсиппе и Куте. Погашение долга, как и в нескольких других документах из “тирской” группы, должно было состояться не в Цурру, а в одном из крупных городов Вавилонии, что можно объяснить удаленностью Тира от обычных мест хозяйственной деятельности вавилонских храмов.

Итак, летом 573 г. до н. э. в Цурру/Тире засвидетельствовано присутствие важных чинов храмовой и городской администрации из пяти культовых центров Вавилонии. Разумеется, тот факт, что именно они стали участниками процесса оформления нашего документа, мог быть в какой-то степени случайностью. Люди такого ранга собрались, конечно, не ради составления условий данного займа, а, скорее всего, для участия в каком-нибудь явно нерядовом религиозном или политическом событии. Представить же себе подобный съезд высоких гостей в поселке финикийских пленников-поселенцев (существование которого вообще не более чем гипотеза) довольно трудно.

В нашем распоряжении находится очень немного датированных документов, чтобы делать слишком смелые предположения. Однако интересно сопоставить документ из Эрмитажа с опубликованным Жоаннесом текстом из Цурру PTS 2992, датированным 14-м аба 40-го года Навуходоносора, т. е. 565 г. до н. э. (Joannès 1987: 156). Речь в нем идет о трех овцах, выданных в Цурру Эриба-Мардуку, управителю (акк. *шатамму*) храма Эигикалама из вавилонского города Марада. Овцы эти были выданы в долг из имущества храма Эанна, а погашение долга предполагается финиками уже в Мараде, причем финики должны поступить “в *макасу* (жертвенное) богини Владычицы Урукской”. Любопытно, что именно в одном и том же месяце абе 573 и 565 гг. в Тире находились главы храмовых администраций Вавилонии: не было ли это связано с городским религиозным праздником Тира?

Остается проблемой дата снятия осады с Тира. С празднованием этого события может быть связан один из двух самых ранних документов этой группы – эрмитажный или же до сих пор неизданный текст Ni 361 из Ниппура, хранящийся в Стамбуле и известный только в пересказе Жоаннеса (см. выше).

Хочу поблагодарить Н. Б. Янковскую, хранительницу клинописной коллекции Гос. Эрмитажа, за предоставленное мне разрешение опубликовать цитированный выше документ. Этот доклад я посвящаю светлой памяти моего дорогого учителя Игоря Михайловича Дьяконова.

Библиография

- Joannès F. 1982. La localisation de Şurru à l'époque néo-babylonienne // *Semitica*. 32: 35-43.
- Joannès F. 1987. Trois textes de Şurru à l'époque néo-babylonienne // *Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale*. 81: 147-158.
- Weidner E. F. 1939. Jojachin, König von Juda, in babylonischen Keilschrifttexten // *Mélanges syriens offerts à ... R. Dussaud*. II: 923-935.
- Zadok R. 1978. Phoenicians, Philistines and Moabites in Mesopotamia // *Bulletin of the American School of Oriental Research*. 230: 57-65.
- Zadok R. 1985. *Geographical Names according to New and Late Babylonian Texts*. Wiesbaden (Répertoire géographique des textes cunéiformes. VIII).

П. В. Шувалов (Санкт-Петербург)

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ АВАРОВ НА ПОЗДНЕРИМСКОЕ ВОЕННОЕ ДЕЛО

Общепризнанно огромное влияние аваров на военное дело народов Европы и Средиземноморья и, в частности, Восточной Римской империи. В настоящей заметке я хочу остановиться только на тех сторонах этого процесса, которые нашли свое отражение в “Стратегиконе” Псевдо-Маврикия, оригинальный текст которого, неоднократно уже публиковавшийся, используется мною по его последнему, существенно улучшенному изданию 1981 г. (Dennis, Gamillscheg 1981); однако, поскольку в нем опущена нумерация параграфов, для большего удобства читателей далее она приводится по предыдущему изданию 1970 г. (Mihăescu 1970).

Автором этого чрезвычайно важного военно-теоретического трактата обычно считается император Маврикий (582 – 602 гг.). Сторонники такого мнения обычно ссылаются на те рукописи, в которых это сочинение озаглавлено либо как “Маврикия стратегикон”, либо как “Маврикия тактика – того, который был при царе Маврикии”. Однако лучшая рукопись этого произведения имеет другой заголовок: “Урбикия тактический стратегикон”. Предполагается, что здесь имеется в виду известный стратег Урбикий, живший при императоре Анастасии (491 – 518 гг.). Поэтому ряд ученых оспаривают авторство императора Маврикия, приписывая сочинение либо Урбикию, либо другим авторам. По этой причине за автором трактата закрепилось имя Псевдо-Маврикий. Тем не менее, уже сейчас абсолютно ясно, что его текст был окончательно оформлен в период между 592 и 610 гг. Основанием этому служат два наблюдения. Во-первых, последнее датированное упоминаемое в трактате событие – это поражение ромейского войска от аварского кагана под Гераклеей-Перинфом в 592 г. Во-вторых, в трактате ни слова не говорится ни об арабах, ни о войнах василевса Ираклия (610 – 641 гг.), ни о военных неудачах узурпатора Фоки (602 – 610 гг.). Следовательно, составление или последняя редакция трактата относится ко второй половине царствования Маврикия или же к правлению Фоки. Составителем или последним редактором вполне могли быть и сам император, и кто-либо из его приближенных. Не исключено также и то, к трактату Маврикий вообще не имел никакого отношения, а его имя попало в рукописи по

недоразумению. Для нашей темы, однако, важно то, что ко времени окончательного формирования текста империя была знакома с аварами уже на протяжении полувека. И в нем отражена реформа восточноримской кавалерии, проведенная именно по аварскому образцу.

Вместе с тем, практически все исследователи отмечали, что текст Псевдо-Маврикия является многослойным: в нем отчетливо прослеживаются отрывки из более ранних произведений. В этом отношении он мало чем отличается от других античных и византийских военных трактатов, которые отражают единое развитие военной мысли, и даже в самых поздних византийских военных текстах отчетливо присутствуют фрагменты греческих сочинений классического и эллинистического периодов. Другими словами, все они представляют собой как бы один большой макротекст. Это, однако, отнюдь не означает, что в них развивались лишь однажды высказанные идеи, – наоборот, каждый автор и каждая эпоха вносила свой опыт и свои мысли в разработку темы. Но в тех сферах военного дела, в которых не происходило особых нововведений, составители последующих трактатов вполне довольствовались цитатами из сочинений предшественников (иногда и без прямого указания на это). “Стратегикон” Псевдо-Маврикия входит в число произведений, для которых многослойность текста является нормой. Детальный анализ, проведенный мною, выявил в нем более ранний слой, относящийся по всем признакам ко второй половине V – первой четверти VI вв. н. э. Возможна даже более узкая датировка в пределах 484 – 518 гг. Надо полагать, что в этом слое мы как раз и имеем остатки сочинения того самого Урбикия, имя которого попало в один из вариантов заглавия трактата. Поскольку доказать авторство Урбикия на данный момент не представляется возможным, для удобства изложения условно назовем автора этой части Псевдо-Урбикием. К этому, “урбикиевскому” слою относится более половины имеющегося текста трактата, в том числе разделы, описывающие тактику конного боя. Для нас важно, что в этих главах содержится подробное описание восточноримской кавалерии того времени, т. е. рубежа V – VI вв., кажется вполне очевидным, что кавалерия этого времени в отдельных моментах принципиально отличается от той, что описана в более поздней (“маврикиевской”) части трактата. Отметим, что комментаторы трактата до сих пор не обращали внимания на это обстоятельство.

Итак, в сочинении Псевдо-Маврикия мы имеем описание двух этапов развития позднеримской кавалерии: 1. “урбикиевский” – рубеж V – VI вв. (III.1-4 sq.; VII B. 17.3 [ln. 11-13]); 2. “маврикиевский” – конец VI в., когда она была построена по аварскому образцу (I.2.1-10 sq. [ln. 6-61 sq.]; I.5.1 [ln. 5-15]). Видимо, общие тактические положения, выработанные к концу V в., сохраняли свою актуальность на протяжении всего VI в., чем и вызвано сохранение этих глав в окончательной “маврикиевской” редакции трактата. Действительно, описание тактики “урбикиевской” кавалерии хорошо подходит ко времени юстиниановских войн второй четверти VI в. Вместе с тем, очевиден и ряд новшеств, введенных к концу VI в. Остановимся на отличиях “урбикиевской” и “маврикиевской” схем.

Кавалерия рубежа V – VI вв. представляет собой соединение двух родов конных войск (линейной и рассыпной), каждая (?) из которых состоит из пикейщиков и лучников. Основной тактической единицей является *тагма*, насчитывающая в идеале 310 кавалеристов (на практике от 200 до 400). Вероятно, *тагма* соответствует когорте предшествующего периода. Идеальное войско должно состоять приблизительно из 20000 всадников (пехоте, если она имеется, отводятся вспомогательная роль во второй или третьей линии, или же в промежутках между конными частями). Войско первой линии

выстраивается тремя частями: левой, средней и правой (т. е. тремя *мерами*, каждая примерно по 15-20 *тагм*). Каждой из них командует *мерарх*, при этом *мерарх* средней части является одновременно и командующим всем построением этой линии. На обоих флангах всего построения первой линии располагается фланговое прикрытие: слева *плагнофилаки* (букв. “охраняющие фланг”) – 3 *тагмы*, справа *гиперкерасты* (“охватывающие фланг противника”) – 2 *тагмы*. Кроме того, на флангах за *плагнофилаками* и *гиперкерастами* можно поставить специальные отряды для осуществления засад. На флангах же каждой *меры* из числа *тагм*, входящих в эти меры, выделяются по три *тагмы* (т. е. в идеале 900 всадников) на каждый фланг каждой из трех *мер* [в этом я принципиально расхожусь с известным французским исследователем Ф. Оссарессом (Aussaresses 1909), чья реконструкция, на мой взгляд, не совсем точно воспроизводит данные “Стратегикона”]. Они состоят под командованием тысячников (*мирархов*), по одному на каждый фланг, подчиняющихся соответствующему *мерарху*. Эти отряды либо находятся в общем строю, прикрывая фланги своей *меры*, либо действуют самостоятельно – врассыпную или же как отдельные летучие подразделения. Они называются *курсорами*, и их задачами являются резкие выезды вперед, завязывание боя, прикрытие отступления, преследование врага. Основная же часть *тагм* никоим образом не нарушает своего построения и действует в строгом порядке. Они называются *дефензорами* и предназначены для нанесения главного удара или для отражения такового со стороны противника. Вооружение же *курсоров* и *дефензоров* и их построение, по-видимому, ничем не отличается. И у тех, и у других при обычном построении глубиной в 10 шеренг первые две шеренги (это десятники и их заместители) и две последние вооружены пиками и щитами (в более раннем варианте последняя шеренга вооружена луком и щитом, предпоследняя – как угодно). Третья и четвертая шеренги вооружены луками, но без щита для удобства стрельбы. Остальные (от пятой до восьмой) – различно: видимо, это более молодые и менее обученные воины. Очень важно, что для старших воинов в десятке предусмотрено жесткое разделение на лучников и пикейщиков, что автор (т. е. “Псевдо-Урбикий”) объясняет невозможностью быстро и точно стрелять из лука, когда у воина в руках пика. Щит также мешает стрельбе, и поэтому у лучников он отсутствует.

“Маврикийевская” кавалерия конца VI в. описана не столь подробно, поскольку, судя по всему, общие закономерности построения остаются те же. Однако в первых двух главах трактата Псевдо-Маврикий подробнейшим образом рассказывает сначала об обучении солдат стрельбе из лука, а затем об их вооружении и экипировке, уделяя при этом особое внимание опять-таки луку. Несколько раз подчеркивается необходимость добиться того, чтобы старшие воины в каждой десятке (т. е. две первые и две последние шеренги) умели хорошо стрелять из лука. Таким образом, Псевдо-Маврикий требует от пикейщиков уметь стрелять, чем нарушается одна из основополагающих структур предшествующего периода! Помимо этого, он, описывая экипировку и вооружение кавалериста, указывает и на ряд нововведений, сделанных по образцу военного дела аваров. Среди этих нововведений особое место занимают пики с петлями (I.2.2 [ln. 18-19]). Смысл применения этих петель прост: для того, чтобы освободить руки воина для стрельбы из лука, он подвешивает пикку на плечо за петлю, прикрепленную к середине древка. Подобная петля в Новое время использовалась казаками. Щит для кавалериста Псевдо-Маврикийем не упоминается. И вообще из текста следует, что теперь все всадники вооружены одинаково, кроме молодых воинов, не умеющих стрелять из лука – для них предусмотрены щиты в дополнение к пикам.

Абсолютно ясно, что после этих нововведений было необходимо либо изменить порядок построения шеренг (два первые ряда строить не из старших воинов, а из молодежи – что было бы неверным с точки зрения тактики и боевого духа), либо же изменить тактику фронтального удара сомкнутыми рядами пикейщиков со щитами (ведь теперь первый ряд не имеет щитов), что существенно бы ослабило силу конной атаки. Так или иначе, ни то и ни другое никак не вяжется с тем неоспоримым фактом, что роль кавалерии к концу VI в. существенно возросла, причем вплоть до того, что пехота мыслилась лишь как вспомогательный род войск.

Может быть, отказ от оснащения щитами двух первых шеренг компенсировался за счет иного защитного вооружения. Не исключено, что именно поэтому Псевдо-Маврикий, подробно разбирая вооружение всадника, упоминает защитный воротник из льна и шерсти у самого воина (I.2.2 [ln. 20-21]) и защитные пластины на шее коня (I.2.6 [ln. 37-38]), а также особое прикрытие из льна или козьего меха, закрывающее колени (I.2.8 [ln. 46-49]), – все по аварскому (!) образцу. Кроме того, конник имеет полный панцирный доспех, доходящий до шиколотки и снабженный капюшоном, и шлем с султаном. Любопытно также и указание на то, что горит должен быть широким, чтобы в нем можно было держать наготове лук с уже натянутой тетивой.

Все это, несомненно, говорит о том, что основным оружием конницы теперь является лук, а не пика вместе с луком, как это было ранее, согласно Псевдо-Урбикию. Соответственно и тактика боя должна была измениться в сторону большей роли перестрелки. Однако ясно, что общее построение сомкнутым строем остается, и не происходит также отказа от идеи фронтального удара. Возможно, что этот сдвиг к более широкому применению лука в коннице начался на практике еще при императоре Юстиниане (527 – 565 гг.), о чем свидетельствует описание источниками тактики восточноримской кавалерии во время войн на Западе. Теоретическое же оформление эти новшества получили лишь после серии неудачных для имперской армии войн с аварами.

Нельзя не сопоставить эти изменения в тактике восточноримской кавалерии с ситуацией у готов, у которых долгое время сохранялось применение в коннице только оружия ближнего боя (пики, меча и копья): по мысли некоторых исследователей, именно эта особенность их тактики лежит в основе боевой практики западноевропейского рыцарства.

Библиография

Aussaresses F. 1909. L'armée byzantine à la fin du VI^{ème} siècle d'après le Strategicon de l'empereur Maurice. Bordeaux; Paris.

Dennis G. T., Gamillscheg E. 1981. Das Strategikon des Maurikios / Hrsg. von G. T. Dennis; Übers. von E. Gamillscheg. Wien.

Mihăescu H. 1970. Mauricius. Arta militară / Ed. H. Mihăescu. București.

***Данная работа выполнена в рамках гранта № 841/1998 Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation.**

СТРУКТУРА “СПИСКОВ СТРАН”
ДРЕВНЕПЕРСИДСКИХ НАДПИСЕЙ

Четыре древнеперсидские надписи приводят различные варианты списков стран, подвластных Ахеменидам: Бехистунская надпись Дария I (DB. I.14-17); надпись “е” Дария из Персеполя (DPe. 10-18); надпись “е” Дария из Суз (DSe. 21-30); надпись “а” Дария из Накши-Рустама (DNa. 22-30). Порядок перечисления стран в этих списках сильно различается, хотя между всеми списками имеется много общего. Ключа к пониманию структуры “списков стран”, объясняющего различия и сходства между ними, в современной науке до сих пор не найдено. Решение данной проблемы имеет принципиальное значение как для изучения особенностей восприятия географического пространства древними персами, так и для уточнения локализации отдельных областей персидской державы и определения маршрутов основных коммуникаций, связывающих эти области.

Сопоставляя перечни (см. табл.), можно легко выделить ряд устойчивых групп областей (они выделены рамкой), которые складываются в несколько крупных блоков, объединённых общей территорией. При этом: может меняться порядок перечисления этих блоков (порядковый номер каждого обозначен цифрой); отдельные страны могут перемещаться как внутри блоков, так и из одного блока в другой (выделены жирным шрифтом и подчёркнуты; перемещения внутри мелких групп я не учитываю); также могут появляться некоторые новые страны (курсив).

В современной историографии мне известно три попытки интерпретации данной проблемы (Шуховцов 1989; Goukowsky 1978: 222-224; Shahbazi 1983). Все они сводятся к тому, что отраженные в “списках стран” географические представления рассматриваются через призму зороастрийской концепции семи *каршваров*, и, соответственно, в “списках” разными способами выделяются семь групп стран, представляющих собой *каршвары*. Такой подход мне представляется искусственным и не заслуживающим доверия по двум причинам. Во-первых, у нас нет никаких прямых указаний на то, что географические представления древних персов основывались на концепции семи *каршваров*. Во-вторых, выделение именно семи групп стран вовсе не однозначно вытекает из содержания списков и порождает массу неувязок.

На мой взгляд, данная проблема имеет гораздо более простое и логичное решение. В списках выделяются шесть групп областей: одна из них является центральной частью описываемого в списках географического пространства; следующие четыре группы представляют собой сектора, расположенные по периметру центральной части и ориентированные по сторонам света; шестую группу образуют периферийные страны, видимо, только частично зависимые от персов. Центральная группа: Персия, Сузиана, затем к ним прибавилась Мидия. Четыре сектора: 1. северо-запад – от Армении (или Мидии) до саков, которые за морем; 2. юго-запад – Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет; 3. северо-восток – от Парфии (или Сагартии) до Согдианы; 4. юго-восток – от Арахосии (или Дрангианы) до саков. Наиболее отчётливо такая картина прослеживается в надписи Дария из Накши-Рустама, остальные списки перечисляют страны не в строго географической последовательности, но очевидно, что в их основе лежит та же схема из центра, четырёх лучей и окраин.

Ориентация по сторонам света относительно некоего центра является простейшим и психологически закономерным способом восприятия географического пространства,

DB.	DPe.	DSe.	DNa.
(1) (Pārsa) Ūvja	(1) (Pārsa) Ūvja Māda	(1) (Pārsa) Māda Ūja	(1) (Pārsa) Māda Ūvja
(2) [B]abiruš Aθurā Arabāya Mudrāya	(2) Bābiruš Arabāya Aθurā Mudrāya	(4) Bābiruš Aθurā Arabāya Mudrāya	(4) Bābiru[š] Aθurā Arabāya Mudrāya
(3) tyaiy drayahyā Sparda Yauna [Māda] Armina Katpatuka	(3) <u>Armina</u> <u>Katpatuka</u> Sparda Yaunā tyaiy uškahyā <u>utā tyaiy drayahyā</u> <i>utā dahyāva tyā paradraya</i>	(5) Armina Katpatuka Sparda Yaunā tyaiy drayahyā utā tyaiy paradraya <i>Skudra</i>	(5) Arm[ina] Katpatuka Sparda Yaunā Sakā tyai[y pa]radraya <i>Skudra</i> <i>Yaunā takabarā</i>
(4) Parθava Zraka Haraiva Uvārazmiy Baχtriš [Sug]uda	(4) <i>Asagartia</i> Parθava Zraka Haraiva Baχtriš Sug ^u da <u>Uvārazmiy</u>	(2) Parθava Haraiva Baχtriš Suguda Uvārazmiš <i>2/3 Zraka ?</i>	(2) Parθava Hara[i]va Baχtriš Suguda Uvāraz[m]iš <i>2/3 Zraka ?</i>
(5) Gadāra Saka θataguš Ha[r]uvasiš Maka	(5) <u>θataguš</u> <u>Harauvasiš</u> Hiduš Gadāra Sakā Maka	(3) Harauvasiš θataguš Maciyā Gadāra Hiduš Sakā haumavargā Sakā tigrhaudā	(3) Harauvasiš θataguš Gadāra Hiduš Sakā haumavargā Sakā tigrhaudā
		(6) Putāyā Kašiyā <i>Karkā</i>	(6) Put[ā]yā Kūšiyā <u>Mactyā</u> Karkā

изначально присущим всем без исключения древним народам (Подосинов 1999; Пьянков 1997: 116-119). Очевидно, что этот способ практиковался и древними персами, и вполне естественно то, что именно его мы обнаруживаем в основе “списков стран”.

Такая ситуация тем более вероятна, что в одной из надписей Дария I территория персидской державы определяется, вне всякого сомнения, на основе ориентации по сторонам света: от “саков, которые за Согдом” до Куша и от Хинду до Сард (DPh). Показательно, что в качестве самых окраинных областей различных сторон света здесь используются практически те же страны, что и в рассматриваемых нами списках.

Предлагаемая трактовка структуры “списков стран” позволяет сделать много важных наблюдений. Большое значение имеет определение причин изменения порядка перечисления стран. В целом, здесь можно выделить пять причин: текстовые изменения или использование того или иного варианта последовательности стран; уточнение локализации страны или порча первичных сведений об этом; изменение статуса страны (бóльшая или меньшая привилегированность); изменение маршрутов коммуникаций; наконец, миграция населения. Последняя возможная причина является в большинстве случаев наименее вероятной, но при этом наиболее интересной для нас. Два таких случая мне хотелось бы особо отметить.

Во-первых, саки упоминаются “списками” только в контексте юго-восточной группы, из чего можно заключить, что, по крайней мере, первые контакты персов с саками произошли на территории Северо-Западной Индии. Это наблюдение согласуется со сведениями Гекатея о “скифах” вблизи гандхарского города Каспапир и с рассказами Ктесия и Мегасфена о походе Кира I на массагетов, что заставляет вновь говорить о сакском проникновении в Индию в VI в. до н. э. Это наблюдение также ставит ряд других вопросов. Почему рассматриваемые “списки” не упоминают “саков за Согдом”, хорошо известных античной традиции и одной из надписей Дария (DPh)? Как, в таком случае, соотносятся “индийские” саки с этими “саками за Согдом”? Почему “списки” локализуют саков тиграхауда в индийском контексте, тогда как список персидских сатрапий у Геродота и пятый столбец Бехистунской надписи помещают их на западе Средней Азии? В данном случае предположение о том, что тиграхауда были искусственно помещены в списках рядом с саками хаумаварга на основании схожести этих народов, является крайне маловероятным, поскольку других прецедентов подобного нарушения географической логики в “списках” мы не имеем никаких. Даже напротив, “саков, которые за морем”, т. е. причерноморских скифов – народ, несомненно, схожий с саками, накширустамская надпись локализует правильным образом.

Вторая проблема – это локализация хорасмиев и дрангов в контексте северо-восточной группы. Хорасмиев Бехистунская надпись помещает между Арией и Бактрией, однако, в более поздних списках они перемещаются за Согдиану, в самый конец данной группы. Нельзя ли связать это перемещение с миграцией хорасмиев на север, согласно гипотезе И. В. Пьянкова? Дранги в двух первых надписях локализуются между Парфией и Арией, но затем они оказываются позади хорасмиев, то ли в самом конце северо-восточного блока, то ли в самом начале юго-восточного, что было бы, несомненно, логичнее. Самым загадочным представляется то, каким образом дранги могли попасть в северо-восточную группу стран, в то время как все поздние источники чётко локализуют их к югу от Парфии и Арии и на пути из Персиды в Арахосию, что мы наблюдаем и в двух последних “списках”. Нельзя ли и в этом случае предполагать если не миграцию дрангов на юг, то, по крайней мере, изменение маршрутов коммуникаций?

Библиография

Подосинов А. В. 1999. *Ex oriente lux!* Ориентация по сторонам света в архаических культурах Евразии. М.

Пьянков И. В. 1997. Средняя Азия в античной географической традиции. Источниковедческий анализ. М.

Шуховцов В. К. 1989. Локализация саков-тиграхауда и саков-хаумаварга древнеперсидских надписей // Маргулановские чтения. Алма-Ата: 64-69.

Goukowsky P. 1978. *Essai sur les origines du mythe d'Alexandre (336 – 270 av. J.-C.)*. T. I. Nancy.

Shahbazi A. Sh. 1983. Darius' "Haft kišvar" // *Archaeologische Mitteilungen aus Iran. Ergänzungsband 10*. Berlin: 239-246.

А. Я. Щетенко (Санкт-Петербург)

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

1. Классическая индийская культура является продуктом сложного процесса взаимодействия и влияния различных культур, существовавших в разные периоды истории на территории современного Индостана. Индийский образ жизни, мифология, религия и культ в том виде, в каком они известны уже в классический период, включают в себя целый ряд местных и иноземных разновременных элементов. Уже первые исследователи древнеиндийской цивилизации (Дж. Маршалл, Э. Маккей, М. С. Ватс) отмечали несомненную связь памятников цивилизации долины Инда (харапской культуры) с поздней индийской традицией.

2. Культурная традиция, рассматриваемая как поток информации, наследуемый поколениями, содержит программы человеческой деятельности. Последние, выражая исторический опыт определенных исторических общностей, ориентированы на важные для выживания этих общностей устойчивые, стабильные характеристики природного окружения. При резком изменении географической среды, а при определенных условиях и среды социальной, когда традиционные модели человеческой деятельности и их индивидуальные модификации оказываются не эффективными, – срабатывает механизм инноваций. Если инновации принимаются социальной системой и адаптируются в измененных условиях, то они в виде новых стереотипов закрепляются в культурной традиции.

3. Природная среда обуславливала традиционность культурно-хозяйственных типов, влияла на религиозные представления обитателей Индостана, консерватизм которых позволил дожить до наших дней множеству языческих культов, уживающихся с ортодоксальным индуизмом, христианством и исламом.

Археология позволяет установить, что из культурного наследия древнеиндийской цивилизации сохранилось и что исчезло в более поздней раннеисторической и современной традициях. При этом выявляются два аспекта. Первый – материальный (более объективный), связанный с артефактами из комплексов постхарапского времени, а также предметами быта, зафиксированных в Ригведе, Пуранах и других письменных источниках. Второй аспект – духовный (субъективный в своих интерпретациях),

отраженный в последующие эпохи в религиозных верованиях, социальной стратификации и общественных организациях.

Первый аспект в различных географических зонах обуславливает отбор наиболее эффективных средств к существованию: тип поселений (укрепленные стенами, на платформе, использование рва), характер домостроительства (использования сырцового или обожженного кирпича, камня или щебенки и глины), системы земледелия (богара, искусственная ирригация, перелог или подсечное земледелие), характер скотоводства (придомное или отгонное), способы охоты и рыболовства, направление торговых связей.

Второй аспект – верования и религиозные представления обуславливают набор сугубо индийской флоры и фауны, не известных в других цивилизациях: ашваттха, лист пипала, тростник, зебу, буйвол, слон, змеи и пр. Они синкретически преобразованы в сложную систему-пантеон божеств и духов, освященных мифами и легендами сначала устной, а затем и письменной традициями (Ригведа, Пураны, Самхиты).

4. В настоящее время намечается сложная иерархия хараппских поселений, связанная с их размерами: от гигантов-конгломератов (площадь более 80 га) Мохенджо-Даро, Ганверивала до мелких поселений (менее 1 га) типа неукрепленного Аллахдино или городище Суркотада. Их различия определяет строительный материал (обожженный кирпич, сырец, каменные плиты, комбинация перечисленных трех) конкретного географического региона: долина Инда, русло Гхаггар-Сарасвати, Макранское побережье, Катхиавар, Кач, эстуарии Тапти и Нарбады. В этих регионах от прехараппского до позднехараппского времени М. П. Мугхал и Б. Б. Лал намечают семь-восемь “столиц” регионального уровня окруженных периферией из многочисленных (в Холистане их 264) городков и деревень.

5. Раскопки Банавали и Дхолавиры окончательно отвергли идею о дихотомии хараппского города и выявили более сложные схемы фортификации. Трехчастная система планировки городищ существует с дохараппских времен: цитадель, нижний город, пригород (Калибанган I, Суркотада I, Банавали I). Четырехчастная схема Дхолавиры (цитадель, средний город, нижний город, пригород) и дворец убедительно демонстрируют сложность социальной структуры древнеиндийской цивилизации в эпоху ее расцвета. А круглые полированные колонны с прямоугольными базами дворца на тысячелетие удревняют этот технический (полировка) и архитектурный (колонна на базе) приемы задолго до появления здесь эллинистических построек. При этом находит объяснение и круглая каменная скульптура Хараппы (торс юноши) и Мохенджо-Даро (бюст жреца, фигурка принца, головка мужчины) до последнего времени являвшаяся уникальной. Местный характер этих изделий подтверждается богатыми залежами “порбандарского камня” у Джунагарха (Катхиавар) из которого изготовлялись колонны Дхолавиры.

6. Традиционно считалось, что открытая археологами древнеиндийская цивилизация превосходила по уровню развития ведическое общество, поскольку она была городской, а последнее – сельским. Этот взгляд базировался на неадекватном изучении и неправильном толковании ведических текстов. Но уже в ранних текстах Ригведы, по мнению индийских ученых, есть ссылки на города, укрепления, морские путешествия и торговлю – все компоненты городского уклада, выявленного при раскопках поселений древнеиндийской цивилизации. Очень часто встречается слово *PUR* в смысле “укрепленный город”. Иногда, утверждается, он имел даже 100 стен (*śatabhuji*); слово 100 очевидно применялось для обозначения большого числа. В Дхолавире с его четырехчастной структурой (цитадель с дворцом, средний, нижний город и пригород) раскопаны десятки стен разного назначения. Достаточно данных в Ригведе и о морских путешествиях, морских судах и морской

торговле. Изготовились корабли с 3-я мачтами (*tirbandhur*) и/или 10 веслами (*daśāritra*) и даже 100 веслами (*satāritra*). В обращениях к божеству Соома описываются огромные богатства доставляемые морским путем отовсюду.

О сложности политического устройства и организованной администрации ранневедического общества говорят термины, обозначающие: 1) королевства и правителей различного статуса (*rājā, janarāj*), 2) советы и общественные собрания (*sabhā, samiti*), 3) различные категории административных постов (*dūta, nidhāpati, rathaspati, senānī*). Очевидно, что ведическое общество находилось не на пастушеской (как ранее предполагалось), и даже не на простой сельской стадии своего развития, которые оно давно прошло. Перед нами сложное стратифицированное общество (возможно ряд региональных элит) с иерархической структурой во главе с правителями, жрецами, с организованной администрацией, живущими в укрепленных городах, процветающих за счет сухопутной и морской торговли. Так городской и сельский компоненты ведических времен служат мостиком между жизненными укладами современных народов Индостана и древнеиндийской цивилизацией, уходящей корнями в середину IV тыс. до н. э. Материалы этой ранней эпохи, когда, по мнению У. А. Файрсервиса, уже можно говорить о начале “индианизации” халколитической культуры, недавно заново открытой американскими археологами в Хараппе. Эти же работы по-новому интерпретируют культуру могильника “Н”, как завершающий этап древнеиндийской цивилизации долины Инда, что нашло подтверждение и в исследованиях М. П. Мухгала в бассейне Гхаггара-Сарасвати (Холистан). Таким образом значительно сокращается разрыв между временем существования общества ранних Вед и его древнейшими предками – жителями городов и сельских общин древнеиндийской цивилизации.

7. Формы земледелия (богара, ирригация, перелог) в различных экологических зонах Индостана восходят к древнеиндийской цивилизации. В бассейне Инда, где снимают два урожая (*раби* и *хариф*) в год, и отмечают по земледельческому календарю сезонные праздники, связанные с разливами рек, корни этих традиций, зафиксированные в ведических текстах, восходят к хараппской культуре (Б. Я. Волчок). И вероятно, в прехараппское время, в Калибангане уже существовала схема пахотного поля и севооборот из двух культур (лошадиный горошек и люцерна) сохранившийся до наших дней в Северном Раджастхане, Хариане, Пенджабе и Западном Уттар Прадеше. В этих же районах сохранились реликтовые формы сохи, терракотовые формы которых обнаружены в Банавали (целый экземпляр), Мохенджо-Даро, Хараппе (фрагменты). Транспортные средства – терракотовые модели повозок и колесики к ним – найдены на большинстве поселений, а конфигурация и размеры модели из Хараппы (учитывая масштаб) точно соответствуют современным повозкам Синда (Д. Маршалл, М. Уилер). Медная модель повозки из Хараппы (М. С. Ватс) напоминает другую разновидность, используемую и сегодня в Восточном Пенджабе. Среди орудий труда повседневного быта продолжают существовать топоры с проухом для рубки деревьев, похожие на терракотовую модель из Мохенджо-Даро (Э. Маккей), и серии рыболовных крючков, найденные почти во всех пунктах хараппской культуры. Каменные зернотерки и терочники современных деревень почти не отличаются от хараппских предшественников, а ряд форм хараппской керамики: тарелки-противни на трех ножках (Аламгирпур), миниатюрные детские чашечки с носиком – “рожки” (Калибанган), сосуды для воды (почти на всех поселениях) до сих пор используются в быту.

Такие украшения как кольца со спиральным орнаментом, ручные и ножные браслеты (“танцовщица” из Мохенджо-Даро, фигурка из Банавали), еще весьма популярны у

современных женщин Марвари (Раджастхан) и Рабари (Кач в Гуджарате). А золотые полые конусы (Мохенджо-Даро) еще сегодня носят на лбу женщины Раджастхана и Харианы. Их одевают только на религиозные или важные домашние церемонии (М. С. Ватс). Пояса, отмеченные на терракотовых фигурках, сохранились только у деревенских женщин.

Туалетные принадлежности: медные наборы (пинцет, стержень, лопаточка из Хараппы), квадратной формы гребни из слоновой кости с широкой центральной частью и зубьями на противоположной стороне, сурьмяные стержни, пилки для обработки ногтей – все эти вещи пережили тысячелетия и сегодня бытуют особенно в сельской местности. Это относится и к детским игрушкам (терракотовые фигурки, диски, маски, погремушки, свистульки). Игральные кости (с точками от 1 до 6) и шахматные фигурки из глины и камня (копии хараппским образцам) также популярны и сегодня.

8. Духовное наследие древнеиндийской цивилизации отчетливо проявляется в религии и социальной стратификации как ведийского, так и современного индийского общества. Интерпретация Дж. Маршаллом центральной фигуры божества на одной из печатей, как прообраз Шивы в форме Пашупати – владыки зверей с его тремя лицами (позднейшее воплощение концепции триединства), а каменных предметов определенной формы, как линги и йени (прообразы шивитских корней в хараппской религии) до сих пор остается в силе. Комплексное исследование пантеона протоиндийских божеств позволило Б.Я. Волчок выявить целую систему религиозных представлений хараппцев, оказавших глубокое влияние на развитие классической индийской культуры, в том числе и периода ранних вед. Кроме культа Матери-Богини, широко распространенного среди земледельческих племен Евразии, выявляются специфические индийские культы и верования. Это – поклонение деревьям (в первую очередь *ашваттхе* – мировому или космическому дереву), птицам, животным (особенно буйвол, быку-зебу), жертвоприношения деревьям и божествам. Очертив круг божеств, выделив в нем главные и второстепенные персонажи, удалось реконструировать основы протоиндийской космографии и космогонии, их календарь и сезонные праздники.

Часть перечисленных выше культов сохранилась и в современной Индии: поклонение Шиве, *лингамам* и *йени* – довольно универсально, а поклонение деревьям, животным и жертвоприношения преобладает в сельских местностях больше, чем в городских. Ряд терракотовых статуэток в позах йоги рассматривается некоторыми учеными, как зарождение этого культа уже в хараппское время.

9. Самобытность и оригинальность древнеиндийской цивилизации, имеющей тысячелетние корни культурных традиций, подтверждается и новейшими исследованиями. На антропологических материалах Мергарха установлено, что, несмотря на определенные контакты с культурами Западной Азии, в долине Инда существовало “базовая биологическая преемственность от 4500 до 800 гг. до н. э.”.

Изучение культурного наследия древнеиндийской цивилизации свидетельствует, что на определенном этапе своего развития (в последней трети II тыс. до н. э.) она частично утратила ряд характерных черт цивилизации городского типа: регулярность планировки, архитектурный стиль, приемы строительной техники, письменность, систему мер и весов. Произошла “*deevolution*” (термин Б. Б. Лала) исторического процесса. Сохранилось лишь все связанное с сельскохозяйственной практикой (система землепользования, орошение, орудия труда, транспорт), с бытовым укладом (керамика, утварь, украшения), с религиозными верованиями (сезонные праздники, культы, жертвоприношения), частично с социальной стратификацией в деревне. Эти сохранившиеся черты являются частью и

сутью повседневной жизни человека и не зависят от влияния торговли или уклада городской жизни. Консерватизм сельского уклада (главного носителя культурного наследия народов Индостана), обусловленный природной средой позволил М. Ганди в начале XX в. так сформулировать основную идею стойкости традиций индийского общества: "Индия живет в своих деревнях".

R. N. Frye (Cambridge, Ma)

THE ACHAEMENIDS AND ZOROASTRIAN FIRE ALTARS

Ever since the reign of Darius his veracity or mendacity has been debated. In recent years a re-examination of the cuneiform sources, especially those from Babylonia, has shifted the balance in favor of the thesis that Darius murdered Bardlya, brother of Cambyses, and concocted the story of Gaumata the Median magus who Impersonated Bardlya or Smerdis as the Greeks called him (Vogelsang 1998; Waters *in press*). I have not the time here to discuss the contributions of Waters and Vogelsang, but wish to take the opportunity to present a logical flaw in the argumentation of Darius.

People accepted the story of Darius, and this is seen in the *Laws* of Plato, who certainly has no intention of supporting one version or another of facts concerning the rise of Darius, rather he reports the general account, with some moralizing, as follows (III.694 / transl. by B. Jowett):

"After the death of Cyrus, his sons, in the fullness of luxury and license took the kingdom, and first one slew the other because he could not endure a rival: and afterwards the slayer himself, mad with wine and brutality, lost his kingdom through the Medes and the Eunuch, as they called him, who despised the folly of Cambyses. So runs the tale... Tradition says the empire came back to the Persians through Darius and the seven chiefs."

First, it is clear that Plato is repeating stories that he heard, which illustrate his point on the spoiling of children. He is not concerned with the veracity of the stories, but the item which is of interest, not stressed in the Iranian writings, is that the Medes held power from the time that Cambyses "lost the kingdom" until Darius restored it for the Persians, Darius would not mention this since he was intent on uniting both Medes and Persians behind him.

Second, Plato's remark about the Medes was what common people believed, whether true or not. Someone called Bardiya ruled a short period after the death of Cambyses, as we learn from cuneiform tablets. Whoever it was did not proclaim the overthrow of Persian rule and the restoration of Median supremacy but ruled as Bardiya, son of Cambyses. Thus Plato was wrong in saying that Cambyses lost his kingdom to the Medes, even though a number of Median pretenders to rule revolted both against Bardiya and against Darius, as Vogelsang has proposed. If we follow the Behistun inscription, the question arises why did Gaumata pretend to be Bardiya, revolting against Cambyses, rather than enlisting the aid of disgruntled Median chiefs and proclaiming the restoration of Median rule? Instead he assumed an identity which hardly could last before he would be discovered. I suggest that Darius slipped here.

There is not time to elaborate on the religious implications of the early Achaemenids and the question of the destruction of the ayadana, but there are several scenarios which would fit the contention that Darius murdered Bardiya and made a change in religious policy. I wish to mention my second point, Zoroastrian fire altars.

Several caveats about archeological excavations in Iran and Central Asia may be raised. First, the uncovering of so-called fire alters in very ancient times have been proposed as proof of

the existence of Zoroastrianism or proto-Zoroastrianism in very early times. But Hinduism and other ancient religions employ fire in rituals and ceremonies, and, second, we must not forget that it was difficult to start a fire in ancient times, where rock against rock, or later flint against steel, required both great patience and skill. One can imagine a "secular" fire always kept burning on a pedestal in a covered area, protected from wind and rain, and which provided a source for household fires for cooking and warmth. Dwellings around a central structure were common in the past.

The tendency to designate any large structure where ashes are found as a temple, and if no ashes are found then it was a palace, should be reviewed. One gains the impression that in antiquity people spent most of their time praying and in rituals and ceremonies. Hopefully new technologies will bring new insights into our knowledge of ancient Iran, and throw light on the countless "cult objects" uncovered in excavations.

P. S. Although the recent archeological findings have shown instances of old structures that may point to fire temples, whether they are of Zoroastrian or of Vedic times, cannot be ascertained. Prof. Straunah has done good research, but this can be discussed elsewhere.

Bibliography

Vogelsang W. 1998. The Rise of Darius in a North-South Perspective // *Iranica Antiqua*. Vol. 37. Gent: 195-224.

Waters M. W. *in press*. Darius and the Achaemenid Line // *Ancient History Bulletin*. Cambridge (Ma.).

***This is a summary of the talk prepared for a Zoroastrian conference that was held in Calgary (Canada) in September 1999.**

II. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ ВОСТОКА И ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМА

Д. Абдуллоев (Санкт-Петербург)

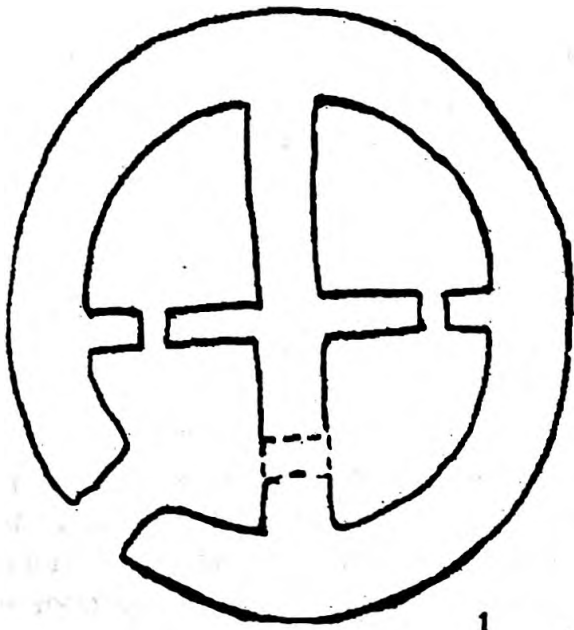
НЕКОТОРЫЕ ДОИСЛАМСКИЕ ТРАДИЦИИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

1. Мусульманский период – это время коренных изменений в духовной и материальной культуре народов Средней Азии. Большие перемены произошли и в культовой архитектуре Средней Азии. Они стали особенно наглядно проявляться начиная с XI в., когда наряду с почерком “куфи” начали применять почерк “наسخ”, называемый также “сулс”. Впервые появляется поливная терракота в виде резных изразцов, покрытых монокромной голубой поливой. Изобретение изразцов ознаменовало собой значительные изменения в архитектурном декоре. Начиная с этого времени отмечается преобладание портала в монументальной архитектуре. Наиболее яркими образцами памятников такого рода в Средней Азии являются мечеть Магоки Аттари, южный мавзолей в Узгене и караван-сарай Рабаты Малик. Из Средней Азии портал и поливная терракота широко распространяются в монументальном зодчестве стран Среднего и Ближнего Востока.

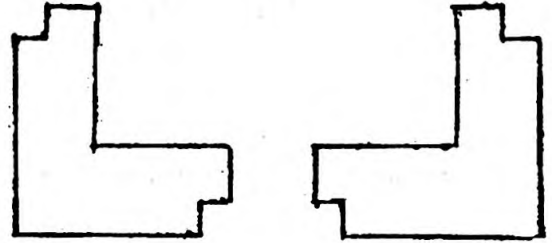
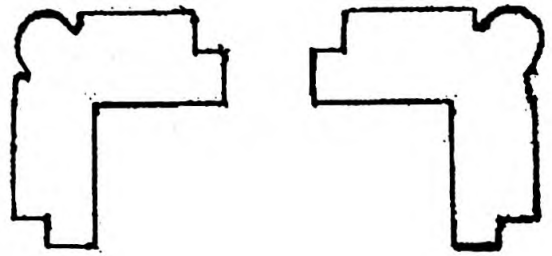
2. Вместе с тем, в средневековой культовой архитектуре Средней Азии сохранились некоторые доисламские традиции. К ним относятся крестообразная и айванная планировка зданий, а также купольное перекрытие. Основу крестообразного плана составлял прямоугольник либо квадрат с тремя–четырьмя нишами в каждой стене, и такая планировка сооружений была уже использована в мавзолеях Тагискена и Баланды IV – II вв. до н. э., а также Тюябугуза и Бит-тепе периода раннего средневековья (см. ил.). Для мусульманского времени крестообразная планировка встречается в мавзолеях Саманидов (X в.), Сари Тал (IX – XII вв.), Ишратхана (XV в.) и Дахман Шахан (XIX в.). Различия между средневековыми мавзолеями и их доисламскими прототипами, представлявшими собой дахмы-астаны, прослеживаются в погребальном обряде (в первых – мусульманский, в последних – зороастрийский) и строительном материале (соответственно жженный кирпич и сырец).

3. Одним из наиболее характерных местных строительных элементов, широко распространенных в монументальной архитектуре Ирана и Средней Азии доисламского периода, являлся купол, воздвигнутый на угловых тропках (дворцы Сарвистан, Касри Ширин, Фирузабад в сасанидском Иране; Пенджикент, Аджина-тепе, Ак-Бешим в раннесредневековой Средней Азии). Именно сасанидско-среднеазиатскую традицию сооружения куполов с угловыми тропками мы наблюдаем в архитектуре Средней Азии мусульманского времени.

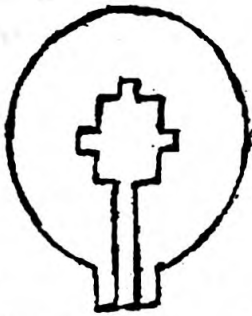
В целом можно утверждать, что доисламское наследие легло в основу среднеазиатской мусульманской культуры.



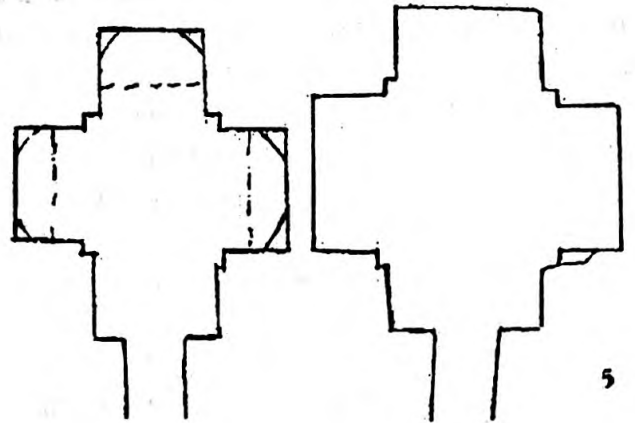
1



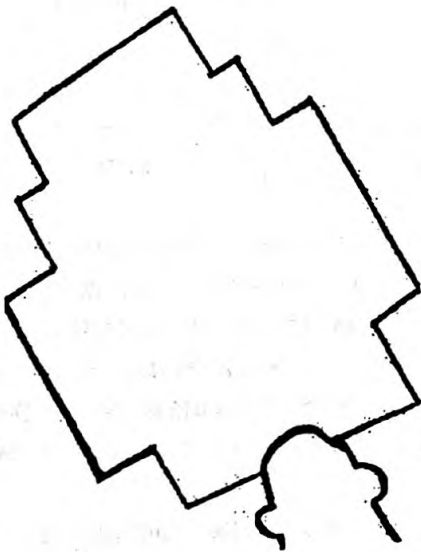
4



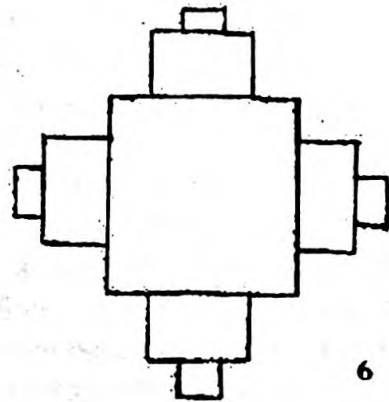
2



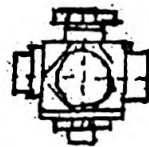
5



3



6



7

Среднеазиатские мавзолеи:

1. Баланды (IV–II вв. до н. э.);
2. Тюябугуз (V–VIII вв.);
3. Бит-тепе (V–VIII вв.);
4. Саманидов (X в.);
5. Сари Тал (IX–XII вв.);
6. Ишратхана (XV в.);
7. Дахмаи Шахан (XIX в.).

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ СКУЛЬПТУРА
СРЕДНЕЙ АЗИИ

Древняя и раннесредневековая металлическая скульптура Средней Азии еще не была объектом специальных исследований. Согласно сведениям арабо-персидских и китайских источников VII – VIII вв. н. э., широкое распространение здесь имела монументальная скульптура, изготовленная из различных материалов: золота, серебра, бронзы, а также комбинированная скульптура, основа которой изготовлялась из дерева, покрытого тонким листовым слоем из золота или серебра, повторяющим форму основы.

Вместе с тем, при археологических исследованиях фактически не найдено монументальной металлической скульптуры – видимо, вся она была в свое время переплавлена.

Самым ранним фактом существования монументальной скульптуры из металла в Средней Азии являются бронзовые скульптурные головы баранов (V – IV вв. до н. э.) из Исфаринской долины. Эти уникальные находки не имеют прямых аналогий в искусстве и археологии региона. Бронзовые скульптурные головы баранов являются фрагментами близких к натуральной величине скульптур или деталями крупного предмета из дворцового интерьера типа трона.

Также свидетельством существования монументальной металлической скульптуры являются находки двух ступней от гигантской бронзовой скульптуры в храме Окса в Тахти-Сангине (III – II вв. до н. э.). К раннему средневековью относятся бронзовые детали в виде ноги верблюда, найденной около арыка Даргом вблизи Самарканда, и уха крупного животного из Пенджикента.

Согласно Табари, в Самарканде имелись храмы огня и капища, в которых стояли идолы серебряные и золотые. Деревянные идолы были разукрашены драгоценными камнями, покрыты листовым золотом и серебром, прикрепленным золотыми гвоздями. На главной площади, на специальном постаменте возвышался металлический идол столь значительной высоты, что его было видно далеко от города. Много золотых идолов было вывезено арабами в качестве добычи из области Буттам в верховьях Зеравшана.

О. И. Смирнова приводит сведения о храме священного огня Ормузда, напротив которого стояла бронзовая скульптура вздыбленного коня, олицетворяющая божество Окса.

В китайских источниках упоминаются и стоящие под открытым небом божества. Во владения Западного Цао, к северо-востоку от Иштыхана, среди богов был «золотой человек», который стоял на специальном постаменте, представлявшем собой здание высотой около 5 м. Металлические идолы имелись в Фергане, Уструшане, Пайкенде и других среднеазиатских областях.

Эти факты свидетельствуют о существовании в Средней Азии монументальной металлической скульптуры на протяжении 1200-1300 лет. Причем возникновение ее можно отнести к V – IV вв. до н. э., а завершающий этап – к VIII в. н. э.

Обширными сведениями обладает наука в отношении миниатюрной металлической «скульптуры». Это объемные и плоские односторонние фигурки антропоморфных, зооморфных и различного рода фантастических существ, навешиваемые на предметы быта, оформление сосудов.

Наиболее ранние подобного рода изделия в Средней Азии – голова быка и голова волка из золота, из жреческой усыпальницы храма Алтын-депе второй половины III тыс. до н. э.

Для эпохи бронзы находки металлической миникульптуры известны для Южного Туркменистана, Таджикистана, Ферганы и Ташкентского оазиса.

Широко они были распространены в античное время и раннее средневековье (из золота, серебра и бронзы). По принадлежности к разного рода культурам среди них можно выделить эллинистические, представленные находками из Парфии и Бактрии, “скифские” звериного стиля, бактрийские кушанского времени, согдийские, джеты-ассарские и тюркские.

В технике изготовления монументальной металлической скульптуры малоизвестна, по-видимому, преобладало литье в формах, по отдельным частям. Это подтверждают сведения Сюань-Цзяня, посетившего Среднюю Азию в 630 г. н. э., который пишет, что “части статуй были отлиты из сплава и соединены вместе”.

Существовала также и комбинированная скульптура, в которой внутренняя часть изготовливалась из дерева, покрытого листовым металлом, на что прямо указывают письменные источники и археологические находки. Это миниатюрная статуэтка мужчины из дерева, покрытая поверх листовым серебром, скрепленным на стыках серебряными гвоздиками, найденная в слоях времени Канишки на городище Кампыр-тепе. Эта статуэтка – не единственная в Средней Азии, изготовленная в комбинированной технике. Так, на городище Тахти Сангин, в храме Окса найдена скульптурная деталь в виде руки. Деревянная ее основа была обшита серебром и пробита серебряными гвоздями. Не исключено, что статуэтка из Кампыр-тепе, также как и скульптура из Тахти Сангина, являются миниатюрными копиями более крупных статуй, которые в силу каких-либо обстоятельств не сохранились. Эти находки свидетельствуют, что изготовление комбинированной скульптуры началось в Средней Азии в эпоху античности.

И. М. Азимов (Ташкент)

К ИЗУЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО КАЗАХСТАНА

Сохранившиеся памятники архитектуры отражают уровень строительной культуры своей эпохи. Обратимся к мемориальным памятникам Южного Казахстана. В небольшом древнем городе Тараз (Талас, ныне Джамбул) находятся уникальные памятники эпохи Караханидов. Это мавзолеи Бабаджи-хатун и Айша-биби. В разных научных изданиях лишь несколько строк посвятили им А. М. Прибыткова, П. В. Агапов, М. К. Кадырбаев и др.

Усыпальницы представляют собой небольшие однокамерные сооружения. Мавзолей Бабаджи-хатун выделяется монументальностью архитектурной композиции и оригинальностью конструкций. Его кубический объем раскрыт на три стороны. Перекрыт он ребристым пирамидальным куполом, который покоится на звездчатом барабане, под которым возведен полусферический купол для придания большей прочности. Это довольно редкая конструкция в средневековом мемориальном зодчестве. Фасады оформлены нишами и розетками. Этот памятник неоднократно реставрировался.

В соседнем мавзолее обрела вечный покой ее воспитанница Айша-биби. Согласно легенде, дочь местного поэта и ученого Хаким-ата была безгранична влюблена в юношу – предводителя воинов, и якобы он погиб в бою с неприятелями. После печальной утраты она, отвергая последующих женихов, ушла из жизни, сохранив чистые, светлые чувства к своему возлюбленному. Местное население чтит память об этой девушке, и она стала символом верности и преданности. Усыпальница Айша-биби центрической композиции, то есть все ее фасады одинаковы. Кубический объем был перекрыт куполом, который ныне не сохранился. В углах снаружи возведены монументальные колонны. На осях помещения находятся четыре арочных проема. Основания арок опираются на декоративно отделанные колонны. В мавзолее Айша-биби проявились удивительная гармония и единство архитектурных форм и орнаментального декора. Система неглубоких ниш, малых колонн, сводов и арок создает впечатление легкости постройки. Оформление стен и колонн терракотовой облицовочной плиткой поражает разнообразием орнамента. В узорах усыпальницы в различных сочетаниях воплотились традиционные виды орнаментального искусства древних племен Казахстана.

В ту пору в оформлении зданий еще отсутствовал цвет, и зодчие добивались выразительности декоративной кладкой и резной терракотой. Яркий пример этому – мавзолей Айша-биби. Слово ковер стены покрывает сплошная облицовка, которую составляют около 40 видов терракотовых плит разного рисунка и разного формата.

Художественные достоинства узорной кладки и орнамента терракотовых плит, красота надписей, вырезанных глубоким рельефом позволяют выделить этот мавзолей в число лучших памятников XII в. Эта усыпальница стала памятником легендарной девушке и одновременно памятником неподражаемому искусству средневековых зодчих.

Мемориал Айша-биби – подлинный шедевр архитектуры Казахстана, занимающий достойное место в ряду выдающихся памятников строительной культуры Центральной Азии.

А. Анарбаев (Самарканд)

УРБАНИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ФЕРГАНЫ

Возникновение города, его морфология, динамика развития и проблема урбанизации общества все более привлекают историков и археологов, географов и социологов, демографов и экономистов и др. Но до сих пор не существует общепринятого определения “город”.

Здесь речь пойдет о северном городе Средней Азии, в частности, Фергане. Ю. А. Заднепровский для раннего города Ферганы выделяет пять археологических признаков: большая площадь; развитая система укреплений; наличие цитадели; центр земледельческого оазиса или округа; центр ремесла и обмена (Заднепровский 1973). Изучая Чустскую культуру, он относит ее то к позднебронзовой, то к раннежелезной эпохе (Заднепровский 1962; 1978; 1997) и называет городище Дальверзин-тепе то земледельческим поселением, то протогородом, то ранним городом. В его последних работах памятники Чустской культуры однозначно относятся к раннежелезной эпохе, и городище Дальверзин-тепе характеризуется как ранний город (Заднепровский 1989; 1997).

В одной из обобщающих работ, посвященной древнейшим государствам Кавказа и Средней Азии, высказано совсем противоположное мнение, где, в частности, отмечается,

что "... и чустская, и эйлатанская, и бугурлюкская культуры (по всей вероятности также и культура Уструшаны этого времени) были культурами эпохи первобытно-общинного строя. Соответственно, ни Дальверзин, ни Чуст, ни Эйлатан не могут быть определены как город" (Археология СССР 1985). Такое заключение, по-видимому, неверно, поскольку исследования последних лет показывают, что Дальверзин на определенном этапе своего существования действительно мог представлять собой ранний город. Что касается городища Эйлатан, то оно бесспорно должно считаться городом.

Американский археолог Ф. Кол на основании радиохронологии и аналогии с другими памятниками Средней Азии датирует нижнюю дату чустской культуры XV в. до н. э. (Kohl 1984). В недавно опубликованной книге Ю. А. Заднепровского (1997) приводится радиохронология чустских поселений Ферганы по методу СИЭТЛ–Горонинген и корректировка МАСКА, где нижняя дата Дальверзина определяется XVII в. до н. э., а верхняя – VIII в. до н. э.

В. Рузанов (1999), основываясь на анализе металлических изделий Дальверзин-тепе, приходит к выводу, что топор-тесло с уступом, втульчатые долота с прямым лезвием, желобчатый браслет, двулезвийный нож-кинжал с параллельными лезвиями и плоским в сечении клинком и ряд вотивных предметов позволяют синхронизировать дальверзинский комплекс с периодом Кузали Сапаллинской культуры и удревнить дату Дальверзин-тепе до середины XIV в. до н. э.

Учитывая результаты этих исследований, можно предположить, что нижняя дата Дальверзина находится в пределах XV – XIV вв. до н. э., а верхняя – VIII – VII вв. до н. э. Но пока из-за отсутствия хорошо стратифицированной колонки очень трудно что-нибудь сказать о непрерывности жизни в течении почти тысячи лет. Вместе с тем, пока невозможно датировать железные предметы и металлургические остатки, которые были найдены на Дальверзине. Наверняка, не только Дальверзин в это время мог претендовать на статус раннего города, были еще несколько ферганских поселений в виде формирующихся городов: так, одно из них, небольшое городище Чуст имело цитадель и стена.

Анализируя все имеющиеся данные, можно определить четыре основных признака раннего города Ферганы: площадь не менее 4–5 га; наличие цитадели и развитой системы укреплений; центр земледельческого оазиса или округа; центр ремесла и торговли.

Н. Е. Васильева (Санкт-Петербург)

РИСУНКИ РОБЕРТА КЕР ПОРТЕРА ИЗ СОБРАНИЯ БРИТАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В Британской библиотеке хранится более 200 рисунков Роберта Кер Портера, сделанных им во время путешествия в Персию в 1817 – 1820 гг. Он отправился туда из Петербурга, в том числе имея своей целью, по совету известного российского деятеля науки и культуры А. Н. Оленина, создание документально точных ("археологических") рисунков иранских древностей. Совет Оленина заключался в том, чтобы выполнять "археологические рисунки" по определенным правилам, им самим разработанным, а именно: подверженный разрушению временем памятник необходимо фиксировать на том самом месте, где он обнаружен, с соблюдением его точных размеров и масштаба, а также с тщательной прорисовкой всех деталей, отмечая при этом утраченные фрагменты.

Художник должен исключительно точно (“рабски”) копировать линию древнего мастера, не внося ничего своего. Помимо этого необходимо сделать самое подробное описание объекта исследования и обстоятельств его находки, а также изучать исторические и сопутствующие материалы.

Кер Портер блестяще справился с поставленной задачей. Он привез в Петербург рисунки руин Персеполя, наскальных рельефов в Накш-и Рустам, Накш-и Раджаб, Бехистуне и др., впервые в истории науки выполненные в соответствии с требованиями “археологического рисунка” (см. Васильева 1982; 1992; Vasileva 1996). Также по совету Оленина он сделал абсолютно точные копии с этих рисунков, по которым были изготовлены гравюры для издания материалов его путешествия. Оригинальные иллюстрации, созданные в Персии, находятся сейчас в собрании Гос. Эрмитажа, тогда как их копии хранятся в Британской библиотеке в Лондоне. Кроме того, в собрание последней попали и многие другие материалы Кер Портера: так, два больших альбома включают в себя многочисленные пейзажи, выполненные акварелью (переход через Кавказский хребет по Военно-Грузинской дороге, виды Тифлиса, Тебриза, Тегерана, Кашана, Исфахана, Шираза, Багдада и др.), акварели персепольских и сасанидских рельефов, планы персепольской архитектуры, выполненные в Лондоне по копиям, сохранившимся у художника, а также рисунки вавилонских древностей, карты, подробные маршруты с перечислением населенных пунктов, портреты Фатх Али шаха, Аббас Мирзы и др., четыре письма Аббас Мирзы с его личной печатью. Отдельную коллекцию составляют этнографические рисунки, выполненные карандашом и акварелью. В них автор стремился показать костюмы разных народов, встретившихся на его пути. Рисунки эти интересны тем, что они показывают не только одежду, но также антропологические типы и характеры изображенных людей.

Таким образом, богатое наследие Роберта Кер Портера в собрании Британской библиотеки позволяет гораздо больше узнать о его разносторонней деятельности в качестве исследователя культуры Ирана и сопредельных областей как в древнюю, так и в современную ему эпохи.

Библиография

Васильева Н. Е. 1982. О зарисовках иранских древностей, выполненных Кер Портером // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XVI годовичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения по иранистике). Ч. II. М.: 106-110.

Васильева Н. Е. 1992. Путешествие Р. Кер Портера в Иран и начало изучения парфянских древностей // Мерв в древней и средневековой истории Востока. III: Мерв и парфянская эпоха. Ашгабат: 29-30.

Vasileva N. E. 1996. About the History of Sir Robert Ker Porter's Album with his Sketches of Achaemenid and Sassanian Monuments // *Archaeologische Mitteilungen aus Iran*. 27 (1994): 339-348.

ЗАХОРОНЕНИЯ В ГРОТЕ ЗАМИЧА-ТОШ

Грот Замича-тош открыт в 1989 г. Самаркандским палеолитическим отрядом Института археологии АН УзССР, работающим под руководством автора. Он образовался под навесом одной из отдельно стоящих глыб гранодиорита размерами 24 × 18 м. Ширина входа в грот до начала раскопок была 10 м, высота 2 м, длина 6,20 м. В результате четырехлетних работ было выявлено шесть литологических слоев, три из которых содержали культурные остатки эпохи камня.

Самый нижний, культурный слой III занимал только западную часть грота, квадраты по линиям Ж, З, И, К, общая площадь слоя составляла около 20 кв. м. В некоторых квадратах на глубине 220–225 см от репера четко прослеживается ярко-оранжевая окраска, получившаяся, по всей видимости, в результате длительного горения огня. Мощность прокаленной прослойки 15–20 см, площадь ее распространения около 8 кв. м. В квадрате К-6 с западной стороны прослойки обнаружено большое угольное пятно диаметром 80 см. С восточной стороны в квадрате И-5 были выявлены два небольших угольных пятна диаметром 30–40 см. Между этими пятнами на прокаленной поверхности находились фрагменты обожженных и необожженных костей диких животных, таких как лисица, волк, джейран, олень и козел (определения сделаны А. Батировым.), а также каменные изделия. Помимо этого, в квадрате К-7 на глубине 210 см от репера у западного очажного пятна был найден фрагмент человеческой обгорелой кости (локтевой сустав). В восточной части на расстоянии около 1 м от восточных зольных прослоек, в квадрате Е-6, на глубине 230 см от репера обнаружен сильно обожженный фрагмент человеческого черепа. Все антропологические определения сделаны Т. К. Ходжайовым.

Коллекция каменных изделий насчитывает 186 единиц и представляет набор изделий, изготовленных преимущественно на отщепках, что является типичным для памятников мезолита и неолита этого района.

Суммируя все данные по культурному слою III, можно предположить, что перед нами не рядовое стойбище первобытных охотников, а, возможно, ритуальное или культовое место, со следами трупосожжения. Конечно же, на основании довольно скудного археологического материала очень трудно понять, с чем именно мы имеем дело: с погребальным ритуалом, жертвоприношением или каннибализмом.

Вышележащий, культурный слой II также имеет мощную, прокаленную на 10–15 см в глубь оранжевую по цвету прослойку, но планиграфия его немного иная. Сам слой был перекрыт плотной светло-коричневой супесью с находками каменных изделий, костей животных, большого количества золы и мелких углей. В квадратах З, Ж-5, 6 обнаружен очажок, вкопанный в дневную поверхность; его диаметр 40–43 см, глубина 7 см. Почти в центре очага было сделано небольшое углубление диаметром около 10 см и глубиной 8 см. Поверхность вокруг очажной ямки имела ярко оранжевый цвет. На границах очага лежали две округлые, уплощенные, заглаженные с одной стороны гранодиоритовые гальки со следами воздействия огня. Они имеют около 10 см в поперечнике и 4–5 см в толщину каждая. На расстоянии около 1 м к северо-западу от очажка, под завалом из камней в суглинке, насыщенном большим количеством углей, был найден человеческий костяк плохой сохранности. Он лежал на правом боку, в скорченном положении, головой на восток, лицом к стене (на север). Ноги его были сильно согнуты в коленных суставах; правая рука вытянута вдоль тела; левая слегка согнута. На костях правой руки имелись следы охры. В качестве сопровождающего инвентаря под насыпью обнаружены костяное

орудие и “утюжок” (выпрямитель для стрел?) из мелкозернистого плотного песчаника серого цвета.

Предварительное заключение, сделанное Т. К. Ходжайовым, позволяет констатировать, что скелет принадлежал мужчине 40–45 лет. Очень крупные размеры черепа, долихокранная черепная коробка, широкое и сильно профилированное в горизонтальной плоскости лицо, очень сильно выступающий нос позволяют считать его принадлежащим европеоидной расе, а именно кроманьонской. Череп по основным и расовым особенностям довольно существенно отличается от мезолитического населения Мачая в Сурхандарье, неолитических черепов из Гиссарской культуры (Туткаул), Джейтунской культуры (Овадан-депе, Каушут и др.) и Сазагана. Он схож с черепами из Монжуклы-депе, однако, последний отличается чертами, характерными для экваториальной расы (южно-индийской). Более близкие ему аналогии происходят из Ташаузской области и Кичиджик-тепе, а также с Украины (Вовниги – Васильевка II) и, возможно, из Железинки в Казахстане. В более поздние периоды (энеолит, бронза) граница между матурированными и грацильными формами проходила через Зарафшанскую долину. Судя по данному черепу, она проходила и в более раннее время (мезолит)”.

Коллекция каменных изделий, в частности, орудий не имеет принципиальных отличий от изделий нижележащего слоя, хотя некоторые особенности все же имеются, а именно: 1). наблюдается тенденция к уменьшению размеров сколов и, соответственно, орудий; 2). появляются единичные крупные кремневые и халцедоновые сколы и изделия из них.

Фауна довольно разнообразна: это лисица, волк, кулан, кабан, джейран, олень, медведь, бык. Под завалом камней рядом с костяком обнаружены отдельные кости собаки. Фрагменты костей животных, как и в культурном слое III, имеют следы воздействия огня.

Таким образом, если культурный слой III содержит только фрагменты обожженных человеческих костей, позволяющих предполагать на этой площади совершение ритуального или культового обряда погребения, то культурный слой II как бы в продолжение традиции дает погребение с обрядом труположения.

Культурный слой I также содержит остатки человеческого захоронения. У южной границы квадрата Ж-7 на глубине 139 см от репера, под стенкой грота в темно-коричневом суглинке с большим количеством угольков, был обнаружен человеческий череп плохой сохранности, лежавший лицевой частью вниз. Равздробленная челюсть зафиксирована к югу от черепа. Под самим черепом располагались кости кистей рук, также очень плохой сохранности. Верх ямы зафиксирован ниже слоя, относящегося к эпохе бронзы. На восток от черепа обнаружен обломок стержневидного, с заостренным концом и уплощенного в поперечном сечении орудия из кости или рога длиной 14 см и диаметром в месте слома 0,6 см. Г. Ф. Коробкова определяет его как наконечник. Что касается черепа, то, к сожалению, в литературе не удалось найти ни одного аналогичного обряда погребения, если не считать находку двух черепов в пещере Мачай, которые залегали в первом культурном слое, не ясно, какое отношение они имели к данному слою (Исламов 1975).

Артефакты, найденные в слое III, типичны для эпохи камня. Кроме каменных изделий, найдено и довольно много костяных орудий. Особенной чертой можно считать хорошо заполированную темно-коричневую поверхность изделий. Помимо Замича-тоша, столь значительное количество типологически разнообразных орудий известно только в Мачае (Исламов 1975).

Вышележащие слои содержали культурные остатки эпохи бронзы и средневековья.

Подводя итоги, надо отметить, что каменный инвентарь всех трех слоев не имеет принципиальных отличий. В целом же сильная микролитизация каменных изделий Замича-тоша, наличие большого количества микропластин и их фрагментов с обработкой и без нее и скребков, изготовленных на мелких отщепов, говорят о более позднем времени существования памятника, чем верхний палеолит. Отсутствие стандартов в типах каменных орудий, большой процент орудий, изготовленных на аморфных отщепах и осколках, а также отсутствие керамики (за исключением верхней части культурного слоя I) и элементов производящего хозяйства не позволяет датировать памятник эпохой неолита (по крайней мере, культурные слои II и III). Таким образом, этот памятник существовал, скорее всего, в эпоху мезолита.

Вопрос о генетической связи кремневой индустрии Замича-тоша с памятниками каменного века более ранних эпох, известных на территории среднего течения реки Зарафшан, не вызывает сомнений. В коллекции Замича-тоша можно отметить такие особенности, как наличие долотовидных и выемчатых орудий, характерных для верхнепалеолитических и мустьерских памятников региона. Все они сделаны на отщепах различных размеров, имеющих короткие и широкие пропорции. Рабочее лезвие оформлялось на широком дистальном конце одной или двумя смежными выемками, подправленными затем ретушью. Такой способ изготовления выемчатых орудий на коротких широких заготовках известен в мустьерских памятниках Кутурбулак, Зирабулак и в Самаркандской верхнепалеолитической стоянке (Ташкенбаев, Сулейманов 1980; Гречкина 1990; Джуракулов 1987; Джуракулов, Холматов 1991).

Преобладание в коллекции изделий из отщепов над орудиями из пластин, почти полное отсутствие затупляющей ретуши на пластинках, случайность форм долотовидных орудий говорит о близости Замича-тоша с индустрией Сазаганской культуры, наиболее близкой к ней и территориально. Но помимо сходных черт имеются отличия, которые выражены, например, в почти полном отсутствии в коллекции Замича-тоша геометрических микролитов, сверл, проверток, пластин с обработкой торца, скребел, наконечников стрел. Это может быть объяснено, прежде всего, более ранним временем существования памятника.

Таким образом, новый памятник каменного века Замича-тош можно рассматривать в качестве переходного звена между ранними памятниками, такими как Самаркандская верхнепалеолитическая стоянка, и более поздними, такими как группа Сазаганских стоянок. Вероятно, более определенно об этом можно будет говорить после антропологического исследования костных останков из второго культурного слоя и после получения абсолютных датировок.

Но более интересным и пока до конца непонятым является функциональное назначение памятника. У местного населения он до настоящего времени играет роль культового места: сюда приходят женщины, которые по каким-то причинам не могут иметь детей. Здесь они приносят в жертву животных или птиц. Но, как свидетельствует характер культурных слоев, изначально назначение этого места было совершенно иным. Те захоронения, которые были обнаружены в гроте, не имеют аналогий в археологическом материале сопредельных территорий. В интенсивном использовании огня, который горит на полу грота до образования оранжевой прокаленной поверхности можно видеть отдаленную аналогию с обрядом обильного посыпания дна могильной ямы охрой, характерным для верхнего палеолита, либо рассматривать это как проявление культа поклонения огню.

ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО ЭПИЗОДА
ИЗ “ТАЙНОЙ ИСТОРИИ” ПРОКОПИЯ

В “Тайной истории” Прокопия Кесарийского весьма подробно рассказывается об одном любопытном и, на первый взгляд, странном, почти уголовном деле (XXX.18-20). Писатель, желая лишний раз убедить читателя в самодурстве императора Юстиниана, рассказывает о том, как тот лично заставил одного человека отказаться от приобретения земли на территории Финикии. В подлинности излагаемых событий можно не сомневаться. История же эта весьма важна для понимания хозяйственной жизни Палестины и Финикии в период правления Юстиниана. Итак, Прокопий рассказывает об Эвангеле, состоятельном риторе из Кесарии, приобретшем значительное количество земли в Палестине. Он же купил и приморскую деревню Порфирион, причем описывая приобретения Эвангела, Прокопий употребляет два разных слова: в первом случае, когда речь идёт о приобретении в собственность земель в Палестине в целом, наш автор пишет, что Эвангел “стал господином” (κύριος γέγονεν) своих владений, во втором, когда дело доходит до Порфириона, он употребляет обычный глагол “покупать” (ἐπρίατο). К сожалению, не ясно, является ли употребление здесь разных слов чисто стилистическим приёмом, или же речь идёт о чём-то большем – о юридических нюансах сделок Эвангела. Как бы там ни было, император сразу же отобрал у Эвангела эту деревню, выплатив ему незначительную – по сравнению со стоимостью приобретённого – компенсацию.

Беглое упоминание о рассматриваемом событии есть также в 131-ой главе “Луга духовного” Иоанна Мосха (*PG LXXXVII: 2995-2996*). Содержательная в историческом смысле информация последнего ограничивается именем покупателя (у него это Прокопий), нейтральным словом для передачи рода его занятий (σχολαστικός) и необычным термином для указания на то, что этот человек купил Порфирион – ὁ πορφυρεωνίτης: искусственное слово, буквально означающее “тот, кто приобрёл Порфирион”. Одна существенная деталь показывает, что и Прокопий, и Мосх говорят – несмотря на приведения ими разных личных имен – об одном и том же человеке и об одном и том же событии: покупатель Порфириона у обоих авторов происходит родом из Кесарии.

По словам Прокопия, Юстиниан мотивировал своё решение тем, что не подобает ритору быть господином такой деревни. Сам же историк склонен объяснять этот эпизод самодурством императора. Однако дело могло быть совсем в другом. Вероятно, Эвангел, приобретая Порфирион, невольно покусился на императорскую земельную собственность. Дело в том, что описываемая ситуация не может не навести на вопрос: у кого Эвангел мог купить эту деревню? Очевидно, что покупка могла произойти только потому, что деревня находилась в частной собственности. Здесь, естественно, возникает следующий вопрос: кто мог быть ее владельцем? Наиболее логичным представляется предположение о том, что деревня была под юрисдикцией императора. В его пользу в какой-то мере свидетельствует и название деревни – Порфирион, сама форма которого подсказывает, что ее жители занимались сбором пурпурных моллюсков и соответствующей окраской тканей. Подобные особо ценные виды ремесленного производства практически всегда находились в собственности императора.

Вряд ли, однако, можно говорить о том, что Эвангел купил деревню непосредственно в императорском хозяйстве. Земельные владения императора можно было арендовать, их

можно было получить в подарок, но не покупать. Тот факт, что сделка в первый момент состоялась, показывает, что формально она была законной. В качестве же наиболее вероятного продавца деревни следует назвать, конечно, управляющего делами императорских владений Палестины и Финикии.

История карьеры этого управляющего, Фаустина по имени, весьма подробно описана тем же Прокопием в другой главе “Тайной истории” (XXVII.26-28). Сообщаемые историком факты показывают, что тот по складу характера и привычке к не вполне законным комбинациям как раз мог быть посредником Эвангела в этой истории. Прокопий начинает свой рассказ о Фаустине с утверждения, что по своему происхождению этот человек был самаритянином, вынужденным под влиянием обстоятельств принять христианство. Смена веры, судя по всему, поверхностная и формальная (характерно, что Фаустин принял имя христианина – т. е. поступил так не более чем для отвода глаз), позволила Фаустину сделать карьеру. Он стал сенатором и получил власть в стране: τῆς χώρας τῆν ἀρχὴν ἔσχεν. Последние слова, видимо, означают, что Фаустин был легатом одной из палестинских провинций. Нечёткость формулировки объясняется, скорее всего, тем, что “Тайная история” является по сути собранием слухов и сплетен, которых Прокопий знал множество. Впрочем, это не означает, что информации, сообщаемой в этом произведении, в целом не следует доверять. Подозрительны лишь отдельные эпизоды и некоторые оценочные суждения историка.

На Фаустина, однако, донесли Юстиниану, что он тайно соблюдает самаритянские обряды и третирует живущих в Палестине христиан. Можно предположить также, что в этот период своей деятельности Фаустин присвоил (возможно, получил в качестве скрытых и явных взяток) значительные суммы. Это видно по дальнейшему изложению Прокопия, который пишет, что против Фаустина было начато служебное расследование, в результате которого проштрафившийся чиновник был выслан. Однако как только Фаустин вернул Юстиниану все деньги, император отменил все наказания в адрес ловкого самаритянина. В тексте есть интересное уточнение, которое можно оценить очень по-разному: Прокопий пишет, что речь шла о деньгах, которые Юстиниан *хотел* получить. В последних словах можно видеть намёк на вымогательство, или на откровенный торг. Фаустин был далее назначен “администратором” (ἐπίτροπος) императорских владений в Палестине и Финикии.

Наш автор заканчивает свой рассказ об этом человеке характерным замечанием: Фаустин после этого назначения получил возможность более безопасно делать все, что ему хотелось. Этот намек ясно свидетельствует о том, что, с точки зрения Прокопия, от Фаустина не приходилось ждать ничего другого, кроме заботы о собственном обогащении любой ценой.

Обращение Эвангела именно к этому человеку объясняет и тот факт, что Юстиниан узнал о сделке. Понятно, что в любом крупном государстве, тем более таком, как Византийская империя, чисто физически и технически глава государства не может и не должен знать о всех куплях-продажах, за исключением действительно особых ситуаций. Рассказываемая же Прокопием история как раз и является такой особой ситуацией, ибо частное лицо приобрело в собственность землю, находящуюся в ведении управляющего императорских владений, канцелярия которого (по-видимому, и он сам лично) обязаны были по положению докладывать о такого типа сделках императору. Отмена же приобретения Порфириона произошла, как кажется, потому, что она лишь формально соответствовала закону. История с покупкой Эвангелом деревни – единственное,

сохранившееся в источниках, касающихся рассматриваемого района (учитывая географическое расположение Кесарии, можно предположить, что владения Эвангела, вероятнее всего, находились в северной части Палестины – её приморской зоне – и соприкасались с территорией Финикии), описание конфликта личности и императора на почве имущественных интересов. Неполнота информации Прокопия позволяет лишь предположительно говорить о том, в чём суть конфликта с юридической точки зрения. Отметим, прежде всего, что в ведение *res privata* – управления по делам императорской собственности – участки попадали самыми разными путями (конфискации, дарения, получения по наследству и т. д.). Владения императора могли быть очень значительными. Так, из 42-го письма Феодорита Киррского видно, что в округе города Кирры они занимали 10000 югеров (ок. 2500 га), что, в свою очередь, составляло 16% городских земельных владений. Императорские владения могли сдаваться в аренду либо на пять лет, либо на условиях пожизненной аренды, мало чем отличающейся от фактической собственности (Jones 1986: 417-418). Понятно, что в условиях обширного хозяйства, с участками, имеющими различное юридическое прошлое и сдаваемыми достаточно часто в аренду на условиях, близких к фактической продаже в собственность, могли иметь место различные вольные или невольные неточности при оформлении бумаг. Возможно, однако, что в основе конфликта лежала и более простая ситуация. Пожизненная аренда несколько ограничивала императоров в правах собственности и распоряжения по отношению к своей земле. Здесь надо иметь в виду как сам факт такой аренды (не исключено, что Юстиниан был недоволен именно этим), так и произвол чиновников императорского хозяйства, но более низкого ранга. Управляющие нередко сгоняли пожизненных арендаторов с земли на том основании, что находился кто-то, кто предлагал более высокую арендную плату за участки (Jones 1986: 1167-1168). Таковыми, на мой взгляд, могли быть две наиболее вероятные причины рассмотренного конфликта.

Библиография

Jones A. H. M. 1986. The Later Roman Empire, 284 – 602: A Social, Economic and Administrative Survey. Vol. I-II. Baltimore.

Р. М. Джанполадян (Санкт-Петербург)

НАДПИСИ НА ХАЧКАРАХ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Камня было больше, чем земли,
смерти было больше, чем камней...
чтобы смерть и камень одолеть,
ты бессмертные *хачкары* создал

Сильва Капутикян

1. *Хачкары*, стелы с изображением креста, относятся к оригинальным памятникам малых форм архитектуры средневековой Армении IV – XVII вв. Эти стелы имели мемориальный характер и ставились обычно по поводу и в память различных событий: военных побед, строительства, пожертвований, а некоторые из них служили и надгробиями. *Хачкары* многочисленны и многообразны по формам, стилю и по

интенсивности и характеру орнамента. Они изготавливались из различных пород местного камня и ставились обычно недалеко от места события, по случаю которого они сооружались. Эти самобытные памятники культуры уже давно привлекали внимание ученых.

2. Традиция установления памятных стел на Армянском Нагорье восходит к древнейшим временам, однако, каждая историческая эпоха создавала свои характерные памятники (вишапы, менгиры, стелы с урартскими и арамейскими надписями). В средневековье она проявлялась в камнях-*хачкарах* с изображениями креста.

3. Первоначальной формой *хачкаров* обычно считают стоящие кресты, изготовлявшиеся вначале из дерева, а позже из камня. Возникла же эта традиция в IV – V вв. во время становления христианства государственной религией в Армении в качестве ее символа. Дальнейшее развитие *хачкаров* происходит в VI – VII вв., когда крест вписывается в каменную стелу и дополняется деталями и богатым орнаментом. Позже (X – XVII вв.) *хачкары* становятся очень разнообразными и многоликими.

4. Поскольку *хачкары* часто имеют надписи, привлекающие внимание эпиграфистов, они представляют особый интерес для исследователей. Короткие надписи, содержавшие имя ктитора, а иногда и дату установления стелы, как правило, помещаются на лицевой стороне памятника или вписываются в его орнамент. Более обширные надписи, дающие расширенную информацию и сообщающие особенно важные сведения, помещались на тыльной стороне стелы или же на ее постаменте.

5. Надписи на *хачкарах* содержат нередко сведения более конкретные, чем нарративные источники. В надписях на *хачкарах* имеются сообщения о событиях, нигде более не отмеченных, рассказывается о победах на войне, о которых часто умалчивают исторические тексты, о строительстве каналов, мостов, мельниц, гостиниц, часовен. Встречаются также надписи правового и юридического характера, дающие очень ценный материал для изучения экономики и общественной жизни средневековой Армении. Надписи сохранили имена архитекторов, мастеров-резчиков по камню, писцов и др. Изучение надписей на *хачкарах* дает возможность дополнить многие исторические сведения новыми, весьма интересными данными. Таким образом, исследование этих памятников нельзя ограничить только искусствоведческим анализом.

М. Исамиддинов (Самарканд), К. Рапен (Лозанна)
О КУЛЬТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОГДЕ
В ЭПОХУ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА
(по данным строительной традиции)

Эпоха культуры лепной расписной керамики (ЭКЛРК) раннего железного века (РЖВ) на территории Самаркандского Согда до недавнего времени не была известна. Отсутствие памятников со слоями этого периода во многом мешало изучению ранних этапов урбанизации на территории Самаркандского оазиса.

Выявление более ранних этапов оборонительных стен Афрасиаба, где была выделена ранняя монолитная стена из плоско-выпуклых кирпичей, во многом способствовало обнаружению городища Кок-тепе с многометровыми культурными наслоениями эпохи РЖВ.

В настоящее время на городище Кок-тепе четко фиксируются слои толщиной от 2 до 3 м, относящиеся к ЭКЛРК. Здесь хорошо представлены серовато-зеленые, насыщенные органикой и золой, слои. Население тогда жило в основном в землянках и полуземлянках, с перекрытиями легкой конструкции. От этих перекрытий остались следы деревянной арматуры. Пока не удалось уловить следов монументальной архитектуры, сооруженной из пахсы или кирпича-сырца. Эти слои насыщены каменными орудиями (зернотерки, точила, каменные серпы и т. д.), почти вся керамика изготовлена лепным способом, среди которой встречается и расписная. Характерной особенностью ЭКЛРК является отсутствие массовой ремесленной продукции.

Сразу вслед за этими культурными слоями появляются монументальные постройки из крупных плоско-выпуклых кирпичей. Изучение остатков этих зданий показывает, что на ранних этапах они строились из чистого лессового материала, а почти все кирпичи имеют плоско-выпуклую форму. Несколько позднее в кладках вместе с плоско-выпуклыми кирпичами встречаются и прямоугольные. Характерно и то, что в ремонтных кладках население уже использует глину, полученную из земли, подвергавшейся агро-ирригационному воздействию, из-за чего кирпичи стали менее прочными, по сравнению с более ранними.

На городище Кок-тепе после плоско-выпуклых и прямоугольных кирпичей появляются квадратные, стратиграфически разные по своим размерам. Если раньше встречались кирпичи слишком большого размера (42 × 42 × 12–14; 45 × 45 × 12–14 см), то к верхним слоям они становятся несколько меньше (36 × 36 × 12 см).

Таким образом, строительные материалы древнего Согда в эпоху РЖВ дают довольно четкую, стратиграфически последовательную линию развития, по которой можно уловить как развитие местной строительной традиции, так и влияние древней ближневосточной традиции. Видимо, когда после ЭКЛРК появляются монументальные здания, сооруженные из плоско-выпуклого кирпича, их нужно рассматривать как возрождение древней сапаллинской строительной традиции на основе местных строительных материалов. Этот период можно датировать доахеменидским временем и условно назвать его мидийско-согдийским периодом.

Появление прямоугольных стандартных кирпичей, видимо, связано с древневосточными традициями, которые появляются на территории Согда в результате вторжения войск ахеменидского Ирана.

Вторая волна распространения древневосточных традиций тоже связана с распространением крупноформатного квадратного кирпича. Мы считаем, что она имела место еще в позднеахеменидский период. Аналогичные кирпичи использовались на территории Ирана.

А. К. Каспаров (Санкт-Петербург)

СТАТУЭТКИ ЖИВОТНЫХ И КОСТЯНЫЕ ОРУДИЯ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ КАРА-ДЕПЕ (ЮЖНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН)

Поселение Кара-депе является одним из наиболее известных и хорошо изученных памятников эпохи энеолита Южного Туркменистана (Массон 1982). Раскопки здесь производились отрядом Б. А. Куфтина в 1952 г. (Куфтин 1956) и в 1955 – 1957, 1960, 1962,

1963 гг. – Каракумской экспедицией ЛОИА АН СССР совместно с ЮТАКЭ АН Туркменистана под руководством В. М. Массона (Массон 1960, 1962; 1982). Археологические артефакты с этого памятника, включающие в себя керамику, каменные, костяные и медные предметы, статуэтки и другие материалы описаны и проанализированы в целом ряде работ (Куфтин 1956, Массон 1960; 1962). Однако до настоящего времени так и не было установлено, из каких именно костей и каких животных были изготовлены костяные предметы, а также какие виды животных изображают терракотовые фигурки.

Богатая коллекция зооморфных статуэток и костяных орудий была собрана и на таких широко известных южнотуркменистанских памятниках эпохи палеометалла, как Илгынлы-депе и Алтын-депе (см. Массон 1981; 1982; Массон, Кирчо 1999). Она уже изучалась автором (Каспаров 1993, Kasparov 1998). В процессе этой работы были осмотрены статуэтки животных прекрасной сохранности, среди которых встречаются изображения быка, козла, барана, собаки (рис. 1), а также, вероятно, кулана и, возможно, сайги или свиньи. В более подробном виде это исследование будет опубликовано в ближайшее время, поэтому сейчас я не буду подробно останавливаться на используемой в нем методике, а обнародую уже полученные результаты.

Примерный стандартный вид изображений этих животных изображен на рис. 1. Здесь видно, что статуэтки быков несут на голове рога, направленные в нижней части в стороны, а затем загибающиеся вперед и вверх. Рога эти, судя по сохранившимся обломкам на головах статуэток и обнаруженным отдельно роговым стержням, весьма велики. Величина и форма их почти полностью соответствует дикому быку-туру, который в энеолитическое время водился не только в предгорьях Копет-Дага, но и в большинстве других районов Средней Азии. На задней поверхности шеи, либо сразу за головой, либо ближе к основанию шеи, эти животные имеют небольшой, специально вылепленный бугор разного размера. Трудно сказать, что должен символизировать этот стилизованный признак, однако можно предполагать, что данные статуэтки не изображают какое-то конкретное животное, а является чем-то собирательным, вобравшим в себя наиболее характерные черты знакомых первобытному скульптору крупных полорогих. На брюхе, между передними и задними ногами в ряде случаев имелся небольшой зацеп, получаемый путем легкого сдавливания глины пальцами или, реже, небольшой бугорок, обозначающий, вероятно, препуциальный выступ самца. На фронтальной стороне шеи и груди имеется гребень-подвес также в виде зацепа.

Характерной особенностью статуэток, изображающих мелких полорогих – козлов и баранов – является, прежде всего, то, что их рога (или уцелевшие основания рогов) направлены совершенно иначе. В отличие от быков, они направлены у козлов вверх и у баранов назад, причем у первых рога идут параллельно, а у вторых расходятся в стороны под углом примерно в 100° . Кроме того, фигурки мелких полорогих, в отличие от быков, никогда не имеют бугра на задней стороне шеи, подвеса на груди и, в большинстве случаев, половых признаков на брюхе: когда же зацеп все-таки присутствует, то он почти не выражен.

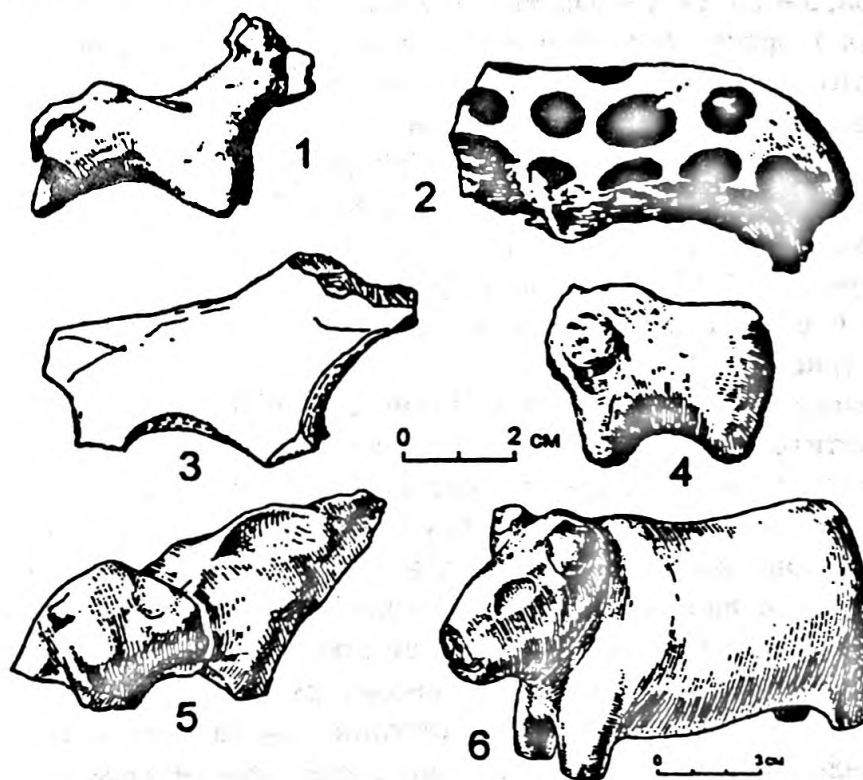
Кроме статуэток быков, козлов и баранов в материалах встречены также фигурки собак. На их головах показаны два бугорка, видимо, изображающие стоячие уши. Заметим, что у некоторых статуэток собак времени Намазга V с Алтын-депе уши сохранились настолько хорошо и вылеплены столь реалистично, что можно даже предполагать их купирование. На изображениях также присутствует загнутый вверх хвост, впрочем, сохраняется он довольно редко. Морда у собак достаточно хорошо проработана, в отличие от статуэток крупного и мелкого рогатого скота, где она лишь намечена небольшим

выступом. Ни подвеса, ни бугра на задней части шеи, ни обозначенных половых признаков на брюхе у статуэток собак нет.

Рис. 1. Примерный внешний вид энеолитических статуэток животных на памятниках Илгыны-депе и Алтын-депе.



Рис. 2. Некоторые зооморфные статуэтки поселения Кара-депе.



1 - Баран (658); 2 - Леопард? (677); 3 - Собака (964);
4 - Бык (922); 5 - Кулан (617); 6 - Скульптура коровы из гипса.
В скобках - номера по описи (см. текст).

Следует также остановиться на фигурках животных с хорошо вылепленными, относительно длинными ногами (этим они отличаются от вышеописанных статуэток, у которых ноги, как правило, едва намечены). У части таких скульптурок по задней стороне шеи и затем по хребту показан невысокий гребень. Нельзя однозначно утверждать, кого они изображают, но вполне возможно, что это кулан.

К сожалению, в большинстве случаев статуэтки оказывались настолько поврежденными, что невозможно достоверно опознать в них то или иное животное; к тому же древние мастера в своей работе абсолютно не соблюдали реальные масштабы объектов, и статуэтки, изображая разных по размеру животных, имеют совершенно произвольную величину. Поэтому, помимо внешних экстерьерных признаков, оценивались и пропорции статуэток по двум пропорциональным индексам, один из которых отражает относительную высоту головы, а другой – относительную массивность передней части фигурки. Благодаря этому, в ряде случаев оказалось возможным достоверно установить видовую принадлежность изображения, даже без сохранившихся индивидуальных экстерьерных черт.

Исходя из всех этих признаков оценивались и статуэтки из Кара-депе. В распоряжении автора оказалось 25 терракотовых изображений животных более или менее хорошей сохранности, а также их фрагменты. Кроме того, были изучены костяные обломки орудий труда.

Среди исследованных статуэток 10 с той или иной степени вероятности изображают быков, 3 – куланов, 3 – собак, 1 – барана, 1 – какое-то мелкое полорогое животное. Кроме того, 8 найденных терракотовых объектов не могут быть отнесены к какому-либо виду животных с достаточной степенью достоверности. Ниже приводится список изображений животных из Кара-депе по видам с указанием номеров статуэток по инвентарной описи № 2847 Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Гос. Эрмитажа.

Быки: 24, 130, 625, 633, 639, 655, 664, 713, 859, 922 (рис. 2:4), 1001 (и также 949 – фрагмент в виде рога тура).

Мелкие полорогие: 32, 137, 658 (рис. 2:1).

Собаки: 621, 676, 964 (рис. 2:3).

Куланы: 617 (рис. 2:5), 859, 998.

Неопределяемые виды: 21, 496, 664, 677 (рис. 2:2), 679, 692, 693, 859.

Следует отметить несколько отличий в приемах лепки фигурок животных из Кара-депе, с одной стороны, и из Илгынлы-депе и Алтын-депе, с другой. У первых ноги выражены чрезвычайно условно – в виде двух продольных массивных барьеров по линии передних и задних конечностей. На Илгынлы-депе и Алтын-депе в этот период ножки статуэток, хотя бы и в виде слегка проработанных бугров, но оформлялись. У кара-депинских фигурок быков зачастую отсутствует такой неременный атрибут, как подвес на груди. Защип на брюшной стороне, символизирующий мужское начало в бычьих статуэтках Илгынлы и Алтыне, здесь в половине случаев не встречается. Статуэтки копытных из Кара-депе имеют более тщательно проработанные хвосты

Костяные орудия труда (трасологические определения проведены Т. А. Шаровской; нумерация соответствует описи названной выше эрмитажной коллекции): проколки (611, 703, 934, 935/1, 976?), тупоконечное орудие (935/2), ручка кисти для росписи керамических сосудов (? – 971), ложило (973), орудия невыясненного назначения (978,

979). В составе этого инструментария наблюдается та же закономерность, что и в коллекции костяных орудий из Илгынлы-депе и Алтын-депе (Каспаров, 1993). Основную категорию орудий составляют проколки, которые, как правило, изготавливались из метаподий и гораздо реже из других трубчатых костей конечностей. Дело тут, по-видимому, в том, что стенки метаподий обладают специфической структурой, обусловленной значительными нагрузками, приходящимися на эту кость. В силу этого метаподии раскалываются так, что образуются длинные обломки, которые при минимальной обработке могут служить прекрасным инструментом. Эта традиция прослеживается в рассматриваемом регионе еще с позднего неолита. Для изготовления орудий использовались, как правило, кости мелких домашних полорогих животных и изредка джейрана и кулана, тогда как кости коров и быков шли на изготовление костяных орудий очень редко.

Библиография

Каспаров А. К. 1993. Костяные орудия из протогородских поселений Южной Туркмении // КСИА. Вып. 209: 9-11.

Куфтин Б. А. 1956. Полевой отчет о работе XIV отряда ЮТАКЭ по изучению культуры первобытнообщинных оседлоземледельческих поселений эпохи меди и бронзы в 1952 г. // Труды ЮТАКЭ. Т. 7: 260-290.

Массон В. М. 1960. Кара-депе у Артыка // Труды ЮТАКЭ. Т. 10: 319-463.

Массон В. М. 1962. Новые раскопки на Джейтуне и Кара-депе // СА. № 3: 157-175.

Массон В. М. 1981. Алтын-депе. Л.

Массон В. М. 1982. Энеолит Средней Азии // Энеолит СССР. М.: 9-92.

Массон В. М., Кирчо Л. Б. 1999. Изучение культурной трансформации раннеземледельческих обществ // РА. № 2: 61-76.

Kasparov A. K. 1998. The zoomorphological statuettes from eneolithic monuments in South Turkmenistan // Abstracts of the 4th International Conference of Archaeozoology of South-Western Asia and Adjacent Areas. Paris [no pagination].

С. М. Кашкай (Баку)

О СКИФСКИХ ПРЕДМЕТАХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Предметы, относящиеся к скифской материальной культуре, на территории Азербайджана, особенно в его юго-восточной части обнаружены все еще в очень небольшом количестве. Исследования на Апшеронском полуострове выявили несколько погребений в каменных ящиках. Захоронения, раскопанные близ современного маяка, содержали захоронения в скорченном положении и керамику, по формам близкую к изделиям из памятников Ходжалы-кедабекской культуры. В одном из них обнаружены кусок дымчатого обсидиана и бронзовый двухлопастной втульчатый наконечник стрелы. У основания втулки имеется небольшой шип с заостренным концом.

В погребении, раскопанном к западу от села Гюргян, среди костных останков обнаружены два бронзовых трехлопастных втульчатых наконечника стрел "скифского" типа длиной 2,6 и 3 см. Крылья одного из наконечников доходят до основания втулки,

другого – чуть короче. На конце втулки обоих наконечников имеется продолговатая прорезь, как считается, для облегчения удаления поврежденного древка стрелы.

Во время раскопок на холме Мишарчай на окраине города Джалилабад (к югу от Апшерона) были прослежены культурные слои от периода ранней бронзы до средневековья. На оплывшей толще выше слоя средней бронзы обнаружены три бронзовых трехлопастных наконечника стрел.

На юге прикаспийской зоны, близ села Бузейир в Лерикском районе выявлен некрополь эпохи раннего железа. В одном из склепов с коллективным захоронением были обнаружены четыре бронзовых втульчатых трехлопастных наконечника стрел от 1,5 до 2,5 см длины. Материалы склепа датируются VII в. до н. э. (сведения о материалах Мишарчая и Бузейра любезно предоставленные мне д. и. н. И. Г. Наримановым, еще не опубликованы. – С. К.; см. ниже краткое изложение доклада И. Г. Нариманова. – *Ред.*).

В Нахичеванской Автономной Республике, богатой памятниками материальной культуры I тыс. до н. э., обнаружены всего два бронзовых трехлопастных наконечника стрел. Один из них ромбовидной формы длиной 3,5 см случайно найден на участке между селами Шахтахты и Тазакент. На этом же участке собраны фрагменты бронзового пояса, который декорирован изображениями крылатых фантастических животных, двух всадников в полной экипировке, включая остроконечные шлемы, а также обезглавленного человека, летящей птицы, держащей в клюве, судя по всему, его голову, и пальметок. Здесь же была обнаружена бронзовая печать трапециевидной формы с вогнутыми стенками, заканчивающаяся петлей, через которую продета тонкая цепочка. На круглом основании имеется изображение горного козла с подогнутыми ногами и повернутой назад головой, вокруг по самому краю нанесена змеевидная полоска. Найдены также фрагменты бронзовых браслетов с концами в виде змеиных голов. Находки датируются VIII – VII вв. до н. э. Другой наконечник стрелы, также ромбовидной формы, обнаружен в Мейдан-тепе, на месте древнего поселения близ современного села Назарабад Бабекского района. Вместе с ним обнаружены бронзовый черенковый наконечник стрелы подтреугольной формы закавказского типа и большое количество крупных фрагментов различных бронзовых и железных изделий.

Браслеты, концы которых завершаются змеиными или звериными головками, встречаются во многих памятниках Нахичеванской зоны, например, в погребениях могильника Мунджуглу-тепе, датируемого VIII – VI вв. до н. э. Однако среди материалов богатых комплексов каких-либо других элементов скифской культуры не выявлено. Кроме того, почти все наконечники стрел найдены среди изделий местной культуры в захоронениях по местным обрядам.

Небогаты предметами, относящимися к скифской культуре, и памятники прикаспийской части Дагестана и севера Иранского Азербайджана. Это свидетельствует о том, что массового прохождения скифов через прикаспийскую зону и восточные районы Закавказья не было. По всей видимости, знаменитый поход скифов вслед за бежавшими киммерийцами, о котором сообщает Геродот, не пролегал через эти территории.

К. Х. Кушнарева, М. Б. Рысин (Санкт-Петербург)

БЕДЕНО-АЛАЗАНСКАЯ ГРУППА ПАМЯТНИКОВ КАВКАЗА
(К пересмотру хронологии, периодизации и
культурно-экономических связей)

Расположение Кавказа на стыке двух культурных миров – Европы и Азии, его историческая роль как одного из центров зарождения и развития производящего хозяйства и очага блестящего и самобытного металлопроизводства способствовали формированию здесь уникальных, полных своеобразия культурных объединений. Перечисленные особенности побуждают рассматривать древний Кавказ не как средоточие памятников или отдельных культур, а как множественное целое, единый и неделимый регион, прошедший своеобразный путь развития в тесном взаимодействии с окружающим миром. Последнее положение приобретает особую актуальность, ибо большинство археологических исследований на Кавказе носит локальный характер и замыкается изучением памятников на ограниченных территориях – одной группы, одного района, в лучшем же случае, территорией бывших республик, ныне государств, тогда как древние культуры “перешагивали” все условные границы. К сожалению, общекавказская проблематика нашла отражение лишь в нескольких монографиях (А. А. Иессен, Б. Б. Пиотровский, А. И. Джавахишвили, О. М. Джапаридзе, К. Х. Кушнарева), которые с особо остротой высветили многие лакуны в историческом прошлом Кавказа; часть из них существует и сегодня.

Особенно остро назрела необходимость типологической систематизации огромной массы материала, накопившегося к концу 1990-х годов. Основой такого исследования является периодизация и хронология групп археологических памятников в общекавказском масштабе в увязке с таковыми соседних стран. Учитывая значение новейших материалов, наиболее слабо разработанным звеном в схеме периодизации бронзового века Кавказа сегодня оказалась эпоха средней бронзы. Эти же материалы говорят о несостоятельности прежних представлений о последовательности среднебронзовых культур Кавказа.

Поводом для начала пересмотра хронологии периода средней бронзы послужили, во-первых, факт распространения на одной и той же территории (южная зона Кавказа) позднебронзовых и кармирбердских погребений; во-вторых, совместное нахождение в некоторых кармирбердских погребениях сосудов как переходного этапа от средней к поздней бронзе, так и позднебронзового века, а также хурро-митаннийских печатей, распространившихся в широком ареале XV – XIV вв. до н. э. Таким образом, стало очевидно, что в хронологическом отношении кармирбердскую культуру следует переместить из первых веков II тыс. до н. э. в период, непосредственно “входящий” в начало позднебронзового века (Кушнарева 1995).

Представленный доклад является итогом первой части работы по типологической и хронологической систематизации памятников среднебронзового века Кавказа, посвященной анализу т. н. ранних курганов или бедено-алазанской группы памятников, открывших “новую эру” в древнейшей истории Кавказа. В качестве основного объекта исследования авторы избрали изделия металлопроизводства, являвшегося важнейшим двигателем в культурно-экономическом прогрессе древних обществ (Кушнарева, Рысин 1999). Учитывая теснейшую связь Кавказа с переднеазиатским миром, где существуют твердо датированные комплексы, при пересмотре принятой ранее периодизационной

схемы авторы опирались, в первую очередь, на новые, не привлекавшиеся ранее, материалы Передней Азии.

Бедено-алазанские или “ранние” курганы открывают серию культур бронзового века, для которых характерны погребения под культурной насыпью. Одновременно они демонстрируют первый этап триалетской культуры, которую мы, приведя веские обоснования, предложили именовать бедено-триалетской. Сегодня известно около 100 бедено-алазанских погребений. Они характеризуются крупными курганными насыпями, сложными подкурганскими конструкциями, индивидуальными захоронениями; в наиболее богатых, “царских” могилах обнаружены деревянные повозки и ложа, жертвоприношения людей и животных, обилие нарядной посуды, ткани, изделия из бронзы и драгоценных металлов, в том числе оружие (топоры, копья, кинжалы, “штыки”), орудия труда (тесла, долота, ножи) и разнообразные украшения (кулоны, медальоны, булавки, браслеты, височные кольца, серьги, бусы, пронизки).

Каждое из этих изделий рассмотрено на фоне металлопроизводства и ювелирного дела Передней Азии, при обязательном учете контекста, в котором сделана находка: выявлены технология ее изготовления, хронология и территория распространения однотипных изделий. В результате определены направления и характер связей создателей бедено-алазанских памятников, среди которых доминируют территории Армянского нагорья, Малой Азии и Сирии. Эти регионы оказали большое влияние на формирование облика бедено-алазанской материальной культуры и других среднебронзовых культур Кавказа. Показательна также незначительная роль северокавказских постновосвободненских культур на Закавказье: основной поток новаций шел с юга через Закавказье на север.

Итогом проделанной работы явилось подведение прочного фундамента под хронологическую оценку бедено-алазанской группы памятников, сделанное на основе привлекавшихся ранее материалов. Памятники эти сооружались на Кавказе в период господства на Переднем Востоке Аккадской династии, т. е. в XIV – XII вв. до н. э.

И. Г. Нариманов (Баку)

РАСКОПКИ НА НЕКРОПОЛЕ БУЗЕЙИР ЛЕРИКСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

Обширный некрополь эпохи поздней бронзы и раннего железа, состоящий из каменных склепов для захоронения умерших членов семьи или рода, случайно был выявлен на плоском участке вершины горы Бузейир Лерикского района, на высоте около 2000 метров. Некоторые погребения были разрыты, из них происходят асимметричный топор, клинки мечей и кинжалов из бронзы и другие находки.

Археологические раскопки, проведенные на некрополе в августе 1999 г. установили, что погребения были сооружены из громадных каменных плит и обложены камнями, образующими дискообразные платформы. В одном из погребений, ограбленных еще в древности, было найдено 20 человеческих черепов и костей, среди сопроводительного инвентаря встречаются около полусотни небольших одноручных кувшинов серого цвета, бусы из сердолика, пасты, бронзы, стекла и яшмы, бронзовые подвески для украшения волос, бронзовые иглы, небольшие браслеты и кольца, обломки железного браслета и пластинчатого ножевидного предмета, два глиняных пряслица конической формы,

бронзовые стрелы скифского типа. Один из последних находился внутри человеческого черепа и, видимо, послужил причиной погребенного. Это, возможно, свидетельствует о вооруженном столкновении скифов с племенами в зоне Талышских гор, в период их похода в Переднюю Азию, о котором сообщает Геродот. По комплексу материалов время сооружения данного склепа хорошо укладывается в рамки второй четверти I тыс. до н. э.

В склепе № 3 нами установлен обряд помещения умерших в могилу в сидячем виде. По устному сообщению антрополога Р. Касимовой, осмотревшей один череп из отмеченного склепа, он принадлежит к локальному варианту южноевропейского физического типа.

Некрополь в Лерикском районе существовал в течении нескольких столетий. Структура склепов, обряд захоронения и находки в целом очень похожи или даже идентичны материалам, обнаруженным сто лет назад в 25–30 км южнее Жаком де Морганом.

А. К. Нефёдкин (Санкт-Петербург)

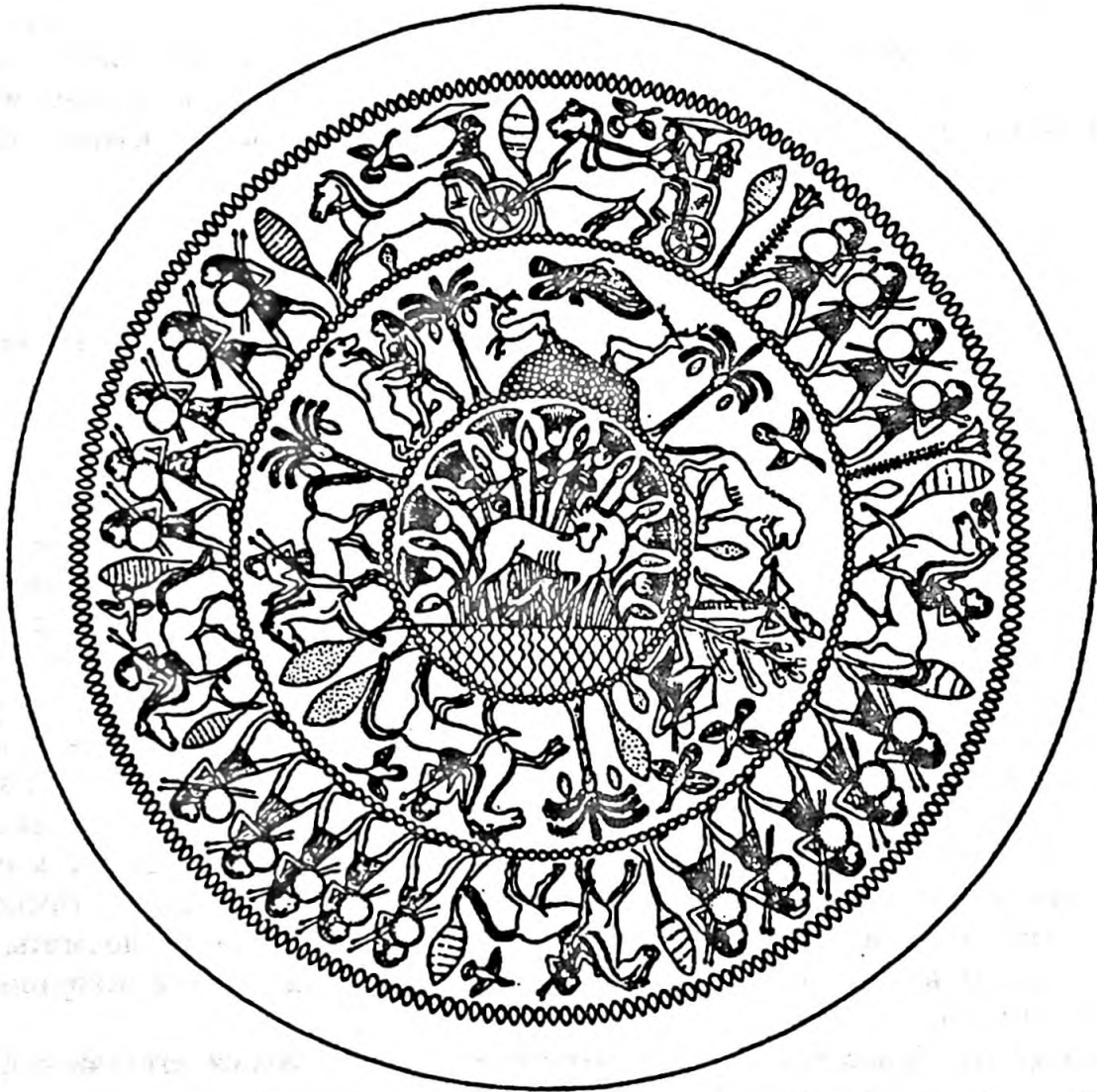
**ВООРУЖЕНИЕ ВОИНОВ ПОЗДНЕГО ЕГИПТА
ПО ДАННЫМ ТОРЕВТИКИ
ФИНИКИЙСКОЙ РАБОТЫ VIII – VII ВВ. ДО Н. Э.**

Очень немногое известно о военном деле Позднего Египта. Поэтому следует использовать все доступные нам источники для воссоздания его наиболее полной картины. Так, среди изделий финикийской школы торевтики первой половины I тыс. до н. э. мы находим большое количество египетских сюжетов, среди которых важное место занимают процессии воинов (см. рис.). Данные сцены представлены на ряде серебряных блюд и двух горшкообразных сосудах из Пренесте, Цере, Идальона и неизвестного, возможно этрусского, происхождения (Markoe 1985: Cy1; E3; E5-9; E11-E13). Датирована эта серия посуды примерно 710 – 675 гг. до н. э. (Markoe 1985: 156). На этих изображениях знатного колесничего обычно сопровождают всадники, вооруженные одним-двумя копьями, и пехотинцы, имеющие круглый щит, одно-два копья или лук со стрелами. Поскольку во втором регистре чеканки часто представлены сцены охоты, то можно полагать, что тут изображены сцены выезда знатных господ или монархов на охоту с эскортом воинов (Markoe 1985: 49-50).

Однако сразу бросается в глаза нетипичность вооружения египтян небольшим круглым щитом и парой копий. Можно было бы предположить, что рассматриваемые изображения были сделаны в соответствии со вкусом заказчиков, т. е. этрусков (Small 1986: 64, fig. 1). Ведь данная посуда производилась как в Финикии, так и в колониях (Markoe 1985: 3). Поэтому и воинам на ней могло бы быть придано вооружение этрусского типа. Впрочем есть все основания утверждать, что тут изображены именно жители долины Нила: прическа, набедренная повязка или специфическая туника, босые ноги – все говорит об этом. Следовательно, можно полагать, что и их вооружение показано адекватно.

Сначала рассмотрим оружие пехотинцев. Их защитное вооружение – это небольшой, диаметром 50-60 см, круглый щит с одной центральной рукояткой. Вспомним, что круглый щит распространился в Восточном Средиземноморье в период экспансии “народов моря” в XIII – XII вв. до н. э. (Drews 1993: 179). В среде египтян небольшие

круглые щиты впервые встречаются у колесничных воинов, сражающихся с филистимлянами, на рельефе из Мединет-Абу, который датируется восьмым годом



Серебряное блюдо неизвестного происхождения, найденное, возможно, в "Могиле Барберини" в Пренесте, около 710 - 675 гг. до н. э.
(воспроизведено по: Markoe 1985: E13)

правления Рамсеса III (1198-1166 гг. до н. э. Wreszinski 1935: Taf. 113-114). Для более позднего времени подобные щиты у египтян обнаруживаются на финикийских изделиях. Можно предположить, что этот элемент оборонительного снаряжения и не выходил из употребления в Египте до начала VII вв. до н. э.

Вместе с тем у нас есть свидетельства Ксенофонта о том, что египтяне даже на рубеже V – IV вв. до н. э. использовали свой древний традиционный щит, прямоугольный или трапецевидной формы с закругленным верхним углом (Хен. *Ан.* I.8.9; *Сур.* VII.1.3;40). Свидетельство Геродота (VII.89.3) о форме щита у египетских морских воинов в армии Ксеркса не так ясно. Он отмечает, что у них были “выпуклые щиты, имеющие большие ободы”. Немного выпуклыми выглядят на рассматриваемой серебряной посуде круглые щиты египтян, когда они изображены в профиль (см.: Маркое 1985: Е6; Е11), однако они не снабжены ободом. Последний имелся как раз на египетских щитах традиционной формы. Вероятно, и “Отец истории” говорит нам о выгнутом трапецевидном щите, удобным для боя на корме корабля. Кроме того, по-видимому, правы Н. Стилмен и Н. Толлис, полагающие, что щиты этой формы, появившиеся у ассирийских воинов во время Асархаддона, были заимствованы из Египта (Stillman, Tallis 1984: 114, 171). Напомним, что ассирийцы завоевали долину Нила при этом царе в 671 г. до н. э. Таким образом, у воинов страны пирамид в поздний период щит традиционной формы сохранялся. Вряд ли нужно, вслед за Н. Стилменом и Н. Толлисом, считать, что эти щиты такой формы были вновь введены в Саисский период, по образцу более древнего оружия (Stillman, Tallis 1984: 114).

Итак, кажется очевидным, что в Позднем Египте использовали обе формы щита, круглую и трапецевидную с закругленным верхом. Можно ли что-то сказать о различии в употреблении этих двух форм? Пехота египтян этого времени состояла из ливийских военных поселенцев – гермотибиев и каласириев (Hdt. II.163-166; 168; ср. Diod. I.73; Plut. *Лус.* 4). Для ливийцев был характерен кожаный щит (Hdt. IV.175; Strabo XVII.3.7). Судя по сахарским изображениям, он был круглой формы (Lhote 1982: 110, 119). О наличие этого оружия может свидетельствовать круглый щит, часто изображаемый на тореветике, причем без всяких узоров. Однако тут есть и щиты или с кругом из точек по периметру, или с двумя такими же кругами, по краю и ближе к центру; на серебряном горшкообразном сосуде из Цере (Маркое 1985: Е9) имеется еще и центральная точка. Подобный узор, если исключить простое художественное заполнение пространства на поле щита, представляет собой заклепки, крепящие к основе кожаную или металлическую обшивку. Такой щит уже не типичен для ливийцев. Откуда же мог возникнуть этот тип щита? Круглые бронзовые выпуклые щиты известны в IX – VIII вв. до н. э. ассирийцами (Stillman, Tallis 1984: 159-160; Горелик 1993: 192). В VIII в. до н. э. большие круглые кожаные щиты, оббитые листом бронзы, широко применялись грекам. Причем эллинские круглые щиты не всегда имели традиционный диаметр около 1 м, существовали и меньшие экземпляры, как это показывают, например, вотивные фигурки из храма Артемиды Орфии в Спарте (VII в. до н. э. Андреев 1993: Рис. 3). Там щит прикрывает воина от плеч до бедер, т.е. его диаметр примерно 60 см. Кроме того, первоначально круглый греческий щит имел одну центральную рукоятку, и лишь около 675 г. до н. э. появляется стандартный набор ручек: центральный браслет и рукоятка около края щита (Snodgrass 1967: 74). Таким образом, заимствование обшитого круглого щита могло произойти от обеих этносов – или от ассирийцев, или от греков.

К тому же, на вотивном блюде из Дельф, датированном 750 – 700 гг. до н. э. (Markoe 1985: G4), показан египтянин, закинувший за плечи круглый щит с точкой (умбоном?) в центре и кружками по периметру. Щит с умбоном имелся и у “народов моря” (Горелик 1993: 179). Позднее аналогичные щиты с центральным умбоном и набором бляшек нам известны в Греции гомеровской эпохи (Snodgrass 1967: 44). Следовательно, происхождение данного типа щита связано с Эгейским миром.

На серебряном блюде из Идальона на Кипре (около 710 – 675 гг. до н. э.) мы обнаруживаем у воинов египетского облика, вооруженных одним копьем и щитом, причем последний покрыт крестчатой клеточкой и окаймлен ободом (Markoe 1985: Cy4). Такой узор может свидетельствовать о плетеной структуре щита. Поскольку в Египте щиты изготавливались из дерева, то появление данного их типа следует приписать иноземному влиянию, возможно, восточно-анатолийскому, что вполне допустимо для Кипра.

Традиционным наступательным оружием египтян являлось длинное копье. На предметах финикийского производства из Этрурии мы чаще видим в руке воинов два одинаковых копья – это не египетская традиция. Два-три легких копья обычно рассчитаны на метательный бой (ср: Hdt. IV.94.2; Tacit. *Germ.* 6; Amm. Marc. XIV.2.7; Veget. I.20; Ptochor. *Bel. Goth.* IV.14; Ioan. Eph. p. 279). Данная традиция могла прийти в Египет от этносов, у которых преобладали воины в относительно легком вооружении. Так, мы встречаем два копья у бедуинов, а также у “народов моря”, в частности, шарданов и филистимлян (соответственно см.: Wreszinski 1935: Taf. 134; 114b, 134, 137; 114b; 113-114). Позднее, у греков в IX – VII вв. до н. э. воины также имели по два, реже по три копья, что следует не только из изображений на вазах, но и из археологических данных (Snodgrass 1967: 38-39, 72, 80). Причем иногда мы можем различить размеры в паре копий у эллинов: одно из которых длиннее. Дротиками были вооружены и ливийцы (Hdt. VII.71; Strabo XVII.3.7). Судя по изображениям из Центральной Сахары, воин был снаряжен круглым щитом и тремя дротиками (Lhote 1982: 144, 154). Вместе с тем, Прокопий (*Bel. Vand.* II.11.27) упоминает о том, что мавры были вооружены двумя метательными копьями. Естественно, что никто не регламентировал кочевникам-ливийцам, сколько воин должен иметь копий, одно, два или три, – сказывалась лишь сила традиции. Практику ведения метательного боя с помощью легких копий могли принести как воины “народов моря”, так и ливийцы, которые были включены в значительном количестве в египетскую армию в заключительный период эпохи Нового царства. Соответственно, они, наряду со своим традиционным оружием, сохранили и присущие им навыки ведения боя. А поскольку в армии Позднего Египта было множество ливийцев, то логично предположить, что вооружение двумя копьями было именно ливийской традицией.

Конница не была развита в Позднем Египте. Тем примечательнее выглядит тот факт, что на финикийской торовке присутствуют вооруженные конники-египтяне. В качестве оружия используются два, реже одно копье, а в сценах охоты – лук. Иногда всадники не вооружены. Лошади имеет длинную нестриженную гриву и длинный хвост. Сбруя или вообще отсутствует, или она показана в виде широкого ошейника. Последний элемент можно было бы принять за стилизацию изображения, поскольку точно такая же деталь имеется и на колесничных конях. Однако у последних под мордой показаны еще и вожжи, а на некоторых изображениях одновременно представлены верховые лошади и с ошейником и без него (Markoe 1985: E6; E7). Поэтому можно предположить, что изображения адекватно представляют детали сбруи: у упряжных коней и мулов этот элемент обозначает нагрудный ремень, а у верховых – это традиционный ливийский элемент управления лошастью – ошейник (Strabo XVII.3.7; App. *Lib.* 11-12; Arr. *Cyn.* 24.1;

3). Однако, рубеж VIII – VII вв. до н. э. представляется весьма ранней датой для существования ливийской конницы. Ведь знаменитая нумидийская конница впервые встречается в источниках с 261 г. до н. э. (Polyb. I.19.2). Она лишь в течение III в. до н. э. приобретает все большее значение на полях сражений, тогда как в конце IV в. до н. э. в Ливии еще господствовали колесницы (Нефёдкин 1997: 11-13). На блюде из Идальона (Markoe 1985: Cy1) из восьми всадников трое имеют на лошади и ошейник, и поводья. Это, видимо, говорит о возможности сочетания азиатский уздечки и ливийского ошейника (естественно, если тут нет определенной стилизации). На серебряном блюде из Амафунта представлены верховые лошади, имеющие уздечку и ошейник, на котором висит кисть. Таким образом, тут ошейник имеет функциональное назначение. Иногда в этих конниках можно узнать верховых воинов, вооруженных парой копий (Markoe 1985: E7; E8; E13), в других случаях на лошадях сидят обнаженные мальчики, которые во время охоты присматривали за конями (Markoe 1985: E6); подчас наездника можно атрибутировать как вспомогательного всадника, например, вестника (Markoe 1985: E9). Насколько можно судить по изображениям, всадническое искусство в это время уже достаточно развито: охотник, сидя на скачущей галопом лошади, может метать копьё, стрелять из лука не только вперед, но и назад, держа при этом в руке еще несколько стрел (Markoe 1985: P. 49; E6; E11). Отметим, что ливийская конница была легкой, вооруженной дротиками как главным наступательным оружием (Strabo XVII.3.7). Вместе с тем, знаменитый “парфянский выстрел” у охотников, представленных на сосудах, – это ближневосточная традиция. Совершенно отчетливо влияние Передней Азии прослеживается и на уже упоминавшемся серебряном блюде из Идальона, где изображены два всадника, имеющие длинные копья. Последние нам известны у ассирийских и киликийских всадников (VIII – VII вв. до н. э.), а позднее у лидийцев (Hdt. I.9; Stillman, Tallis 1984: 163, 168-169, 182-183, 189).

И, наконец, обратим внимание на колесницы. Они представляют собой тяжелый ближневосточный тип с прямоугольным кузовом и колчанами, косо закрепленными на бортах. Ось расположена под задней частью пола кабины, а колеса имеют четыре, шесть или восемь спиц. Тянут колесницу две лошади. В кузове находится возница-египтянин и ездок. Последний мог быть как египтянином, вооруженным двумя копьями или луком (Markoe 1985: Cy1; E6; E8; E9; G4; Comp 5), так и бородатым азиатом в высоком головном уборе (Markoe 1985: E11; E13; ср. E2). Причем перед последним едет еще одна колесница, управляемая одним возницей, – вероятно, она специально предназначена для охоты. Композиция изображений, где присутствует одна упряжка в процессии, позволяет говорить о том, что египтянин, едущий на колеснице, представляет собой знатную персону и одновременно командира пешего и конного отряда-эскорта (Markoe 1985: E7; E8). В то же время на сосуде из Цере, по-видимому, представлены колесничные воины в сопровождении пеших щитоносцев. Мы можем говорить об использовании колесниц в качестве средства транспорта военачальника. Подобная же тенденция превращения все более утяжеляющейся колесницы в боевую командную машину наблюдается с конца VIII в. до н. э. и в Ассирии, хотя там вплоть до падения державы существовали и настоящие боевые колесницы.

Итак, вероятно, пешие египтяне на рубеже VIII – VII вв. до н. э. продолжали использовать свое традиционное оружие, а именно большой трапециевидный щит и длинное копьё, тогда как ливийские военные поселенцы сражались своим привычным оружием – небольшим круглым щитом и легкими метательными копьями. Следовательно, у них была и различная тактика: первые строились в глубокую фалангу, которую описал

Ксенофонт (Хен. Сур. VII.1.30;33;39; ср.: Achil. Tat. III.13; Heliod. IX.20), а вторые сражались в свободной линии как метатели. Причем ливийцы, по-видимому, переняли египетскую одежду и прическу. Однако нельзя исключить и того, что сами египтяне могли вооружаться по ливийскому образцу. С тяжелой пехотой в бою взаимодействовали лучники – традиционно египетский род войск. Наряду с пехотой, составлявшей у жителей долины Нила основной род войск, у них были и всадники, которые существовали в египетской армии еще с периода Нового царства. Судя по торовитке из Этрурии, всадники были вооружены парой легких копий и вели метательный бой. Ближневосточным влиянием или же развитием всаднического мастерства в самом Египте можно объяснить умение стрелять из лука с коня на быстром аллюре. Бесспорно, азиатским влиянием объясняется вооружение всадников длинными копьями. Последние обстоятельство позволяет говорить о наличии ударной конницы (ср.: II Chron. 12.3; 14.9; Jos. Ant. Jud. VIII.10.2; 12.1). Колесницы, если ориентироваться на изображения на торовитке, служили боевыми командными машинами, хотя колесничные войска в этот период еще продолжали существовать.

Библиография

- Андреев Ю.В. 1993. Кто изобрел греческую фалангу? // Петербургский археологический вестник. № 7: 36-42.
- Горелик М.В. 1993. Оружие древнего Востока. М.
- Нефёдкин А.К. 1997. Боевые колесницы в древней Греции (XVI – I вв. до н. э.): Автореф. канд. дисс. СПб.
- Drews R. 1993. The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe ca. 1200 B.C. Princeton.
- Lhote H. 1982. Les chars rupestres sahariens des Syrtes au Niger, par les pays des Garamantes et des Atlantes. Toulouse.
- Markoe G. 1985. Phoenician Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the Mediterranean. Berkeley; Los Angeles; London.
- Small J. P. 1986. The Tragliatella Oinochoe // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung. Bd. 93: 63-96.
- Snodgrass A.M. 1967. Arms and Armour of the Greeks. London.
- Stillman N., Tallis N. 1984. Armies of the Ancient Near East 3000 BC to 539 BC. Worthing.
- Wreszinski W. 1935. Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte. T. II. Leipzig.

В. П. Никоноров (Санкт-Петербург)

ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ ПЛУТАРХА О МАРГИАНСКОМ ЖЕЛЕЗЕ

В своем знаменитом и детальном описании разгрома парфянами римской армии, возглавляемой Марком Крассом, в 53 г. до н. э. в битве при Каррах, Плутарх, в частности, дает очень интересное указание на то, что воины парфянского полководца Сурены (имеются в виду его закованные в доспехи всадники, ἵπλεῖς κατάφρακτοί) предстали перед неприятелем, сверкая своими “шлемами и панцирями, [изготовленными] из ослепительно

ярко сияющего маргианского железа” (φλογοειδεῖς κράνεσι καὶ θώραξι, τοῦ Μαργῖανου σιδήρου στίλβοντος ὁξὺ καὶ περιλαμπές) (Plut. Crass. 24.1 ed. Linskog – Ziegler). Источники, информацию из которых писатель из Херонеи использовал в своем рассказе о походе Красса против Парфии, точно не известны, но обычно исследователи предполагают, что это могли быть как “История” Николая Дамасского (род. ок. 64 г. до н. э.), так и мемуары самих участников или очевидцев тех событий (освещавших их, разумеется, с римской точки зрения), до нашего времени не сохранившиеся (см. Mielczarek 1993: 25-26; Tam 1985³: 50-53).

В целом не оспаривая вероятность подобной источниковой базы повествования Плутарха, поскольку он, судя по всему, действительно располагал надежными и очень подробными свидетельствами, хотелось бы, со своей стороны, несколько ее расширить, причем уже за счет информатора с противоположной стороны. Речь идет об Аполлодоре, греческом авторе родом из Артемиды, города в парфянской Месопотамии, который жил в I в. до н. э. и написал сочинение, известное под названием Парφικά (“Парфянская история”), к сожалению, утраченное еще в древности. Это произведение, судя по тем отрывкам, которые сохранились в трудах других античных писателей как с прямыми ссылками на Аполлодора Артемидского, так зачастую и без них (в “Географии” Страбона, “Эпитоме” Юстина и др.), состояло из не менее чем четырех книг, которые содержали ценнейшие данные не только по истории, но и географии и этнографии всего “Дальнего Востока” эллинистического мира, включая саму Парфянскую державу Аршакидов, а также Греко-Бактрийское царство, остальную Среднюю Азию с прилегающими к ней степями и Северо-Западную Индию, на протяжении длительного и чрезвычайно интересного, но очень слабо освещенного в имеющихся письменных источниках периода – примерно с середины III до середины I вв. до н. э. Надо полагать, что труд Аполлодора стал известным на греко-римском Западе не столько напрямую (что, впрочем, вполне допустимо), сколько через посредство его младших современников, таких же парфянских греков, как и он сам, которые, работая строго в русле его историографической традиции, создали несколько версий его же Парφικά: именно их, вероятно, имеет в виду Страбон, говоря о “тех вокруг Аполлодора Артемидского, кто написали “Парфянские истории” (τῶν τὰ Παρφικά συγγραψάντων τῶν περὶ Ἀπολλόδωρον τὸν Ἀρταμιτηνόν) (Strabo II.5.12 ed. Meineke). Кроме этих прямых последователей (учеников?), сделать данные Аполлодора достоянием классической традиции мог еще один его соотечественник, знаменитый географ Исидор Харакский, писательская активность которого пришлась на последнюю четверть I в. до н. э. и который, несомненно, должен был широко использовать материалы своего предшественника. Необходимо отметить, что сочинение Аполлодора, содержавшее интереснейшую и – главное – достоверную информацию (что признавалось самими древними: Strabo I.2.1; II.5.12; XI.6.4;), основанную на личных изысканиях автора (который, по всей видимости, много путешествовал по описываемым им странам, а также имел доступ к государственным архивам Аршакидов), на долгое время стало основным источником знаний о Парфии и ее соседях для римлян, причем отголоски заложенной им традиции сохранились в литературных памятниках византийской эпохи (подробно см. Nikonov 1998).

Среди сообщений Аполлодора о среднеазиатских землях важное место занимало его описание Маргианы (Μαργῖανή) – области в долине реки Марг (древнегреч. Μάργος, совр. Мургаб в Юго-Восточном Туркменистане). В более или менее целом виде оно дошло до нас благодаря сохранившимся трудам таких греческих и латинских писателей, как

Страбон (XI.10.1-2), Исидор Харакский (*Mans. Parth.* 14 ed. Schoff), Плиний Старший (*NH* VI.46-47 ed. André – Filliozat), Солин (48.2-3 ed. Mommsen), Марциан Капелла (VI.691 ed. Eysenhardt), а также Птолемей (*Geogr.* VI.9.4; 10.1 ed. Ronca) и Аммиан Марцеллин (XXIII.6.54 ed. Seyfarth). При этом у Плиния (и во многом следующего ему Солина) имеется упоминание, отсутствующее у других выше названных авторов, о том, что именно в Маргиане по приказу парфянского царя Орода были поселены римские солдаты, захваченные в плен в результате поражения Красса при Каррах. Даже те исследователи, которые относят информацию Плиния о Маргиане в основном к традиции Аполлодора Артемитского, считают, что его сообщение о депортации римских военнопленных восходит к другому, более позднему источнику (Bader et al. 1995: 49). И действительно, наверняка существовал какой-то не сохранившийся до нашего времени римский источник, может быть официальный документ (дело в том, что, помимо трудов Плиния и Солина, ни один из других дошедших до нас греко-латинских нарративных текстов не говорит о Маргиане как о месте поселения там пленных римлян, и мы не можем быть уверены, что какие-либо утраченные ныне литературные памятники эпохи до Плиния Старшего вообще упоминали об этом), из которого Плиний мог бы взять рассматриваемое сообщение, и в этом источнике должно было найти отражение знаменательное событие, имевшее место в 20 г. до н. э., когда аршакидский царь Фраат IV вернул Риму пленных и боевые знамена, захваченные парфянами в ходе кампаний против Красса в 53 и Антония в 36 гг. до н. э. Надо полагать, что как раз тогда те воины Красса, которые сумели выжить и вернуться домой, и поведали о столь отдаленном месте их заключения. Однако это вовсе не означает, что данная информация не могла присутствовать также и в рассказе Аполлодора о Маргиане, как и то, что она не могла быть заимствована Плинием и Солином из традиции писателя из Артемиты. Другими словами, Аполлодор, вопреки распространенному мнению, вполне мог знать о битве при Каррах и ее последствиях, в том числе и о судьбе римских военнопленных. Столь поздний *terminus post quem* для его Парфи́ка находит свое подтверждение также в сообщении Помпея Трога, восходящем, несомненно, к Аполлодору, об уничтожении среднеазиатского скифского племени саравков [сакаравков] (*Prol.* XLII ed. Seel), которое имело место в ходе междоусобной борьбы двух братьев-претендентов на аршакидский престол, Митридата III и Орода II, т. е. между 57 и 54 гг. Таким образом, Аполлодор должен был довести повествование примерно до конца 50-х гг. до н. э., а время написания им своего сочинения (не исключено, что оно было специально заказано самим парфянским монархом Ородом II) укладывается в период после 53, но до 40 г. до н. э. (Nikonov 1998).

Из всего сказанного выше следует, что упоминание о маргианском железе Плутарх мог заимствовать из традиции греко-парфянского историка Аполлодора из Артемиты, независимо от того, знал ли он произведение последнего в оригинале либо в версиях, созданных его ближайшими последователями, или же, что кажется наиболее вероятным, пользовался его данными из вторых рук. Только этим, на мой взгляд, можно объяснить сам факт приведения Плутархом столь точной локализации места производства металла, специально предназначенного для изготовления доспехов знаменитой парфянской панцирной конницы. В самом деле, ни от кого другого, кроме как от Аполлодора, владевшего достаточно полной информацией о современных ему областях обширной державы Аршакидов, нельзя было получить такие определенные сведения об истории, географии и экономической жизни Маргианы. Более того, этот историко-культурный регион в пределах Мервского оазиса, ставший известным в античной историографии только со времени походов Александра Македонского, нашел свое наиболее объективное

освещение в ней как раз благодаря писателю из Артемиды (Никоноров 1990; Кошеленко и др. 1994: 24-45).

Сообщение Аполлодора о маргианском железе, сохранившееся при посредстве Плутарха, а также многочисленные железные крицы и шлаки, найденные при археологических исследованиях на памятниках долины Мургаба бесспорно свидетельствуют о высоком уровне развития металлургического производства в парфянской Маргиане, которое обеспечивало высококачественным железом различные отрасли ремесла, в первую очередь оружейное дело, и при этом снабжалось сырьем из территориально близких месторождений (Массон 1955: 31; Усманова 1963: 173-174). Та же самая картина наблюдалась в Мервском оазисе и позднее, в частности, в раннеисламскую эпоху (Массон 1947: 29-30; Feuerbach 1998). Все это позволяет категорически не согласиться с бытующими еще мнениями о том, что Мерв являлся только важным посредническим центром в торговле китайской сталью (Tam 1985³: 364; Ghirshman 1954: 284), или же что парфянское железо было на самом деле предметом торговли, пришедшим из Индии (Kurz 1983: 560).

Говоря о маргианском железе, представлявшем собой, по определению М. Е. Массона (1947: 23-24), вороненую сталь, уместно процитировать следующее свидетельство Плиния Старшего (*NH XXXIV.145 ed. Le Bonniec*): “Из всех сортов железа пальма первенства принадлежит серскому; ... второе место у парфянского. И больше нет других сортов железа, которые закаляются в столь чистом без примесей виде, тогда как у прочих [сортов] состав имеет примеси, и потому он более мягкий (*Ex omnibus autem generibus palma Serico ferro est; ... secunda Parthico. Neque alia genera ferri ex mera acie temperantur; ceteris enim admiscetur mollior complexus*)”. Благодаря такому твердому составу парфянского (маргианского) железа, изготовленные из него доспехи для катафрактов производили неизгладимое впечатление на очевидцев не только своим внешним сверкающим видом, но и, по свидетельству все того же Плутарха, своей поразительной прочностью (*Crass. 18.3*).

Библиография

- Кошеленко Г. А., Губаев А., Бадер А. Н., Гаиров В. А. 1994. Древний Мерв в свидетельствах письменных источников. Ашгабат.
- Массон М. Е. 1947. К истории черной металлургии Узбекистана. Ташкент.
- Массон М. Е. 1955. Народы и области южной части Туркменистана в составе Парфянского государства // Труды ЮТАКЭ. Т. V. Ашхабад: 7-70.
- Никоноров В. П. 1990. Маргиана и Мерв в античной историографии // Мерв в древней и средневековой истории Востока. [I]. Ашхабад: 39-42.
- Усманова З. И. 1963. Эрк-Кала (по материалам ЮТАКЭ 1955 – 1959 гг.) // Труды ЮТАКЭ. Т. XII. Ашхабад: 20-94.
- Bader A. N., Gaibov V. A., Košelenko G. A. 1995. Walls of Margiana // In the Land of the Gryphons. Papers on Central Asian Archaeology in Antiquity. Firenze: 39-50.
- Feuerbach A. 1998. Evidence for the Production of Damascus Steel, from the Late 9th – Early 10th Century at Merv, Turkmenistan // Военная археология: Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. СПб.: 309-312.
- Ghirshman R. 1954. Iran: From the Earliest Times to the Islamic Conquest. Harmondsworth.

Kurz O. 1983. Cultural Relations between Parthia and Rome // The Cambridge History of Iran. Vol. 3 (1). Cambridge etc.: 559-567.

Mielczarek M. 1993. Cataphracti and Clibanarii. Studies on the Heavy Armoured Cavalry of the Ancient World. Łódź.

Nikonorov V. P. 1998. Apollodorus of Artemita and the date of his *Parthica* revisited // Ancient Iran and the Mediterranean World. Kraków: 107-122.

Tarn W. W. 1985³. The Greeks in Bactria and India. 3rd ed. Updated with a Preface and new bibliography by F. L. Holt. Chicago.

А. А. Раимкулов (Самарканд)

ПЕЩЕРНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Искусственные пещеры на территории Средней Азии, вырубленные еще в древности, как архитектурные памятники до сих пор мало привлекали внимание ученых. В Ташкентской области Узбекистана в 6 км к югу от столичного центра средневековой области Илака, Тункета, в горной долине Нарбексая в 1930-е гг. М. Е. Массоном обнаружен пещерный комплекс Кархана, т. е. “мастерская” (Массон 1953). Время его возникновения пока не уточнено. Как считал М. Е. Массон, судя по культурным слоям, которые покрывают холм, памятник относится к раннему средневековью. По его мнению, пещеры сооружались в течении длительного времени.

Другой пещерный комплекс был открыт в 1970-е гг. на берегу Амударьи, на территории кишлака Айвадж Шаартузского района Таджикистана. Результаты раскопок показали, что этот пещерный комплекс являлся христианским монастырем (Атаханов, Хмельницкий 1973).

Недавно нами была обследована небольшая часть крупного пещерного комплекса на западной окраине городища Афрасиаб в Самарканде. Пещерный комплекс находится под крепостными стенами городища и ориентирован по направлению север – юг. Пещеры вырублены в естественном лессе под культурными наслоениями городища на глубине примерно около 15 м от современной поверхности и в 5–6 м от русла бывшего рва. Комплекс состоит из десятков узких, вытянутых помещений, расположенных параллельно в коридорно-гребенчатом порядке. Помещения длиной до 16–19 м, шириной от 1 до 2,5 м. Установленная глубина пещерного комплекса достигает более 80 м, общая длина пещерных помещений и коридоров составляет несколько сот метров.

Комплекс двухчастный. Южная часть его более “парадная”. Подземные помещения расположены с двух сторон от центрального коридора. Коридор шириной более 1 м начинается от самого большого помещения комплекса, направляется на юг и кончается поперечно расположенным помещением. К западу от коридора находятся четыре помещения, расположенные в виде гребня, а к востоку – два.

Северная часть комплекса имеет несколько иную планировку. Здесь помещения расположены в виде гребня, но соединяющий их коридор отсутствует. В отличие от помещений южного комплекса, они соединены между собой узкими искривленными подземными ходами шириной, которые проходили посередине их.

Время появления пещерного комплекса пока не уточнено, поскольку археологические раскопки еще не проводились. Во время разведочных работ встречались

керамика, датирующаяся с VIII – IX по XIII в. Видимо, пещерные помещения (вероятно, в основном культовые помещения) с момента постройки существовали в течении нескольких столетий.

Подземные сооружения были обнаружены на цитадели городища Каджар-тепе близ г. Карши (Кабанов 1977). В конце 1980-х – начале 1990-х гг. недалеко от столичного города Южного Согда – Нахшеба – нами был раскопан полуподземный раннесредневековый архитектурный комплекс Кош-тепе. Здесь была найдена керамическая курильница с отверстием в виде несторианского креста (Раимкулов 1997).

В начале 1990-х гг. на Кархане сотрудниками Алмалыкского музея были проведены раскопки. Местный комплекс был нами интерпретирован как церковь-монастырь древних христиан (Раимкулов 1999).

Пещерные сооружения, входящие в круг наших исследований, по многим признакам связаны друг с другом. Большая их часть была специально засыпана рыхлым грунтом или песком. По результатам работ на Кош-тепе выяснилось, что в момент прекращения существования пещерного комплекса были засыпаны именно культовые помещения.

Подземные сооружения – искусственные пещеры или катакомбы являются одним из распространенных видов христианской архитектуры. Они широко известны в Северо-Восточной Африке, Сирии, Иране, Византии, Закавказье. Только вокруг Рима имеется более тридцати христианских катакомб (Mancinelli 1999). По данным письменных источников искусственные пещеры, в которых жили несторианские монахи, находились около г. Хан-балык (современный Пекин) в Китае. Как сообщает В. Л. Вяткин (1906), в “Малой Кандии” говорится о подземных катакомбах в Самарканде, которые использовались как святилища.

Самарканд как политический и культурный центр Согда являлся в своей многовековой истории и крупным центром доисламских религий Средней Азии, включая христианство. Известно, что согдийцы принимали активное участие в распространении христианского учения на Востоке. Надо полагать, что пещерный комплекс на западной окраине Афрасиаба наиболее близко стоит к христианству, скорее всего несторианского толка. С проникновением христианского учения в Согд туда попадают и характерные для него традиции культового зодчества, в том числе пещерная архитектура.

Э. В. Ртвеладзе (Ташкент)

О МОНЕТАХ ВАХШУВАРА, МЕСТЕ ЕГО ВЛАДЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АМУДАРЬИНСКОГО КЛАДА

Специалистам в области древней нумизматики Средней Азии хорошо известны редчайшие золотые монеты (8 статеров и один двойной статер), в арамейской легенде которых еще И. Марквартом прочтено имя WHŠWWR – Вахшувар. Восемь монет происходят из Амударьинского клада, одна – из частной коллекции; все они хранятся в Британском музее.

По поводу интерпретации, места и времени выпуска этих монет и тесно связанных с ними монет Андрагора существуют различные мнения. Одни исследователи связывают их с Бактрией, другие с Парфией; ряд ученых датируют их концом IV – началом III вв. до н. э., другие – первой половиной или даже 40-ми – 30-ми гг. III в. до н. э. Существенно

мнение о связи Вахшувара с Оксиартом, зятем Александра Македонского, впоследствии сатрапом Паропамисад.

Наиболее полно эти монеты изучены Е. В. Зеймалем и И. М. Дьяконовым, которые отнесли их к доаршакидскому чекану Парфии. Они полагали, что Вахшувар и Андрагор – одно и то же лицо. Это мнение вызвало возражение И. Р. Пичикяна, который не сомневался в их бактрийском происхождении.

Чтение имени правителя как Вахшувар не вызывает сомнения. Согласно В. А. Лившицу, оно переводится как “избранный бога Вахшу”, “верящий в бога Вахшу” или “охраняемый богом Вахшу”. Не вызывает сомнения и полная аналогия первого компонента этого имени – Вахш (бактр. OAXPO) в греческой передаче Окс (Ὠξος), что дало право многим исследователям связать Вахшувара с историческим Оксиартом.

Место коренных владений последнего сейчас, благодаря археологическим данным в их сопоставлении со сведениями Арриана, локализуется достаточно точно. Это юго-восточные склоны Гиссара от Железных ворот (Дарбанда) и далее на северо-восток. Здесь же в одном из горных ущелий находилась и Скала Оксиарта, где произошла встреча Александра с Роксаной. Определенную ясность в этот вопрос вносят и данные топонимики, в особенности, когда они подкрепляются археологическими и историко-географическими фактами. Существенно, что здесь до сих пор сохранился топоним Вахшувар. Я имею в виду два небольших кишлака Катта Вахшувар и Кичи Вахшувар, расположенных в предгорьях Байсунтау, в 20 км к северо-западу от г. Денау. Показательно, что это название зафиксировано еще в начале XVI в. в *Тарих-и Гюзида*, что свидетельствует о давности его существования.

Археологические разведки, проведенные мною в этом районе, выявили в Катта Вахшуваре большое городище Сар-тепе, нижний слой которого относится к началу второй половины I тыс. до н. э. Также в 10 км ниже, в низовьях Вахшуварсая, выявлено укрепленное поселение с цитаделью ахеменидского времени. В верховьях Вахшуварсая и в соседних ущельях имеется ряд скал по описаниям похожих на скалы-“петры” античных источников, а на склоне одной из них – Кыз-кала – найдены фрагменты керамики V – IV вв. до н. э.

Столичным центром всего этого района являлось расположенное неподалеку от Вахшувара городище Кызыл-тепе. Можно предположить, что весь этот горный и предгорный район принадлежал Оксиарту-Вахшувару – виднейшему представителю бактрийской аристократии из всех тех, с которыми Александр встречался к северу от Окса.

В этом же районе имеются ряд мест с компонентом *вар*: Тихшивар, Бузуруквар и Каттавар, Гаварган, Дальварзин. В нем отражено индо-иранское слово *var*, *avarana* – “ограда, палисад”, авестийская *vara*; для древнего периода оно зафиксировано в названии города Аорна (на месте Дильер-тепе, неподалеку от Бактр/Балха). Особо показательно в этом отношении иранское название Бузуруквар и равнозначное ему узбекское Каттавар (“Большой вар”).

В таком случае название Вахшувар можно толковать как *вар* (бога) Вахша, т.е. укрепленное место, где стоял храм этого божества. Древнее культовое значение кишлака Вахшувара отмечают этнографы Б. Х. Кармышева и О. А. Сухарева.

Опираясь на предложенную О. А. Сухаревой интерпретацию названия “Вахшувар” как “подобный Вахшу”, Б. Х. Кармышева высказала предположение о связи этого названия с именем божества текущих вод Вахшу – Вахшем – бактр. Oaxшо и возможном поклонении его культу в данном месте. То, что храмы, посвященные богу Oaxшо/Вахшу, существовали в Северной Бактрии, сейчас доподлинно установлено благодаря греческой

надписи на вотиве из Тахти-Сангина. Не исключено, в этой связи, что местность, где сейчас располагается кишлак Вахшувар в древности носило бактрийское название Оахшоваро (т.е. укрепленное место с храмом этого божества), в арамейской передаче Вахшувар.

Показательно, что предгорья Гиссара и долина Амударьи были связаны дорогой, шедшей из долины Сурхандарьи через Бабатаг и перевал Чагам (в районе которого мною отмечено древнее культовое место Гаварган и местность Вахшувар) в долину Кафирнигана (у спуска в нее расположено поселение начала I тыс. до н. э. – Бабур-тепа), а затем в Кабадиан и оттуда к Тахти-Сангину.

Согласно Арриану, во время остановки войска Александра при впадении р. Акесиан в Инд к нему прибыл “бактриец Оксиарт, отец Роксаны, жены Александра. Царь прибавил к его сатрапии еще паропамисадов...” (*Anab.* VI.15). Следовательно, с 327 г. до н. э. и в течение, видимо, достаточно продолжительного времени Оксиарт/Вахшувар владел большей частью Восточной Бактрии от Гиссара на севере до Гиндукуша включительно на юге. По всей вероятности, где-то здесь выпускались его монеты, и, по-видимому, ему и его роду принадлежал Амударьинский клад и сокровища храма Окса (Оахшо) в Тахти-Сангине, поскольку они найдены на территории его владений и хронологически совпадают со временем его правления.

Идентичность Вахшувара и Андрагора, предложенная Е. В. Зеймалем и И. М. Дьяконовым на основании чтения второй легенды на монетах Вахшувара как NRGWR (по их мнению арамейское написание имени Андрагор), не обязательна. Даже если данное чтение правильное, то это мог быть совместный чекан Андрагора и Вахшувара, примеров чему даже в Бактрии известно немало.

Н. А. Хан (Киров)

К ВОПРОСУ О РОЛИ ОРДЫНСКОГО “ВЫХОДА” ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РУСИ И ОРДЫ

Основу финансовой системы русских княжеств XIV в. составляли серебряные платежные слитки теоретического веса 204,756 г., реальный вес которых был близок к денежно-весовой норме. Стандартность и качество слитков в течение 350-летнего периода хождения сделали их средством обращения и платежа в верхах общества Руси, они составляли основу “выходного серебра” (А. Н. Насонов). Ордынский “выход”, как показал С. М. Каштанов, осуществлялся через посредство великокняжеской власти, платить же “выход” непосредственно татарам не имели права, по крайней мере, со второй половины XIV в., не только частные лица, но и удельные князья. При этом, отмечает исследователь, “дань”, взимаемая для уплаты “выхода” автоматически становилась княжеской собственностью в случае падения власти Орды на Руси”. Сумма “выхода” определялась великим князем из общей дани. В XIV в. она составлял 5 тыс. руб., в первой трети XV в. – 7 тыс. руб. (Каштанов 1998: 8-10).

Слово “выход” арабского происхождения, оно представляет собой перевод арабского термина *kharaj* (харадж), который в то же самое время близок к арабскому глаголу “выходить”. IV форма глагола “*akharaj*” означает как “заставить выйти”, так и “заставить платить” (Вернадский 1997: 235, 422-423, прим. 336). Слова “рубль” и “полтина” появляются, согласно свидетельствам берестяных грамот, в конце XIII в. (Янин 1969/1970:

329; 1979: 156). Материальным воплощением рубля являлся серебряный слиток весом около 200 г. Следовательно, общий вес ордынского “выхода” в XIV в. не превышал 1 тонну серебра. Ежегодный доход крупнейших золотоордынских феодалов составлял 100-200 тыс. динаров (Тизенгаузен 1884: 244). Поскольку динар разменивался на 6 дирхемов (там же: 431), а 20 динаров, в свою очередь, составляли 1 *сом-саум*, то получается монетная стопа, равная 120 экземплярам. Таким образом, 1 *сом-саум* равнялся 120 дирхемам, и это означает, что максимальный доход золотоордынского вельможи мог составить до 2 т серебра в год. Идентичный результат получаем, исходя из условия: 1 *сом-слиток* = 20 динарам. Используя численное значение теоретического веса джучидской монеты в 1335 г. (когда Ибн Батута посетил Тану, Булгар и Хорезм), составившего 1,52 г. (Фёдоров-Давыдов 1981: 142, табл.27; Мухамадиев 1983: 71), мы получим в результате 1,842 т. В Золотой Орде совокупный годовой доход темников, занимавших вторую ступень в золотоордынской табели о рангах, не превышал 34 тонн серебра (в скобках заметим, что доход Мамаю, получившего при Бердибеке пост темника-*беглярбека*, вряд ли был ниже приведенных сумм, т. е. 1-2 тонны серебра в год).

Таким образом, в XIV в. годовой русский “выход” не превышал годового дохода одного крупного ордынского аристократа. Сумма в 5, 7, 8 тыс руб. для экономики русских княжеств разорительной не была. В 1372 г. Дмитрий Иванович выкупил в Золотой Орде Ивана, сына погрявшего в долгах Михаила Тверского, за 10 тыс. рублей (ПСРЛ. Т.15. Вып.1: 104). В 1386 г. он же получил от Новгорода Великого 8 тыс. руб. По подсчетам Г. В. Вернадского (1997: 237) годовой налог, собираемый Дмитрием Ивановичем с территории великого княжества Владимирского, мог составить 85 тыс. руб. Таким образом, ордынский “выход”, и здесь нельзя не согласиться с И. М. Дьяконовым (1994: 68), не был чрезвычайно обременительным для экономики Руси, хотя его и называли “тягости” и “проторы”. В то же самое время “выход” являлся инструментом внешней политики Москвы, о чем говорится в московско-тверском договоре 1375 г., когда великий князь Дмитрий Иванович, находясь в состоянии перманентной войны с Мамаем, продиктовал тверскому князю Михаилу Александровичу условия капитуляции: “А будет нам дати выход, по думе же. А будет не дати, по думе же...” (ДДГ: 26).

О. Цепова (Париж)

БАКТРИЙСКАЯ ДЕКОРИРОВАННАЯ КЕРАМИКА С КАМПЫР-ТЕПЕ

Существует мнение, что в кушанской Бактрии орнаментальное искусство было слабо развито. Однако найденные на ее территории артефакты, прежде всего керамика, свидетельствуют о значительной роли декоративных элементов в рассматриваемый период. В данной работе представлена орнаментированная керамика из раскопок 1999 г. на Кампыр-тепе, последний период обживания которого датируется монетами Канишки и Хувишки, т. е. II в. н. э. Также была обработана керамика Термезского музея и музея Института искусствознания Академии художеств Республики Узбекиста в Ташкенте. Различные виды декора были выделены по технике исполнения: прочерчивание или процарапывание, тиснение, штамповка, лощение, неравномерное или полосчатое ангобирование, профилирование боковых стенок, украшение ручек сосудов, использование налепов.

Прочерчивание. Самым распространенным видом декора на керамике являются полосы прочерченной по сырой глине волнистой линии, часто окаймленной горизонтальной линией. Они встречаются на горшках, тагарах, хумчах, причем независимо от типа теста. Часто после прочерчивания орнамента сосуд покрывали ангобом. На горшках полосы волнистого орнамента всегда расположены на плечике. Чаше встречаются две полосы волнистой, реже встречается одна полоса одиночной или двойной волнистой линии. Тагары нередко украшались одной полосой волнистой линии, и изредка двумя волнистыми линиями. Они прочерчивались на внутренней стороне сосуда под отогнутым профилированным венчиком. На одном фрагменте тагары от волнистой линии вверх отходят продолговатые наклонные насечки (рис. 3). Украшение горлышка полосой прочерченной волнистой линии отмечено на фрагменте горлышка хумчи, а также еще на одном фрагменте горлышка.

Зигзаги волнистой линии наклонены влево, что, вероятно, связано с техникой исполнения орнамента. Лишь на одном из фрагментов зигзаги были наклонены вправо. Обычно полосы волнистых линий имели одинаковую ширину, но на одном фрагменте плечика сосуда зигзаги двух волнистых линий имели разную величину. Наряду с волнистой линией в общем орнаментальном комплексе присутствует ряд точечных выемок, которые располагаются сверху, снизу или между полосами волнистой линии. Точечные или наклонные насечки иногда наносились на узкую налепную полосу или на небольшой линейный выступ (рис. 2). На одном фрагменте сверху и снизу полосы волнистой линии находятся ряды наклонных насечек. В верхнем ряду они наклонены влево, а в нижнем – вправо (рис. 1).

Интересен фрагмент от нижней части венчика сосуда, который украшен частыми наклонными насечками, сделанными на выступе, от которого отходит почти горизонтальное плечико. На нем находится ряд небольших выемок подтреугольной формы, вырезанных инструментом с тремя зубцами. Дальше, в направлении от венчика, идут две простые параллельные линии.

Любопытны большие сероглиняные амфора и блюдо из музея Института искусствознания. На плечике амфоры две горизонтальные полосы волнистой линии обрамляли сверху и снизу ряд штампов, а дно блюда орнаментировано тремя концентрическими полосами волнистых линий. Четыре керамические курильницы из этого же музея также украшены прочерченным волнистым орнаментом, иногда в сопровождении точечных вдавлений.

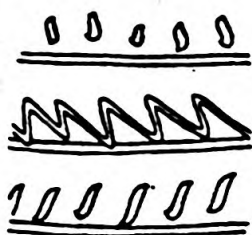
Процарапанный елочный орнамент имеется на фрагменте сосуда открытой формы, вероятно, тагары (рис. 4). Такой же орнамент отмечен на нижней части тулова амфоры и на внутренней поверхности отогнутого вверх под углом бортика сероглиняного блюда (музей Института искусствознания).

Обращает на себя внимание хранящийся там же маленький кувшинчик. В нем четыре грани тулова разделены между собой вертикальными желобками. Горлышко, по всей вероятности, было сделано отдельно и прилеплено к тулову. Грани последнего украшены горизонтальными и вертикальными полосами зигзагообразных линий, которые делят каждую грань на четыре квадрата.

На фрагменте тулова хума из Кампыр-тепе был прочерчен знак свастики (рис. 5).

Тиснение. Фрагмент сосуда из теста сиреневатого цвета представляет, вероятно, нижнюю часть тулова сосуда закрытой формы. По его внешней стороне проходит полоса частых наклонных линий, сделанных тиснением (или вдавливанием) палочкой (рис. 6). Горизонтальная полоса таких линий проходит в средней части стенки бокала из музея

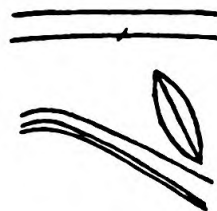
Института искусствознания. Два маленьких кувшинчика, хранящиеся в этом же музее, были украшены вдавленными точечными углублениями. Причем на одном они были



1



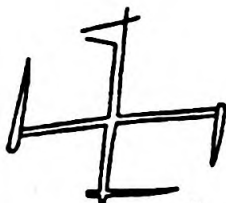
2



3



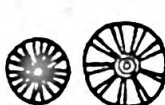
4



5



6



7



8



9



10



11



12



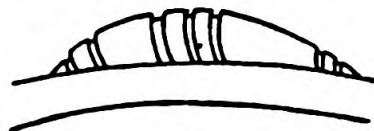
13



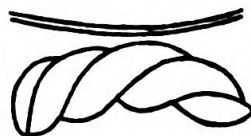
14



15



16



17



18



19



20



21

Элементы декора на кушанской керамике из Северной Бактрии

неглубокими и располагались в три горизонтальные ряда, идущие по верхней части тулова. На другом сосудике они были глубже и меньше и беспорядочно покрывали верхнюю половину тулова.

Штамповка. Штамповка была зафиксирована на фрагментах хумчей и горшков. В 1999 г. найдены штампики трех типов. В основном это розетки и пальметты (или листики). Размер штампиков варьировался от 1,5 см до 3 см. Наносились они на плечико сосудов. Часто рядом проходила простая горизонтальная и волнистая линии. На двух фрагментах хумчей пальметта находилась между двумя розетками. На других трех фрагментах розетки были сгруппированы по две или по три. Розетки подразделялись на три разновидности: розетки самого распространенного типа в виде круга, разделенного радиусами на равные секторы (рис. 7), розетки с глазком в центре (рис. 8) и розетки в виде цветка без явно обозначенного круга, окаймляющего цветок (рис. 9). Пальметты (или листики) почти не различались между собой (рис. 10). Третий вид штампиков был в виде латинской буквы U и имел величину около 1 см (рис. 11). Только на одном фрагменте был нанесен один ряд таких штампиков.

На сероглиняной амфоре (музей Института искусствознания), встречаются штампики в виде пальметт и прямоугольников с четырьмя точками по углам (рис. 13) и располагаются они на плечике в один горизонтальный ряд между двумя полосами волнистой линии. На находящемся там же фрагменте другого сосуда между двумя штампами вихревого колеса расположен штампик, изображающий отпечаток ступни (рис. 12). Важно отметить, что эти два изображения представляют собой символы, характерные для буддийской иконографии. Три штампа, изображающие всадника, нанесены на подквадратный венчик фрагмента хума (музей Института искусствознания). В фондах Термезского музея хранится фрагмент хума, на венчике которого нанесен штампик с оленем. На венчике другого хума из этого же музея на штампе изображена любовная сцена.

Лощение. Лощение наносилось на тонкостенные сосуды открытой или закрытой формы, покрытые ангобом. Выявлены полосчатый, струйчатый и сетчатый типы лощения. Полосчатое вертикальное лощение наносилось на горлышко и на тулово сосудов закрытой формы, по серому или по красно-коричневому ангобу, иногда неравномерно нанесенному. Струйчатое лощение присутствует на сосудах закрытой формы, покрытых красно-коричневым ангобом. Сетчатое лощение наносилось на внешнюю поверхность сосудов открытой формы (вероятнее всего, фиал или чаш), также покрытых красно-коричневым ангобом.

Ангобирование. Неравномерное или полосчатое ангобирование коричневым ангобом выявлено на тонкостенных сосудах. Мазки имеют наклонное (с последующим лощением), вертикальное или горизонтальное направление.

Частичное ангобирование встречается почти также часто, как и декорирование полосой прочерченной волнистой линии. Ангобом покрывались венчики сосудов закрытых форм (кувшинов, горшков) и открытых форм (тагор, тарелок). Эти полосы часто подчеркивали конструктивные части сосуда (венчик, горлышко, боковую стенку).

Декорированные ручки. В керамике 1999 г. они представляют три типа: горизонтальные витые ручки на плечике горшка (рис. 17); горизонтальная ручка в виде плотно прилегающего к венчику валика с поперечными вдавленными полосками на тагаре (рис. 16); ручка с основанием в виде трех выступов, образующих стилизованную

трехпалую птичью лапку (рис. 18). Такое же завершение ручки имеется на сероглиняной амфоре из музея Института искусствознания. Уже упомянутая нами чашечка с перехватом, хранящаяся в том же музее, имеет вертикальную зооморфную ручку в виде козлика или обезьянки (рис. 14). Фрагмент другого находящегося там же сосуда снабжен зооморфной ручкой в виде обезьяны. Маленький кувшинчик из Термезского музея имеет ручку в виде козла или кабана (рис. 15).

Зооморфный налп. Налп, напоминающий голову козла, был нанесен на найденный в 1999 г. фрагмент, покрытый красно-коричневым ангобом. В музее Института искусствознания зооморфные налпы отмечены на трех сосудах: это налпы в виде головок обезьяны с кольцом во рту в верхней части высокого кубка (рис. 20) и барана на плечике амфоровидного сосудика (с рядом наклепленных бляшек у основания горлышка) (рис. 21), а также носик кувшинчика в форме морды барана, чьи рога и уши изображены налпами на тулове (рис. 19).

На основе рассмотренного нами разнообразного керамического материала, можно сделать вывод, что его декоративный (орнаментальный) аспект имел достаточно важное значение в прикладном искусстве кушанской Бактрии, а его дальнейшее изучение в плане происхождения, эволюции и семантики отдельных мотивов представляется весьма перспективным.

M. Biran (Jerusalem)

CHINESE EMPERORS AND GÜRKHANS:
CULTURAL TRADITIONS IN THE DEVELOPMENT OF
THE QARA KHITAI (WESTERN LIAO) DYNASTY (1124 – 1211)
AND THE ROLE OF ARCHAEOLOGY

The Qara Khitai (Western Liao) dynasty, established by those Khitans who after the Jurchen conquest of North China immigrated to Central Asia, is the only Central Asian dynasty which was considered a legitimate Chinese dynasty in official Chinese historiography. Contemporary Muslim authors often denote its rulers as "The Chinese".

Indeed, despite the paucity of sources about this dynasty, literary and archaeological evidence reveals that throughout its reign the Western Liao retained several Chinese features such as reign titles and temple names for its emperors; Chinese official titles for civil and military functionaries; The use of Chinese Language on the Chinese-type coins of the dynasty. Architectural features apparent in the region of the Chu valley near the Western Liao capital (in north Kirghizstan), such as the use of a *kang* for heating; building of mud walls or using semi-circled tiles with floral designs are also described as reflecting Chinese borrowing.

In the manner of the Northern Chinese tradition, however, those symbols of "Chineseness" were by no means exclusive: The Western Liao emperor, for example, also bore the Inner Asian title *Gürkhan* and Turkic and Arabo-Persian titles coexisted together with Chinese one. Moreover, Khitan, Uighur and Persian were used together with Chinese in writing.

This paper analyses the different meanings of China in pre-Mongol Central Asia. It argues that the Chinese features retained by the Qara Khitai were an important part of the dynasty's legitimation not only towards its few Han Chinese subjects but also vis-a-vis the other components of this multi-ethnic empire: Khitans, Mongols and even Central Asian Muslims among whom the title *Tamghaj Khan*, the Khan of China, was a synonym of The Great Khan.

The Qara Khitai, then, continued the Northern Chinese tradition of the Liao with its dual, Chinese and nomadic legitimation. Yet the new Central Asian environment influenced and changed this cultural tradition. It is highly significant, for example, that the two most prestigious and characteristic titles of the Qara Khitai, Gürkhan and Tayangu, both Inner Asian and not Chinese, do not have a precedent in Liao time, and this is of course true in regard to the Arabo-Persian titles as well.

In trying to evaluate the commitment of the Qara Khitai to the Chinese cultural tradition, or in understanding the multi-cultural milieu created in Central Asia under the Qara Khitai in general, archaeology could play a pivotal role. This is especially true since the written sources about the Qara Khitai are rather meager, and apart from the short and problematic chronicle in the *Liao shi* were not written by the Qara Khitai themselves. Unfortunately, the archaeological evidence regarding the Qara Khitai is not unequivocal. Let us take the case of the Semirechye Buddhist monuments as an example. In the 1940s, Bernshtam who worked in the Chu valley unearthed some of those monuments and ascribed them to the Qara Khitai culture. His findings were cited in the 1940s and 1956 and 1963 of the *Istorii Kirgizii*, and through them in many Chinese works, including very recent one, who used them to emphasize the Chinese character of the Qara Khitai dynasty. The 1984 edition of the *Istorii Kirgizskoi SSR*, however, completely ignored the Qara Khitai material culture as well as any Chinese influence in the region. Buddhist finding from Kirghizstan that were included in the 1983 catalogue of a Hermitage exhibition were dated to much earlier periods than the 12th century. The reduction of the Chinese aspects of the Qara Khitai then occurred with close correlation with the break out and development of the Sino-Soviet dispute. Recent Russian and Kirghiz archaeological literature (e.g. Stavisky, Goriacheva and Peregudova), although sometimes still debating the exact dating or attribution of some of the Kirghizian Buddhist monuments, completely refuted Bernshtam's dating of them. They concluded that none of the Semirechye Buddhist monuments was built after the 10th century. As a non-archaeologist I could not doubt their conclusions, yet as a historian I wonder whether some of those monuments were still active in the 12th century. It seems strange that a Buddhist dynasty, who (accidentally?) located its capital in a region with a wealthy Buddhist cultural tradition would do nothing to restore some of those monuments and use them, or at least let its Buddhist subjects (e.g., the Uighurs, who were highly appreciated by the Qara Khitai) do it, just like it allowed the Nestorians to establish an episcopate in Kashgar and Nawakit?

Because the Sino-Soviet dispute is buried now for ever, a reevaluation of Qara Khitai culture and of Chinese influence in Central Asia in general is highly desirable. It will certainly contribute to our understanding of the multi-cultural traditions of this unique period in Inner Asian history.

M. J. Olbrycht (Kraków)

THE SIGNIFICANCE OF THE ARSACID KINGDOM IN THE HISTORY OF CENTRAL ASIA

The history of the Arsacid state (from the middle of the 3rd century B.C. to the beginning of the 3rd century A.D.) is still being discussed mainly from the point of view of classical sources, for the basic evidence for the study of Parthia are testimonies of the Greek and Roman authors. This attitude of many contemporary scholars presents a special problem; they are inclined to see the Parthian history solely in terms of its relation to the Seleucids and Rome. The

study of the Arsacid history in the last decades has made very considerable advances, particularly through the accumulation of new archaeological, numismatic and epigraphic sources. So the classical literary sources can be supplemented to some extent by this new evidence. Along with this it must be said that even the testimony of the western authors relating to the Arsacid eastern relations has not been sufficiently analyzed yet (Wolski 1993).

The relations between Iran and the peoples of Central Asia are difficult to trace. We hear that the Arsacids were backed by nomadic tribes on the borders of their heartland. On the other hand, the peace of the Parthian Empire was many times disturbed by invasions of its eastern borders. It was Rostovtzeff (1936) who pointed out that the Arsacids "had to devote as much attention to the East as they did to the West". To understand properly Arsacid history it must be kept in mind that the Parthian kingdom emerged as a result of a nomadic invasion in northeastern Iran. A number of elements in Parthian culture and society go back to the traditions which had existed in the Central Asian nomadic area.

Various relations between steppe and sown land determined the development of ancient Central Asia from Iran to China. The Arsacid kingdom came into existence in this sphere of interaction between the sedentary world of Iran and northern steppe expenses. For this reason it is desirable to gain a better understanding of the importance of the nomadic component in the emerging and further history of Parthia (Olbrycht 1998c). The Aparni, a tribe belonging to the Dahae and roaming on the Ochos (Uzboi), under their leader Arsaces, subjugated some frontier areas on the Atrak. Soon afterwards they launched an invasion into Parthyaia (around 239 B.C.). Subsequently, Arsaces seized Hyrcania too. Seleucid attempts to regain Parthyaia failed and the Arsacids consolidated their position in northeastern Iran. The early history of the Arsacids is bound up not only with the Aparni but also with the Apasiakai, a nomadic tribe belonging to the Massagetai. After the conquest of Parthyaia and Hyrcania, Arsaces I had to rule not only over the pastoral Aparni but also over the settled population of Parthyaia. The question of the character of socio-economic relations in Parthia is extremely complex. It is clear, however, that the principal influence on the social structure of the Arsacid heartland as well as of the early Parthian kingdom as a whole was exerted by the nomadic legacy of the Aparni (Košelenko 1980; Никоноров 1992; Olbrycht 1998c). The Aparnian aristocracy, having absorbed some local groupings, became the ruling class in Parthia. The position of the sedentary population of the early Parthian kingdom was determined by the fact of the nomadic conquest; in fact, it was subjugated to the leading Aparnian clans. Archaeological materials testify to the fact that some nomads established in Parthyaia and their barrows were situated in the areas which were inhabited by the agriculturalists (Марущенко 1959; Мандельштам 1963; 1971; Olbrycht 1998b).

In spite of the warlike reputation which the Arsacids attained they were a clan quick to realize and profit by the advantages of peace. The establishment of the Arsacid coinage took place under Arsaces I. It was he who attached great importance to the erection of fortifications and strongholds (cf. Just. 41.5; Amm. Marc. 23.6.4). Urban centres made the dynasty's basis in the course of the process of internal consolidation of the kingdom. The Arsacids and related clans of the Aparni learned to appreciate Hellenistic culture. The ideology of the Arsacids would be composed of three traditions connecting nomadic, Greek and Achaemenid elements (Koshelenko, Pilipko 1994; Olbrycht 1997).

Under Mithradates I (ca. 170 – 138 B.C.), Parthia became a major power in Iran and Central Asia. In the east, Mithradates I invaded the Graeco-Bactrian kingdom and annexed some regions including Margiana. In the meantime, the attacks of the Hsiung-nu against the Yüeh-chih set in motion many nomad tribes of Central Asia. The Yüeh-chih migration forced some tribes to move into the territory held by the Arsacids. As a result, two Parthian kings lost their lives in the

encounters against the Sakas and the Tocharoi. The Saka tribes overran and plundered eastern Iranian provinces and exacted tribute from Parthia. The situation was finally redressed under Mithradates II (123 – 87 B.C.) who several times fought successfully with the Scythians and avenged the previous Parthian defeats. He was also succeeded in subduing the areas of Western Bactria and the middle course of the Amudarya. The Sakas in Drangiana (Sakastane) were brought under Arsacid suzerainty. The dominant position in the western regions of Central Asia belonged ever since for two centuries to the Arsacid Empire. Diplomatic and trade relations were established between Parthia and China after Mithradates II pacified the nomads. Chinese historical annals (the *Shih-chih*, *Han-shu*, and *Hou-Han shu*) considered Parthia (An-hsi) as a major power in the west.

In the history of the Parthian kingdom the 1st century B.C. was the period of significant political, economic and cultural development. Arsacid influence touched on the affairs of many peoples of Central Asia and eastern Iran. This may be surmised from written and most importantly, numismatic sources (Olbrycht 1998b). The nomads often responded readily to calls for assistance from Arsacid kings engaged in internal struggles. Sinatruces regained his kingdom with the assistance of the Sacaraucae (his royal tiara had details of obviously nomadic origin, e. g. a string of deer, cf. Olbrycht 1997). We hear that Phraates IV fled to the "Scythians" when a rebellious ruler called Tiridates entered Ctesiphon. Such friendly relations sometimes were strengthened by bonds of marriage. It should be noted that the issues of the Arsacids whose close contacts to the eastern nomads are reflected in written sources (Sinatruces and his son Phraates III as well as Phraates IV) gained currency among peoples living in Bactria and eastern Iran and were imitated there. The city of Merv enjoyed an exceptional importance in the Great Silk Roads trade and was for the Arsacids a key to control the adjoining areas of Central Asia.

In the 1st century A.D., there are many episodes which connected the Parthians with the peoples of the steppe. With Artabanus II (ca. A.D. 10 – 40), who came from the northeast of Iran and was related to the Dahae, a new branch of the Arsacids was placed on the throne. We are told of Artabanus' victories against his neighbours in the east (Tac. *Ann.* 2.31). When the position of Artabanus II in the kingdom was shaken through a revolt he took shelter with tribes east of the Caspian as well as received help in the Parthian heartland before he was restored to kingship. After Artabanus II, Gotarzes II, supported by the Hyrcanians and the Dahae, was opposed by Vardanes I. It was under Vologases I (A.D. 51 – 79) when the Arsacid authority in eastern Iran and Central Asia was partially shaken and the Parthians lost control of some important areas. The Dahae, Alans and the some Saka groupings devastated northern Iran. Further in the east, the Kushans, who had consolidated their power under a series of capable kings, became from the 70s of the 1st century A.D. the major rivals of the Parthians. Ch'iu-chiu-ch'üeh, being identified as Kujula Kadphises, united the clans of the Yüeh-chih and invaded An-hsi/Parthia. The Arsacids lost control over western Bactria and some adjoining areas.

From this brief sketch it must be evident that the Arsacids whose origins were nomadic succeeded in creating and establishing of a mighty empire. The Arsacid kingdom which, in fact, blocked Roman eastward progress (Olbrycht 1998a), maintained closely related to the people of Central Asia and eastern Iran. The kinship of the Parthians and of the nomads as reflected in the similarity of customs, manners, dress, and the way of life, is testified by many ancient authors (cf. Strabo 11.9.2; Mela 3.33; Plin. *NH* 6.29: Iust. 41.1-3). The nomadic tradition defined, in fact, the social structure of the Arsacid kingdom as well as the social composition of the armed forces. Moreover, it influenced Parthian military practices (Никоноров 1987).

It must be borne in mind that the relationship between the soil and the steppe in northeastern Iran and Central Asia was not always one of hostility and invasions. The Parthians

often made use of the eastern nomads by recruiting them in their armies and being supported by Central Asian nomadic clans in internal struggles. The Arsacids, although of nomadic origin (or maybe just therefore), enabled to create a successful socio-economic system. For all these reasons, the significance of the Arsacid kingdom as being closely related to the nomadic peoples of the Eurasian steppe expanses and playing an important part in the history of Central Asia should be estimated amongst scholars.

Bibliography

Мандельштам А. М. 1963. Некоторые новые данные о памятниках кочевого населения Южного Туркменистана в античную эпоху // Известия АН Туркменской ССР. СОН. № 2. Ашхабад: 27-33.

Мандельштам А. М. 1971. Мешрепитахтинский могильник // КСИА АН СССР. Вып. 128. М.: 66-72.

Марущенко А. А. 1959. Курганные погребения сарматского времени в подгорной полосе Южного Туркменистана // Труды Института истории, археологии и этнографии АН Туркменской ССР. Т. 5. Ашхабад: 110-122.

Никоноров В. П. 1987. Вооружение и военное дело в Парфии: АКД. Л.

Никоноров В. П. 1992. О структуре воинского сословия в Парфянском государстве // Мерв в древней и средневековой истории Востока. III: Мерв и парфянская эпоха. Ашгабат: 18-20.

Košelenko G. A. 1980. Les cavaliers parthes. Aspects de la structure sociale de la Parthie // Annales littéraires de l'Université de Basançon. 251. Paris: 177-199.

Koshelenko G. A., Pilipko V. N. 1994: Parthia // History of Civilization of Central Asia. Vol. II: The Development of Sedentary and Nomadic Civilization: 700 B.C. to A.D. 250. Paris: 131-150, 522-523.

Olbrycht M. J. 1997. Parthian King's Tiara – Numismatic Evidence and Some Aspects of Arsacid Political Ideology // Notae Numismaticae. T. 2. Kraków: 27-65.

Olbrycht M. J. 1998a. Das Arsakidenreich zwischen der mediterranen Welt und Innerasien. Bemerkungen zur politischen Strategie der Arsakiden von Vologases I. bis zum Herrschaftsantritt des Vologases III. (50 – 147 n. Chr.) // Ancient Iran and the Mediterranean World. Kraków 1998: 113-159.

Olbrycht M. J. 1998b. Die Kultur der Steppengebiete und die Beziehungen zwischen Nomaden und der sesshaften Bevölkerung (Der Arsakidische Iran und die Nomadenvölker) // Das Partherreich und seine Zeugnisse. Stuttgart: 11-43.

Olbrycht M. J. 1998c. Parthia et ultiores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen. München.

Rostovtzeff M. 1936. The Sarmatae and Parthians // The Cambridge Ancient History. Vol. XI. Cambridge: 91-130.

Wolski J. 1993. L'Empire des Arsacides. Lovanii.

THE ORIGINS OF CENTRAL ASIAN CITIES:
INVESTIGATIONS INTO THE CONTINUITY OF
URBAN LAYOUTS, FORMAL SPACES AND STRUCTURE

In the region of Central Asia, the 14th and 15th centuries have been universally acknowledged as a period of unprecedented developments in city-building and urbanism – initiated first by the Timurids and then sustained by the Shaybanids till the early 18th century. Regarded as the first dynasty to initiate an ambitious program of building and artistic production in the Central Asia after the Mongol destruction; the 'fountainhead' of the Timurids is universally acknowledged as Timur himself. However, few aspects have shed light on the sources of Timurid ideas themselves, and how these were combined and modified to produce a particular kind of architecture and urban space. Recent research reveals that the Timurid city did not in fact develop in isolation, as was previously believed, but that it was the culmination of an entire set of developments initiated several centuries before in Central Asia. The urban model displayed in the four Timurid urban centers at Samarqand, Bukhara, Shahr-i-Sabz and Herat, is therefore based on an extremely complex history and chronology of developments.

On a first level therefore, this paper attempts to piece together the diverse influences which gave rise to the physical structure of the Central Asian city in the 14th century and contributed to its characteristics. Other than certain influences which may have been incorporated due to cultural proximities, and therefore the obvious borrowing from neighboring cities and kingdoms; there were understandably certain other, more perceptible modes of interaction. These included trade, commerce, travel, and foremost of all craftsmen including architects who moved from one place to another, in search of employment and commissions. Finally, it must also be remembered that many of the most impressive urban centers of the 14th century, were actually revisions or modification of pre-existing cities. Therefore a high probability of urban spaces and street patterns being retained from previous settlements existed. Of course, other than these somewhat circumstantial factors; the 'image of the city', or the kind of urban environment created over time, was to a large extent encouraged by the whims and fancies of its ruling elite, and the specific metaphors they wished to convey in the architecture and layout of their cities. Sultans such as Timur, occasionally incorporated urban and architectural features, and even parts of building, and of conquered cities within their capitals, as visual references to a past they wished to refer to. In some sense, while all these processes accounted for a 'historical accretion' of urban developments, others events, such as war and destruction, completely annihilated certain cities. The Mongol and Timurid onslaughts destroyed a number of urban environments to an extent where not even their sites and locations are known today. Occasionally, fresh settlements sprung forth on completely decimated sites, in ways remarkably varied from the past.

This stress on the examination of "historical accretion" of urban developments also introduces a methodological issue, which determines how such an analysis be done, and what criteria be employed for a thorough research on urban foundations in the Central Asian region. On a first level, therefore, since cities in this region retained or incorporated pre-existing urban patterns and schema to varying degrees of fidelity – such as the persistence of the grid-iron street network, the cross-axial main streets, the location of the citadel and inner walls, the main mosque, institutions and public spaces – it becomes important to view information over a broader time period. This is to account for the probability of selective incorporation of features from

various cultures, other than necessarily those in immediate chronological sequence. Seven cultures or influences appear to have been important in this respect, which were the Hellenistic, the Parthian/Sassanian, the Chinese, the Kushan, the Indian, the Islamic and finally the Mongol – extending from the 2nd century BC to the 14th century AD, when the next set of momentous urban changes occurred in the Central Asian city. This paper therefore commences by preparing a base on the physical characteristics of the Timurid city, and then as a second step selecting particular features which suggest a cultural borrowing and continuity. At a third level, it searches for the origins of these features, phenomena and urban patterns in the different cultures which inhabited the region of Central Asia.

At a final level, this paper investigates if the four main Timurid urban centers listed above, by virtue of their common roots, shared a common set of characteristics inherent in their structure and layout. Could the notion of a universal Timurid Urban Model, perceived in terms of the precise definitions of formal and spatial properties of urban structure, be then argued, beginning in the Mongol encampment-capital at Qarakorum, Khubilai Khan's Dadu, and Oljeytu's Sultaniyya; and reaching its ultimate level of sophistication and complexity in the development of the cities of Samarqand, Shahr-i-Sabz, Herat and Bukhara, initiated under the Timurids between 1360 and 1500 AD. Even after the demise of the Timurids themselves, it retained popularity in large parts of Central Asia, Transoxiana, and was used by the Uzbeks and the Shaybanids who were to later appropriate the same territories. Thereafter, in the first quarter of the 16th century, the model seems to have traveled to the India along with the southward migrating Timurids, to appear in the numerous urban centers of Mughal India. Interestingly enough, since little more than a full century actually separated the last of the real Timurids from the newly-established Mughal dynasty in the Indian subcontinent, certain obvious questions appear at this stage. Could the notion of the model have really preserved so long? Could a typical Timurid city be therefore defined? Is a monolithic construction based on these characteristics possible in order to define the notion of a "type"?

S. Stride (Tashkent)

ARCHAEOLOGICAL DATA MANAGEMENT IN CENTRAL ASIA

1. *Chaos*. Most archaeologists working in Central Asia are aware of the chaotic state of data management and the difficulties of obtaining specific information on a given theme or area. This problem was already clear at the end of the Soviet Union and was highlighted at the time by V. Trifonov and P. Dolukhanov (1992: 64–65): "Without [a data management] system Soviet archaeology runs the risk of chaotic disorganization" "Data collection becomes a profession in itself and mere possession of information is seen as a major scientific achievement". Very few researchers seem to have taken this warning into account and as J.-C. Gardin points out, seeing that the number of archaeologists is not -and will not- increase as fast as the number of publications the situation can only get worse (Gardin 1998: 169).

Since independence the solution reached by the various teams working in Central Asia has usually been to publish in increasingly obscure journals and languages (of course exceptions do exist such as *Silk Road Art and Archaeology*, *The Bulletin of Asia Institute*, the new series of *IMKU* being published by the Institute of Archaeology of the Uzbekistan Academy of Sciences, etc.). The result is that the latest discoveries in the Surkhan Darya region are not only being published in Russian, Uzbek, Japanese, German, French and English but are being published in

journals, abstracts of papers [tezisy dokladov] and books of whose existence only a small part of the scientific community is aware. These problems are compounded by bad translations (I have come across a number of cases where the translation of an article was in contradiction with the original version), lack of diffusion (tezisy dokladov published in Termez is sometimes unavailable even in Tashkent, not to mention Paris) and especially the lack of works of reference (such as bibliographies, etc.).

Seeing that over 2500 articles concern the archaeology of the Surkhan Darya region (Southern Uzbekistan) one is justified in questioning the need to publish yet another article (especially if it is going to be written in a little used language, with a print run of less than 50 and badly distributed). I am of course questioning the scientific need, not the “curriculum vitae need” which remains one of the greatest incentives for publishing more than necessary and not necessarily in major journals or languages (... why am I publishing this article in this language and in this publication?; will anyone read it?; or is it just another piece of scientific(?) flotsam and jetsam, a future line a CV proving the ability of the candidate to tackle contemporary problems affecting archaeology?...).

2. *Solutions?* In an ideal world, one could imagine a GIS (Geographical Information System) of Central Asia, linking up all the archaeological sites with their plans and datations, a complete bibliography, and various other databases on materials such as coins, pottery, terracotta, wall-painting, etc. This would enable researchers to rapidly obtain a given piece of information and to link it up with other data (for example a precise map, a bibliography, etc.). It would be open to future additions in order to integrate new information from recent discoveries and to add new databases, and would enable corrections to be made and different points of view to be expressed.

However, since not even the Japanese have been able to establish such a system it seems necessary to limit our ambitions to less grandiose projects (see for example Oikawa 1992). In the Surkhan Darya region an attempt is being made to establish an indexed bibliography and gazetteer of the archaeological sites (similar to that of W. Ball of Afghanistan). These two “databases” could of course be published independently, however the idea is to integrate them, along with a precise map of the region, into a GIS. This will enable the user to obtain for example: a map of the sites of the Kushan period (or more precisely the sites that are believed to be Kushan by most researchers in 1999), a list of the sites of more than 10 hectares, a bibliography on a given site, etc.

The plan is to produce a simple GIS which can with time be completed and added to by other researchers. Ideally (and unlike a traditional publication) it will thus turn into a collective ongoing project which will serve both as a reference point and a stimulant for further research.

Of course none of this will enable the discovery of new inscriptions, sites or even sherds, but is it really useful to discover more when we seem to be unable to manage what is supposed to be already know? Indeed, I suspect that there are more discoveries to be made in the pile of knowledge which we are accumulating than in many a tepe...

Bibliography

Gardin J.-C. 1998. *Prospections archéologiques en Bactriane orientale (1974 – 1978)*. Vol. 3. Description des sites et notes de synthèse. Paris.

Oikawa A. 1992. *Japanese archaeological site databases and data visualization // Archaeology and the Information Age*. London.

Trifonov V., Dolukhanov P. 1992. Archaeological data in the USSR – collection, storage and exploration: has IT a role? // Archaeology and the Information Age. London.

III. РАЗВИТИЕ КОЧЕВЫХ ОБЩЕСТВ И ВОПРОСЫ ТРАДИЦИЙ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Н. А. Боковенко (Санкт-Петербург)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСАДНИЧЕСТВА И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВЕРХОВОЙ СБРУИ У ДРЕВНИХ НОМАДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Наиболее благоприятные физико-географические условия для развития подвижных форм скотоводства (то есть круглогодичного выпаса) находятся на территории от Урала до Монголии, тогда как снежные степи Восточной Европы требовали стойлового содержания скота зимой (Руденко 1961).

Попытки некоторых исследователей (Зайберт, Даниленко, Горбунов 1990; Anthony, Brown 1991; Anthony 1994 и др.) интерпретировать некоторые костяные изделия из неолитических памятников Восточной Европы и Северного Казахстана (Дериевка, Тюбек, Ботай и др.) как псалии верхового коня и соответственно выводить отсюда всадничество, представляется не совсем убедительным по ряду археологических оснований (Боковенко 1998; Избицер, Трифонов 1997), а также отсутствием надежных остеологических подтверждений (Levine 1999; Косинцев 1999).

Лишь в конце эпохи бронзы спорадически степные культуры осваивают коня под верховую езду (видимо пастухами), о чем свидетельствуют находки костяных стержневых псалиев различных модификаций и немногочисленные наскальные изображения (Боковенко 1979; 1986). В самом начале I тыс. до н.э. в связи со значительным прогрессом в коневодстве и изготовлением из бронзы более надежных уздечных наборов большими сериями, на первое место в обществе ранних кочевников (или культурах скифского типа) выходит всадник (кентавр).

Анализ археологического материала позволяет выявить ряд этапов формирования верховой узды у кочевников Центральной Азии:

Древнейший этап развития конского снаряжения, относящийся к эпохе бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.). В это время зафиксирована лишь примитивная конская узда, состоящая сначала из пластинчатых псалиев с шипами на одной из сторон, а затем из стержневидных роговых трехдырчатых псалиев и ременных удил (Кузьмина 1994). Эти типы узды не позволяли достаточно надежно управлять конем, и, видимо, в основном использовались как упряжные, хотя эпизодическое их использование в качестве верховых (например, у пастухов) не исключено. Этот тип узды был широко распространен в степях Евразии (от Венгрии до Монголии). Для данного периода известны захоронения с колесницами и формирование кочевой аристократии.

“Скрытый” этап (конец X – IX вв. до н.э.) – освоение коня под верх и соответственно, в связи с новыми представлениями о переходе в мир иной, появление погребений на уровне древнего горизонта с конями. Происходит формирование всаднического престижного комплекса (соответствующего набора вооружения и конского снаряжения из бронзы, удобного костюма), для которого характерны стержневые роговые псалии и ременные удила.

Аржанский этап (IX – начало VII вв. до н. э.) культуры ранних кочевников (или культуры скифского типа) характеризуется массовым изготовлением основных деталей узды из бронзы. В это время происходит значительное качественное ее изменение. Сначала бронзовые псалии имитируют роговые, но затем металл позволяет создавать принципиально новые формы. В это время наблюдается наибольшая вариация бронзовых удил (семь типов) и псалиев (одиннадцать типов) за весь период кочевничества. В удилах в основном изменяется форма и количество внешних окончаний. Преобладают стремявидные окончания удил в Казахстане и Саяно-Алтае (Акишев 1973; Боковенко 1986; Вишневская 1973; Марсадолов 1985; 1998; Итина, Яблонский 1997; Кирюшин, Тишкин 1997). Псалии, как правило, трехдырчатые самых разных и сложных типов. Конструктивная особенность узды этого периода состоит в том, что псалии крепились к удилам с помощью специальных ремешков внахлест. Для Саяно-Алтая по имеющимся материалам из раннескифских памятников фиксируется не менее тридцати семи различных вариантов уздечек, что свидетельствует об интенсивном поиске кочевниками наиболее надежных и удобных форм конского снаряжения (Боковенко 1986). Модификация всей сбруи сочетается с локализацией отдельных типов удил и псалиев (можно говорить о минусинских, тувинских, алтайских типах) и тиражированием наиболее “любимых” и “отмирании” устаревших. Нагрудные украшения коней представлены как примитивными роговыми бляхами, так и великолепной бронзовой бляхой в виде диска с прекрасным барельефным изображением свернутого в кольцо кошачьего хищника (снежного барса) из кургана Аржан. Благодаря мобильности кочевых обществ и динамичности межкультурных контактов, новые типы в сбруе быстро распространяются и вступают в “борьбу”, с традиционными местными формами, наиболее несовершенные из которых постепенно “отмирают”.

В конце VII – V вв. до н. э. начинается новый этап (классический), характеризующийся широчайшим распространением (от Монголии до Венгрии) принципиально новой конструкции узды: псалии не наглухо крепятся к удилам с помощью ремешков, как это было ранее, а вставляются в расширенные окончания однокольчатых удил, причем псалии несколько варьируют по форме и становятся уже двухдырчатыми. Это в значительной степени улучшает управление конем, так как эта конструкция узды с небольшими изменениями просуществовала вплоть до средневековья. Другие типы удил и трехдырчатые псалии в это время практически вышли из употребления. Формируется сбруя, появляются простые типы седел (Пазырык), но металлических стремян еще нет, хотя, возможно, существовали стремена, сделанные из ремней.

С развитием всадничества меняется облик многих степных культур, оптимальные формы ведения хозяйства (вертикальное или круглогодичное кочевание комплексных стад, способных добывать корм зимой из-под снега), создаются удобные легко переносимые жилища и утварь, набор специального всаднического вооружения и т. п. Эти элементы достаточно быстро распространились в степных культурах от Урала до Монголии, поскольку генетически связаны с предшествующими культурами андроновского типа эпохи бронзы. Именно в этом регионе фиксируется разведение различных пород лошадей (в том числе и высокоаллюрных) и овец (Витт, Цалкин и др.), дальнейшее развитие интеграции трех культурных блоков (скотоводческого, земледельческого и ремесленного), создание институтов вождей; военно-жреческой аристократии и других социальных слоев. Эти сдвиги в обществе кочевников требовали создания сложных религиозных систем, обоснования и закрепления социального статуса через погребальный обряд, определенную знаковую символику, искусство и мифо-

эпическую традицию (Аржан, Бешатыр, Пазырык, Салбык, Иссык и др.) Выделяются особые сакральные центры – Минусинская котловина, Иссык-Куль и др. (Мачинский 1989).

Направление культурных связей самое разнообразное: на север – с таежными племенами, и на юг – с городскими цивилизациями Средней Азии, Индии и Китая. Однако преобладающими были культурные импульсы и миграции на запад в конце II – начале I тыс. до н. э. (Тереножкин 1976; Ильинская, Тереножкин 1983; Клочко, Мурзин 1987; Боковенко 1989 и др.) Типологический анализ основных компонентов культуры номадов показывает, что это сложный поэтапный процесс продвижения людей, идей, вещей – сначала скифов/саков, массагетов, сарматов, затем хунну/гуннов и кочевников средневековья, движение которых в значительной степени не только изменили этнокультурную ситуацию в Азии и Европе, но и создали предпосылки для налаженных торговых путей между этими регионами.

А. Ю. Борисенко, К. Ш. Табалдиев, Ю. С. Худяков (Новосибирск и Бишкек)
**ОСОБЕННОСТИ ПОМИНАЛЬНОЙ И ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ У
ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ ТЮРОК В СРЕДНЕЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

Создание в середине I тыс. н. э. обширного кочевого государства I Великого Тюркского каганата способствовало широкому распространению многих элементов древнетюркской культуры по территории степного пояса Евразии. С расширением границ каганата древнетюркские кочевники расселяются по обширным пространствам степной Азии. Во второй половине I тыс. н. э. погребальные и поминальные памятники древних тюрок, погребения с конем и оградки с каменными изваяниями и *балбалами* распространяются по территории Алтая, Тувы, Минусы, Монголии, Восточного Туркестана, Казахстана, Кыргызстана. Отдельные памятники встречаются в Приуралье. Однако уже в начале VII в. единый тюркский каганат распался на два государства – Западнотюркский и Восточнотюркский каганаты. Между ними возникло острое соперничество в борьбе за гегемонию в Центральной Азии. На протяжении существования Западнотюркского каганата между западными и восточными тюрками сохранялись враждебные отношения. Это противостояние продолжалось и в период существования II Восточнотюркского и Тюркешского каганатов до середины VIII в. Длительное военно-политическое противостояние не могло не отразиться на особенностях этнического и культурного развития. Однако при характеристике поминальной и погребальной обрядности западных тюрок исследователи не выделяют характерных черт, которые были бы присущи именно народу десяти стрел, нередко оперируя материалами из Монголии и Саяно-Алтая. Действительно, основные элементы погребальной и поминальной обрядности восточных и западных тюрок во многом схожи. Это объясняется их этническим и культурным родством, формированием общих черт погребального и поминального культа в период существования I Тюркского каганата, когда все древнетюркские племена находились в составе единого государства. К числу таких общих черт можно отнести: погребение умерших в сопровождении коня под кольцевыми или округлыми каменными насыпями; наличие в могиле стенки из камней, отделяющей человека от коня, наличие подбоев; характерную позу, в которой находится покойный; состав сопровождающего инвентаря и др. Однако в погребальной обрядности имеются

особенности для каждого региона. В Притяньшанье нередко конь помещался ниже того уровня, на котором лежал умерший, что не характерно для Саяно-Алтая и Монголии. Есть существенные различия и в составе инвентаря, его размещении, облике вещей.

Еще больше различий наблюдается в поминальной обрядности. На территории Западнотюркского каганата не зафиксированы характерные для знатных тюрок памятники с земляными валами, рвами, платформой, стелой на постаменте-черепахе, изваяниями людей и животных. Правда, известна одна скульптура черепахи, но это говорит только о том, что хотя такие объекты и воздвигались, однако они не получили достаточно широкого распространения. Рядовые квадратные оградки из каменных плит и валунов с ямкой в центре, сооружавшиеся в честь умерших, у западных и восточных тюрок достаточно схожи. Они нередко сооружались в один или несколько рядов в непосредственной близости от курганов с погребениями. Рядом с оградками устанавливались изваяния. У восточных тюрок они ставились с восточной стороны, лицом на восток, и от изваяния или стелы на восток шел ряд каменных столбиков-балбалов. У западных тюрок изваяния ставились не только с восточной стороны лицом на восток, но и с западной, лицом на запад. *Балбалы* для поминальных комплексов западных тюрок не характерны. Поминальные памятники восточных тюрок ставились в честь воинов. У них нет женских изваяний, исключая многофигурные комплексы знати. На территории Притяньшанья при поминальных оградках встречаются изваяния женщин в трехрогих головных уборах. Вероятно, они относятся ко времени трансформации поминальной обрядности в культ родовых предков в эпоху существования Тюркешского каганата. Существенные отличия у изваяний наблюдаются в иконографии и наборе реалий. В западном ареале встречаются нетипичные изваяния с птицей, зеркалом, музыкальным инструменте в руках. Представляется, что поминальная и погребальная обрядность западных тюрок оказала влияние на формирование погребально-поминального канона кыпчаков периода развитого средневековья.

***Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 98-01-00338).**

В. Ю. Зуев (Санкт-Петербург)

САРМАТСКИЙ ВОТИВНЫЙ КИНЖАЛ ИЗ ПЕРВОГО КУРГАНА У ДЕР. ПРОХОРОВКА

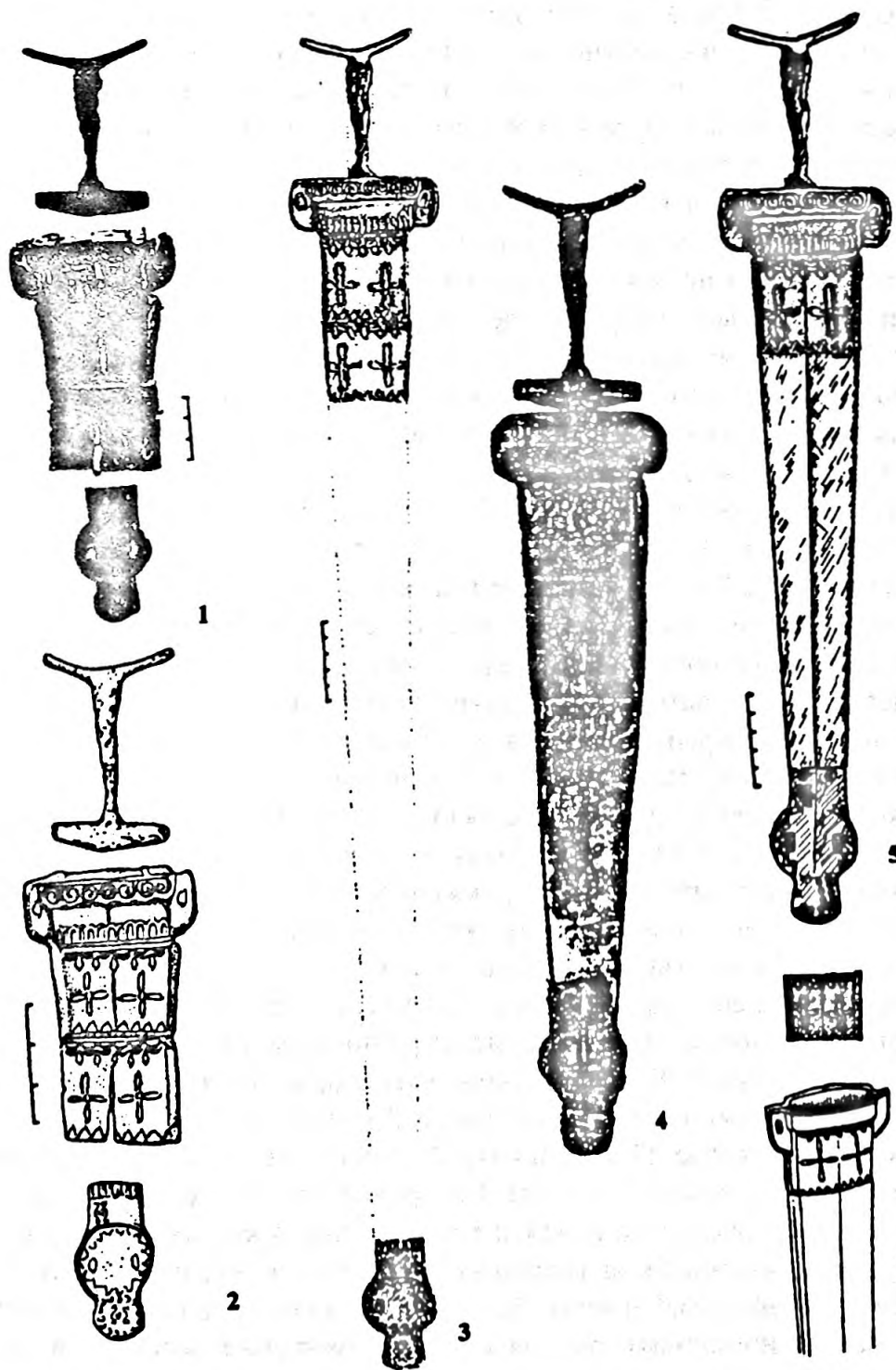
В истории вооружения ранних кочевников Евразии особое место занимают мечи и кинжалы прохоровского типа, являющиеся своего рода археологическим символом сарматской эпохи. В типологическом ряду эволюции клинкового оружия они приходят на смену массивным и небольшим по размерам скифским акинакам, резко отличаясь от них своими простыми, с конструктивной точки зрения, но очень изящными формами, выработка которых была явно сопряжена с радикальными изменениями военного дела кочевников в последние века I тыс. до н. э. Долгое время в литературе господствовала точка зрения об эволюционном характере формирования клинкового оружия прохоровского типа, которое было принято выводить из скифских форм через посредство так называемых мечей и кинжалов переходного типа, появление которых ознаменовало последний период скифской эпохи. Однако рассмотрение реального археологического материала показывает,

что между так называемыми “переходными” и прохоровскими типами мечей и кинжалов имеется значительная хронологическая лакуна, существование которой невольно приводит к заключению о независимом характере существования этих форм в истории военного дела ранних кочевников Евразии (Зуев 1998а). Поскольку в этих условиях вопрос о генезисе прохоровского оружия приобретает большую актуальность, представляется не лишним обратиться вновь к тому материалу, который послужил когда-то основанием для выделения клинков подобного типа в самостоятельную категорию мечей и кинжалов. Я имею в виду находки такого оружия в курганах у дер. Прохоровка, которые дали свое имя археологической культуре так называемых “ранних” сарматов. На примере одного из найденных в этом могильнике клинков (точнее, его вотива), я хотел бы продемонстрировать перспективу такого подхода, позволяющего уточнить многие нюансы нашего восприятия эталонных находок этого хрестоматийного памятника.

В 1911 г. при случайных раскопках одного из курганов у дер. Прохоровка в Оренбуржье крестьянами были найдены в погребении воина фрагменты золотого оклада деревянных ножен и железная рукоять клинка, которые, наряду с другими предметами, конфискованными полицией, были отправлены в разрозненном виде в музей Оренбургской ученой архивной комиссии. Летом того года из погребения в кургане № 1 в музей попали две пластины без украшений, служившие накладками на продольную часть ножен с их внешней стороны, а также золотая пластина с геометрическим орнаментом, украшавшая бутероль ножен и проемы для ремней, которыми ножны крепились к ноге. В 1916 г. при доследовании этого кургана С. И. Руденко нашел еще две пластины. В отчете о раскопках он писал: “на самом дне были найдены... две части золотого оклада ножен меча, не взятые кладоискателями при их раскопках. Эти золотые пластины были нетронуты и лежали *in situ*. ...Пластины лежали сложенными вдвое, так что ножны были обложены золотыми листками с обеих сторон” (Ростовцев 1918: 6). Наблюдения Руденко указывают на то, что найденные им золотые пластины, орнаментированные сложным геометрическим узором, выполненным в технике филигрании и перегородчатой многоцветной эмали, крепились вокруг устья ножен с двух сторон (рис. 6).

В 1918 г. академик М. И. Ростовцев издал все находки из курганов у дер. Прохоровка. При этом он оговорил специально, что издает эти материалы только по фотографиям в условиях революционной разрухи, не имея возможности проверить свои наблюдения *de visu*, поскольку находки из курганов он лично видел лишь однажды во время своего визита в Оренбург в 1915 г. (Ростовцев 1918: II). Реконструкцию общего вида клинкового оружия из первого прохоровского кургана Ростовцев попросил выполнить свою ученицу по Бестужевским курсам Н. А. Энман. Ни разу не видя оригиналы и работая только с фотографиями железной рукояти, двух золотых пластин, найденных С. И. Руденко, и золотой обкладки бутероли (рис. 1), Н. А. Энман, расположила все эти предметы так, как они были разложены для фотографирования, что, в случае с обкладками устья ножен, противоречило указаниям Руденко. Энман произвела на основе промеров ширины пластин реконструкцию длины клинка, в результате чего получилось, что в первом кургане у дер. Прохоровка погребенного сопровождал железный меч длиной около 60 см (рис. 3). М. И. Ростовцев отметил в издании 1918 г. некоторые неточности реконструкции меча Н. А. Энман (Ростовцев 1918: 16, прим. 1), но в целом принял ее вариант, который дал ему основание исключить из состава инвентаря этого погребения длинный железный меч, размеры которого не совпадали с реконструкцией ножен Энман. Он предположил, что в первом кургане был найден другой меч, от которого сохранилась лишь рукоять (Ростовцев 1918: 16, прим. 2), а меч, указанный в описях музея, как

найденный в кургане 1, Ростовцев произвольно перенес в состав инвентаря кургана 3, хотя в показаниях находчиков было ясно сказано, что железные мечи из этого кургана из-за



1. Фотография 1916 г. трех золотых пластин и железной рукояти кинжала (по: Ростовцев 1918); 2. прорисовка той же фотографии с ошибками (по: Мошкова 1963); 3. реконструкция длинного меча Н. А. Энман (по: Ростовцев 1918); 4. фотография 1917 г. полного комплекта золотых пластин и железной рукояти кинжала (по: Попов 1982); 5. графическая реконструкция общего вида votивного кинжала; 6. одна из золотых пластин и графическая реконструкция оборотной стороны устья деревянных ножен

сильной проржавленности целиком разрушились в момент находки. В результате этих манипуляций с мечами идея о том, что рассматриваемые пластины в первом прохоровском кургане принадлежали мечу средних размеров, вложенном в деревянные ножны с золотым окладом, прочно утвердилась в литературе и ни у кого до сих пор не вызвала сомнений (рис. 2).

Визуальный осмотр всех сохранившихся до наших дней предметов из коллекции находок в прохоровских курганах, произведенный мною осенью 1997 г. в Оренбурге, позволил поставить под сомнение многие реконструкции и распределение материалов по комплексам в издании 1918 г (Зуев 1998б). В случае с золотыми деталями обкладок деревянных ножен из первого кургана Н. А. Энман и М. И. Ростовцевым были допущены серьезные ошибки, поскольку при реконструкции ими не были учтены неорнаментированные золотые пластины, украшавшие продольную часть ножен. В архиве Оренбургского музея мне удалось разыскать старую фотографию, на которой запечатлены все детали золотого оклада ножен из первого прохоровского кургана. Вероятнее всего, в 1917 г. все эти детали были собраны воедино и сфотографированы почти таким же образом, каким они крепились на ножнах (рис. 4). Исключение составляет лишь обратная пластина с устья ножен, которую авторы реконструкции разместили посередине ножен, поверх продольных золотых пластин, что опять-таки противоречит наблюдениям С. И. Руденко. Фотография собранного таким образом оклада осталась неизвестной М. И. Ростовцеву, да и опубликована она была лишь спустя почти семьдесят лет без какого-либо комментария С. А. Поповым в его популярной книге об археологии Оренбуржья (Попов 1982: 70). В настоящее время в Оренбургском краеведческом музее сохранились лишь две золотые пластины с устья ножен и золотая накладка с их бутероли. Существование дореволюционной фотографии, зафиксировавшей все детали золотого оклада ножен, делают несостоятельной графическую реконструкцию ножен длинного меча Н. А. Энман, которую воспроизвел в своей книге 1918 г. М. И. Ростовцев. Судя по фотографии и размерам сохранившихся деталей, в этом кургане были найдены золотые обкладки деревянных ножен короткого набедренного кинжала длиной 35 см (рис. 5).

В издании 1918 г. М. И. Ростовцев никак не комментирует тот факт, что в первом кургане крестьянами была найдена лишь рукоять кинжала, обломанного в древности у основания перекрестья. Детальный осмотр этой рукояти позволяет сделать некоторые наблюдения, весьма любопытные с точки зрения судьбы этого кинжала. Остатки листового золота у самого ее основания убедительно свидетельствуют, что в древности вся рукоять была покрыта золотом. Это покрытие, судя по всему, было аналогичным золотой отделке рукоятей кинжалов из Красногорского кургана, из погребения № 6 в кургане 7 могильника Верхнее Погромное, из погребения № 3 в кургане 7 могильника Белокаменка II, из погребения № 4 в кургане 27 могильника Жутово, а также кинжала из коллекции Щукина, хранящегося в Государственном Историческом музее. Но еще в древности золотой оклад был грубо ободран с рукояти прохоровского кинжала. Видимо в процессе этой операции рукоять кинжала была закручена с оттяжкой винтом на три полных оборота вокруг своей оси, для чего требовалась большая физическая сила. Произвести данные действия было возможно только при условии нахождения клинка в неподвижном состоянии. Причем, сила, с которой рукоять кинжала проворачивалась вокруг себя, была столь велика, что лезвие клинка могло легко переломиться именно у основания перекрестья. След излома клинка окислился равномерно со всей рукоятью, что исключает выполнение всех этих действий находчиками кинжала в 1911 г. Следовательно, эта

рукоять была вложена еще в древности в ножны кинжала без клинка, образуя погребальный вотив, который лишь символизировал наличие набедренного кинжала в паноплии погребенного воина.

Реконструированный подобным образом вотив набедренного кинжала хорошо согласуется с большой серией находок предметов вооружения прохоровского типа и их иконографией. Говоря о последней, я имею в виду десятки изображений набедренных кинжалов прохоровского типа на скульптурах воинов с плато Устюрт (Zuev, Ismagilov 1994; Zuev, Ismagil 1997), а также на бронзовых фигурках Сапоговского клада, хранящегося в Государственном Эрмитаже (Зуев 1993). Все приведенные здесь параллели прохоровскому вотиву позволяют уверенно датировать погребение в первом кургане у дер. Прохоровка рубежом II – I вв. до н. э. (Зуев 1998а) и дают основание вообще снять дату IV – III вв. до н. э. для мечей и кинжалов подобной формы.

Библиография

Зуев В. Ю. 1993. “Пляшущие человечки” Сапоговского клада // *Ad Polum*. Сборник статей в честь Л. П. Хлобыстина. СПб.: 95-102.

Зуев В. Ю. 1998а. К истории сарматской паноплии. Мечи и кинжалы прохоровского типа // *Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе*. СПб.: 143-150.

Зуев В. В. 1998б. Прохоровские курганы в контексте проблем хронологии раннесарматской (прохоровской) культуры // *Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского. К 90-летию со дня рождения*. СПб.: 26-29.

Мошкова М. Г. 1963. Памятники прохоровской культуры. М. (Археология СССР. САИ. Д 1-10).

Попов С. А. 1982. Тайны Пятимаров. Челябинск.

Ростовцев М. И. 1918. Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма. Петроград.

Zuev V., Ismagilov R. 1994. Ritual complexes with statues of horsemen in the Northwestern Ustyurt // *New archaeological discoveries in Asiatic Russia and Central Asia*. Sankt-Petersburg: 54–57.

Zuev V., Ismagil R. 1997. Frühsarmatische Steinstelen von Ustjurt und Mangyşlak, West-Kazachstan // *Eurasia Antiqua*. Bd. 2 (1996). Mainz: 397–404.

С. С. Миняев (Санкт-Петербург)

О НАСЛЕДИИ СЮННУ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Усиление в конце III в. до н. э. племен азиатских гуннов (сюнну или хунну), привело к образованию на востоке степного пояса мощного племенного объединения, власть которого распространялась на огромные пространства от Хуанхэ до Байкала и от Маньчжурии до Енисея. Сюннуские завоевания привели к крушению существовавших здесь ранее племенных союзов скифского времени, к интенсивному перемещению больших масс населения, к активному взаимодействию различных культурных традиций и

тем самым к существенной трансформации антропологического и культурного облика населения азиатских степей.

Общеизвестно культурное влияние сюнну на местное население завоеванных территорий. В Центральной Азии и Южной Сибири были восприняты прогрессивные для того времени формы сюннуских изделий, в первую очередь оружия, а также некоторые типы украшений. Эти процессы нашли отражение в инвентаре памятников II – I вв. до н. э. – поздних плиточных могилах, тесинских могилах, в ряде погребений на Саяно-Алтае. Именно в этот период складывается основа для формирования государств раннего средневековья, во многом определивших этническую ситуацию на востоке степного пояса и в новое время.

Через несколько столетий междоусобицы и ряд неблагоприятных природных факторов приводят к расколу сюннуского объединения. В I в. до н. э. – I в. н. э. сюнну терпят ряд поражений, среди которых особенно чувствительным было поражение от сяньби. Принято считать, что следствием этих событий был уход части сюнну за пределы Центральной Азии, а ряд исследователей видят в этом толчок, приведший к “Великому переселению народов” – длительному процессу миграций скотоводческих племен, в результате которого потомки сюнну под именем гуннов могли появиться в Европе.

Однако такая точка зрения основана на произвольном толковании сведений письменных источников. Ни в одном из них нет сообщений об уходе хотя бы части сюнну за пределы Центральной Азии, как это принято думать. Разгром в I в. н. э. отдельных сюннуских группировок приводил каждый раз к смерти или бегству их предводителей, о чем источники сообщают в неопределенных выражениях: “шаньюй бежал неизвестно куда... отошел на тысячу ли” и т. д. После наиболее крупного поражения от сяньби сюнну также остаются в Центральной Азии в составе сяньбийской “державы”. Именно с этого момента, как отмечено в “Хоуханьшу”, началось усиление сяньби.

Археологические следы прямой миграции сюнну в европейские степи также отсутствуют – имеющиеся материалы не дают оснований говорить о перемещении каких-либо сюннуских группировок из Центральной Азии. Напротив, к настоящему времени уже накоплен ряд фактов, указывающих на сосуществование в I тыс. н. э. сюнну и популяций с иными этнокультурными традициями.

Наиболее наглядно это положение иллюстрируется материалами раскопок поселений Дурены I и Дурены II. Находки в названных поселениях типичной сюннуской керамики вместе с керамикой раннего средневековья показывают, что население, знакомое с сюннускими культурными традициями, обитало здесь и в I тыс. н. э., сосуществуя с местными племенами. Не исключено, что для этих местных племен был характерен специфический погребальный обряд, не фиксируемый (или почти не фиксируемый) археологически. Поэтому, видимо, керамика специфических форм и орнамента, представленная в слоях поселения и отождествляемая с раннесредневековым населением, не встречается в каких-либо погребальных памятниках.

Стратиграфические данные, полученные на поселении Дурены II также указывают на сосуществование в это время сюнну и населения иной этнокультурной общности.

Отмеченная ситуация (сочетание сюннуской керамики и керамики эпохи средневековья) фиксируется и в других районах Центральной Азии, в частности в материалах уйгурских крепостей Тувы. Это обстоятельство открывает принципиально новые возможности для разработки проблемы генезиса племенных объединений раннего средневековья.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ СЮННУ ЗАБАЙКАЛЬЯ И ПОЗДНИХ СКИФОВ ТУВЫ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

Военная экспансия сюнну на западе Центральной Азии началась согласно “Хоуханьшу” и “Цяньханьшу” во II веке до н. э., когда в 177 г. до н. э. сюннуский шаньюй Маодунь нанес поражение юечжам и вытеснил их с мест первоначального обитания. Вслед за тем покидают свои “дома” и усунь, первоначальные кочевья которых предположительно были раскиданы на обширной территории к северу от Ганьсуйского “коридора” (Зуев 1960: 5-23; Крюков и др. 1983: 56-57). Традиционно считалось, что с этого времени, то есть II в. до н. э., культуры скифского типа полностью исчезают на Саяно-Алтайском нагорье и их сменяют новые этносы, связанные с притоком центрально-азиатских монголоидов. Тем не менее археологические исследования в Туве и Северо-западной Монголии свидетельствуют о том, что скифская культура здесь продолжает существовать во II и даже в I вв. до н. э., претерпевая в это время определенные, но не всегда значительные изменения. Основанием для пересмотра устоявшихся датировок ряда могильников и определенных погребений уюкско-саглынской культуры в Туве и Северо-западной Монголии являются выделенные хронологические индикаторы, то есть вещи непосредственно сюннуского происхождения или их копии, а также характерные предметы, не известные у сюнну, но встречающиеся вместе в одних и тех же комплексах. В соответствии с этими условиями было выбрано 13 индикаторов из срубов, каменных ящиков и склепов на могильниках Суглуг-Хем 1 и 2, Хайырыкан группа 4 и 5, Улангом и др. (см. рис. 1). Всего учтено 25 комплексов, содержащих не менее 500 различных артефактов, что позволяет синхронизировать между собой ряд других памятников, в которые не попали вещи сюннуского типа. Для сопоставления с памятниками сюнну Забайкалья используется материал Иволгинского некрополя и городища, Дырестуйского могильника, а также Косогольского клада.

Большая часть рассматриваемых комплексов уюкско-саглынской культуры синхронизируется по наличию в них ажурных пятиколычатых бляшек (рис. 1:1), часто в сочетании с вещами, характерными для культуры сюнну. На могильниках Суглуг-Хем 1 и 2 это костяные ложечковидные застёжки (рис. 1:3); миниатюрные модели бронзовых котелков-подвесок (рис. 1:4); втульчатые трехлопастные бронзовые наконечники стрел (рис. 1:5); трехлопастные железные наконечники стрел (рис. 1:8); прямоугольные массивные железные поясные пряжки или обоймы (рис. 1:12). Из числа этих индикаторов наиболее характерными являются миниатюрные котелки, встречающиеся как в погребениях могильников Суглуг-Хем и Хайыракан, так и в Косогольском кладе (рис. 1:4а), который датируется II – I вв. до н. э. (Дэвлет 1980: 14). Последний в свою очередь включает в себя вещи, характерные исключительно для культуры сюнну, такие как ажурные поясные пластины и бронзовые ложечковидные застёжки (рис. 1:2), имитации которых встречаются в Туве на могильнике Хайыракан склеп 5/1 (рис. 1:2а). В этом же комплексе есть пятиколычатая бронзовая бляшка и железный нож (рис. 1:9), аналогии которому в свою очередь известны по материалам Иволгинского городища (Давыдова 1995: табл. 186) и тесинским могилам в Минусинской котловине. Другие погребения Хайыракана содержат пятиколычатые бляшки, костяные ложечковидные застёжки, миниатюрные котелки, трехлопастные втульчатые наконечники стрел, ажурные бронзовые

колокольчики (рис. 1:6), костяные наконечники стрел с расщепленным насадом (рис. 1:7), железные поясные пряжки (рис. 1:12). По числу аналогий и по ряду других признаков этот

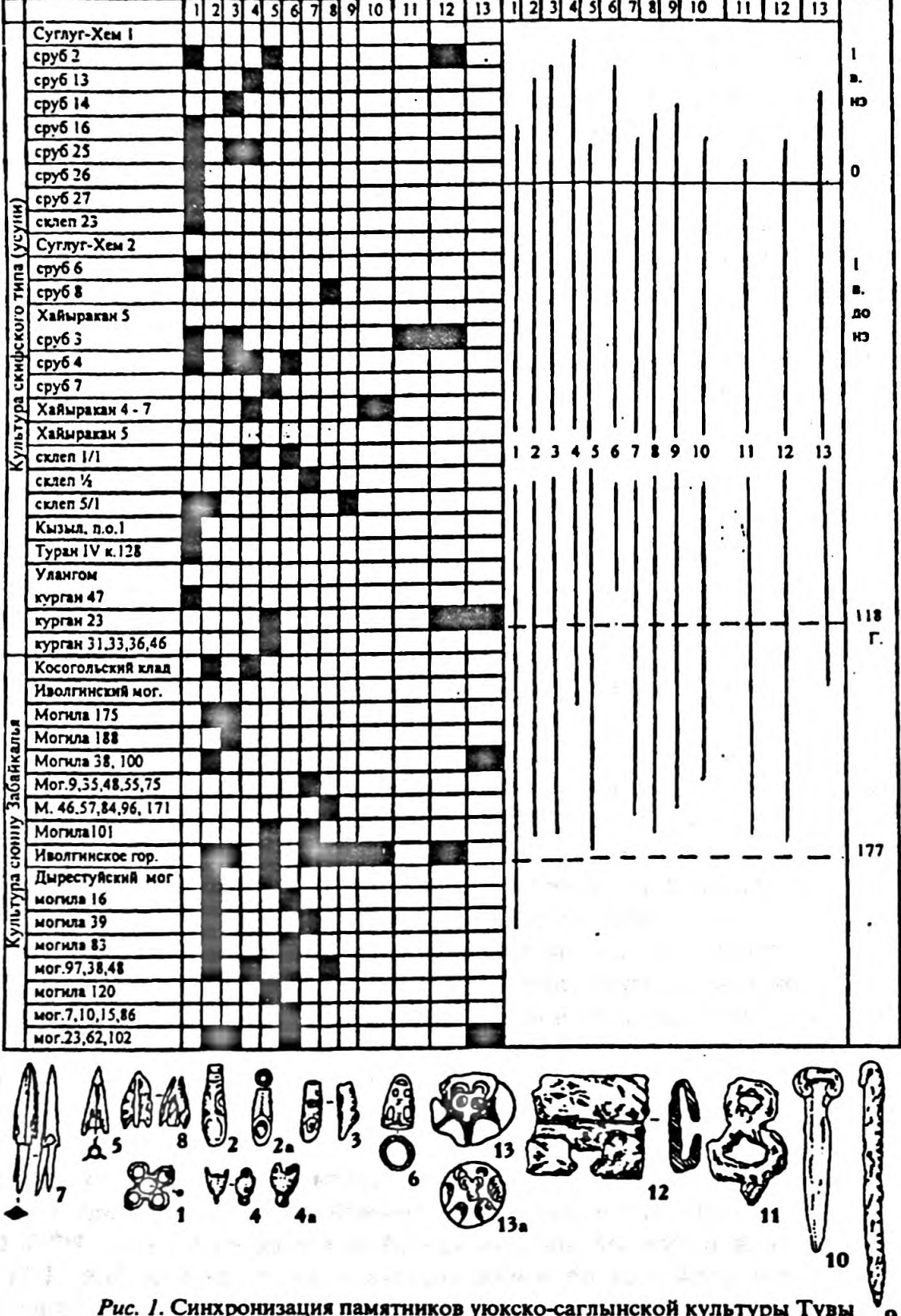


Рис. 1. Синхронизация памятников уюкско-саглынской культуры Тувы (озен-ала-белигский этап) и сюнну Забайкалья; 1-13 – хронологические индикаторы

могильник наиболее тесно связан с культурой сюнну. Здесь еще сохраняется уюкско-саглынская керамика, но отсутствуют характерные для скифов бронзовые зеркала, произведения звериного стиля, но много изделий и оружия из железа, наряду со срубам существуют коллективные усыпальницы в каменных склепах.

Могильник Улангом расположен в северо-западной Монголии и по всем параметрам может быть включен в круг памятников уюкско-саглынской культуры. Здесь раскопано 23 сруба и 17 погребений в каменных ящиках. Этот, в целом компактный комплекс датировался в пределах VII – III вв. до н. э. (Цэвэндорж 1980: 95-100). Э. А. Новгородова придерживалась более традиционного взгляда и относила могильник к V – III вв. до н. э. (1989: 278). Она считала, что “улангомцы” покинули свою территорию, когда там появились чужеродные этносы. На самом деле не менее пяти срубов, а в действительности их число может быть и больше, включали в свой погребальный инвентарь вещи, характерные для культуры сюнну. Это прежде всего наконечники стрел со скрытой втулкой (рис. 1:5), железные массивные пряжки (рис. 1: 12) и, наконец, пуговица с изображением медведя (рис. 1:13), происходящая из сруба 23. Подобные пуговицы были обнаружены в погребениях № 100 и 138 Иволгинского некрополя (рис. 1:13а), а также в могиле 102 Дырестуйского могильника. Из этой могилы, помимо пары пуговиц, происходят три ложечковидные застёжки, бронзовые ажурные колокольчики, пластины-накладки с изображением дерущихся лошадей и, наконец, монета “у-шу”, которая определяет 118 г. до н. э. как *terminus post quem* для данного комплекса, а шире и для всего могильника, поскольку таких монет здесь было найдено несколько (Миняев 1998: 72-75). В целом Дырестуйский могильник датируется С. С. Миняевым I в. до н. э. – I в. н. э. Точно также он датирует и Иволгинский комплекс, который А.В. Давыдова склонна относить ко II – I вв. до н. э. (Давыдова 1996: 24-25). Основываясь на том, что часть индикаторов из курганов Суглуг-Хема и Хайыракана встречается на Иволгинском городище и в некрополе (это прежде всего железные изделия № 8, 9, 10, 12, сюда же относятся трехлопастные наконечники стрел № 5 и ложечковидные застёжки из бронзы и кости), я датирую их в пределах II – I вв. до н. э. (не ранее 177 г. до н. э., то есть времени походов Маодуня против юэчжи). Другая группа находок более тяготеет к Дырестуйским комплексам – ажурные конусовидные колокольчики (№ 6), модели котелков и их имитации в виде колокольчиков (№ 4), ромбовидные в поперечном сечении костяные наконечники стрел с расщепленным насадом (№ 7), пуговицы с изображением медведя анфас (№ 13) могут быть датированы не ранее 118 г. до н. э. Что касается неизвестных на памятниках сюнну пятиколюччатых бляшек, то если их нижняя дата не вполне определена (по всей вероятности они не встречаются ранее II в. до н. э.), то верхняя за счет западных аналогий расширяется вплоть до VII в. н. э. Бляшка, подобная тувинским, использовалась как серьга и была найдена в погребении 5 Саинского могильника в Приуралье вместе с сасанидской монетой Хосрова II, датированной 625 г. н. э. (Голдина, Водолаго 1990: табл. 37:29). Пятиколюччатые ажурные бляшки и производные от них изделия встречаются в памятниках пшеворской культуры, где датируются ранней субфазой Римского периода (Andrałojć 1992). Возможно эти формы украшений попали на запад в процессе активизации сарматов в Европе или каким-то иным путем.

На могильниках Суглуг-Хем при сохранении в целом скифского погребального инвентаря, включая искусство звериного стиля, появляются иные не характерные для уюкско-саглынского комплекса вещи. Сюда можно отнести бронзовую накладку в виде

яка (Суглуг-Хем 2 сруб 7), которая находилась вместе с литым бронзовым зеркалом с боковой зооморфной ручкой, изображающей кошачьего хищника (рис.2:1,2). В этом же

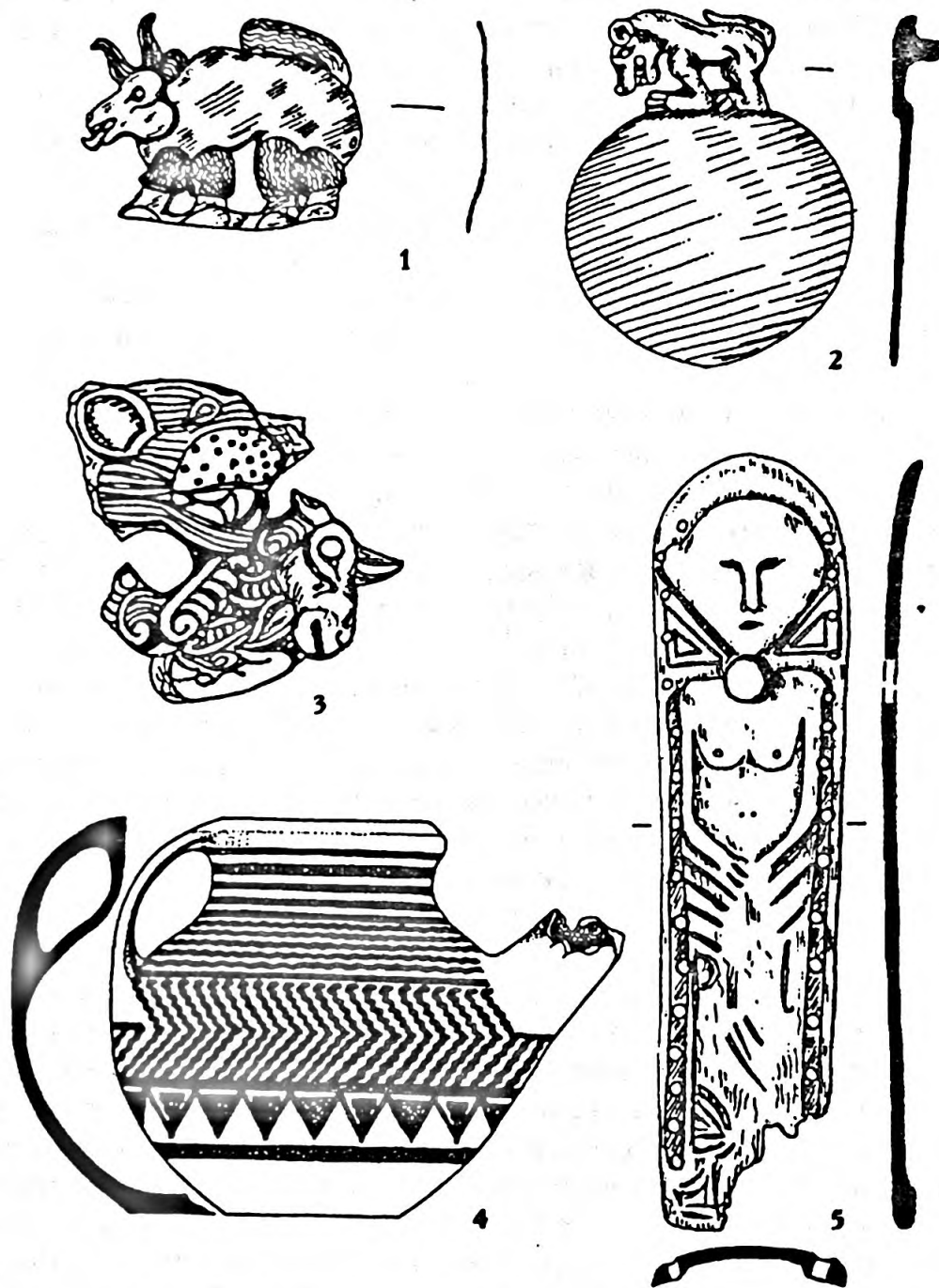


Рис. 2. Вещи из скифских срубов II – I вв. до н. э. Суглуг-Хем 2: 1-2 – сруб 7, 3-4 – сруб 5; Суглуг-Хем 1: 5 – сруб 29

срубе были трехгранные и трехлопастные бронзовые наконечники стрел, бронзовый чекан, железный акинак с сердцевидным перекрестием, железный колчанный крюк и др. В расположенном рядом срубе № 5 находился расписной глиняный чайник, несомненно указывающий на восточнотуркестанские связи (рис. 2:4). В этом же комплексе был обломок костяной пряжки со сценой терзания (рис. 2:3), золотые нашивки на одежду, баночная керамика с криволинейной раскраской по тулову, обычная для Тувы и Горного Алтая. В срубе № 29 на могильнике Суглуг-Хем 1 вместе с обычными золотыми и бронзовыми изделиями и керамикой находилась антропоморфная костяная пряжка, выполненная определенно не в скифской, но и не в сюннуской традиции (рис.2:5). Эти и другие находки свидетельствуют о разветвленных контактах древнего населения Тувы, которое можно связать с усунями письменных источников. Разнообразные импортные вещи в этих усуньских погребениях отражают политическую ситуацию во II – I вв. до н. э. в этой части Центральной Азии и, вероятно, продолжительные союзнические отношения с сюнну.

Библиография

- Голдина Г. Д., Водолаго А. В. 1990. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск.
- Давыдова А. В. 1995. Иволгинский археологический комплекс. Том 1. Иволгинское городище. СПб.
- Давыдова А. В. 1996. Иволгинский археологический комплекс. Том 2. Иволгинский могильник. СПб.
- Дэвлет М. А. 1980. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н. э. – I в. н. э. САИ. Вып. Д4-7. М.
- Зуев Ю. А. 1960. К этнической истории усуней. // Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. Алма-Ата: 5-23.
- Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров И. Н. 1983. Древние китайцы в эпоху централтизованных имерий. М.
- Миняев С. С. 1998. Дырестуйский могильник. СПб.
- Новгородова Э. А. 1989. Древняя Монголия. М.
- Цэвэндорж З. Д. 1980. Чануманий соел (Чандаманьская культура). Археологийн судлал. Т. IX, fasc.1. Уланбатар: 34-105.
- Andrałojć M. 1992. Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Pruchnowie, stan. 23, gm. Radziejów Kujawski, woj. Włocławek // Sprawozdania Archeologiczne. XLIV. Kraków: 167-180.

***Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 98-06-80472).**

СКИФЫ НА ЮГЕ СИБИРИ: ФЕНОМЕН ТАГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Памятники минусинской курганной или тагарской археологической культуры (АК) стали известны впервые в начале XVIII в. (раскопки Д. Г. Мессершмидта), а систематически изучаются уже сто лет. Уже в 1897 г. Н. М. Ядринцев, пытаясь объяснить поразительное сходство южносибирских древностей с восточноевропейскими скифского времени, высказал предположение о сибирских корнях скифской культуры. Архаичный характер минусинских памятников по отношению к причерноморским скифской эпохи отметил и Э. Миннз (1913). С. В. Киселев предложил датировать начальный этап тагарской АК X – VII вв. до н.э. (1929). В дальнейшем, однако, получила широкое распространение точка зрения о вторичном, периферийном характере тагарской АК. Ведущая роль в выдвигании этой ошибочной теории принадлежит Н. Л. Членовой (1967), работы многих других тагароведов концептуально вторичны, хотя и содержат огромное количество ценной информации. Работа Членовой на 4/5 построена на материалах из случайных находок (Кызласов 1979). При датировании татарских памятников она механически привязывала их к памятникам европейских скифов. Сейчас, по мере расширения археологических исследований в азиатских областях скифского мира все большее число археологов склоняется к версии, что знаменитая "триада" (звериный стиль, оружие, конский убор), а также некоторые другие этнографические элементы раннескифской культуры являются в Восточной Европе принципиальной инновацией, а генезис их может быть связан с глубинными районами азиатской степной зоны. Таким образом, следуя методике Членовой, мы просто-напросто рискуем датировать исходные протоскифские памятники по дочерним производным комплексам, искусственно молаживая последние. Назрела необходимость в поиске других методов датирования тагарской эпохи, в пересмотре многих других устаревших представлений, связанных с тагарской АК.

В последнее время существенно расширилась источниковедческая база: в результате работ крупных новостроечных археологических экспедиций изучены целые микрорайоны тагарской АК; появилась большая серия целиком раскопанных могильников; открыта группа курганов знати; проанализированы отдельные категории находок. Изменился и тот общескифский фон, на котором следует рассматривать тагарскую АК. Стало очевидным, что новый обширный фактический материал не укладывается в "прокрустово ложе" устаревшей схемы происхождения и развития тагарской АК. Настало время построения новой концепции тагарской культуры.

Задачей ближайшего будущего является разработка ее детальной периодизации. Наиболее дробное, но недостаточно обоснованное хронологическое членение тагарских древностей предложено археологами школы М. П. Грязнова: ими выделены баиновский, черновский, подгорновский, биджинский, сарагашенский, лепешкинский и тесинский этапы. Археологи-практики в настоящее время придерживаются грязновской схемы в самом общем виде. Ведется дискуссия о том, что представляет собой баиновская группа памятников. Большинство специалистов проигнорировало выделение черновского и биджинского этапов. В понятия сарагашенского и лепешкинского этапов вкладывается несколько иное содержание, чем предлагал сам Грязнов. Реальная схема, которой пользуются многие исследователи, выглядит следующим образом:

1. Ранний тагар или подгорновский этап.
2. Средний тагар или сарагашенский этап.
3. Поздний тагар или лепешкинский этап.

Разработка эффективно работающей подробной периодизации возможна на качественно иной основе, а именно путем сопоставления стратиграфических колонок нескольких десятков полностью исследованных могильников.

Открытие Аржана, где найдена серия раннетагарских вещей, позволило поставить вопрос об удревлении начальной даты тагарской АК до VIII в. до н. э. (Грязнов 1982; Курочкин 1991). В настоящее время ранняя стадия тагарской культуры может быть датирована временем не позднее VIII в. до н. э. по трем линиям синхронизации:

1. Привязка к "тандему" эталонных памятников Аржан-Высокая Могила (конец IX – VIII вв. до н. э.).

2. Привязка к среднеазиатской и древневосточной хронологии, благодаря находке в Имирлере (Турция), в погребении эпохи скифских походов в Переднюю Азию биметаллического чекана с головкой хищной птицы, близкая аналогия которому имеется в погребении 84 Уйгарака. По стрелам из последнего комплекса могила в Имирлере датируется концом VIII – первой половиной VII вв. до н. э., однако, чеканы, обнаруженные в этих памятниках, генетически восходят к району Саян и Присаянья, где их прототипы уйгаракско-имирлерского типа должны датироваться временем ранее рубежа VIII – VII вв. до н. э. (Курочкин, Субботин 1993).

3. Привязка к кочевническим комплексам эпохи Загадного Чжоу в Северном Китае, датированным IX – VIII вв. до н. э. и содержащим вещи раннетагарского облика (Курочкин 1993). В 770 г. до н. э. столица Западного Чжоу была перенесена из-за давления северных "варваров"; эта дата хорошо согласуется с формированием протоскифского союза племен, известного по материалам Аржана (Савинов 1992).

Для датировки среднего, сарагашенского этапа тагарской АК важное значение имеет открытые недавно курганы тагарской знати, содержащие серии точных аналогий в хорошо датированных памятниках Алтая и Казахстана VI – IV вв. до н. э.

Памятники тесинского этапа в настоящее время не относят к собственно тагарской культуре, но они обеспечивают *terminus ante quem* для ее верхней границы – II в. до н. э. Сейчас ряд тесинских вещей выявлен как в сарматских памятниках II – I вв. до н. э. (Скрипкин 1993), так и в могильниках Бишкентской долины в Таджикистане того же времени (Мандельштам 1966).

Удревление начальной даты тагарской культуры позволяет сделать вывод о том, что Южная Сибирь могла входить в большой ареал формирования скифо-сибирских культурных традиций. Судя по всему, тагарские племена ("южносибирские скифы", о которых В. П. Алексеев написал, что "между причерноморскими скифами и тагарцами морфологическое сходство почти абсолютное") не позднее VIII в. до н. э. отделились от протоскифского ядра (которое предположительно может быть локализовано в Монголии, в ареале "оленных камней") и на протяжении длительного времени развивались в условиях самоизоляции.

Широко вошедший в литературу тезис о том, что тагарское искусство восходит к карасукскому на той же территории, скорее всего, неверен. В Южной Сибири тагарское искусство представляет собой явное новшество, генезис которого связан с ареалом распространения "оленных камней", т. е. территорией, где исходное ядро протоскифского звериного стиля формировалось на протяжении нескольких столетий еще до VIII в. до н. э. – об этом определенно свидетельствуют материалы из Северного Китая, относящиеся к эпохам Инь и Западного Чжоу.

***Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 98-01-00316).**

К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ДВИЖЕНИЯ РАННИХ НОМАДОВ
(Чач и Согд на пути кочевников в Бактрию)

Историческая картина движения и расселения племен ранних кочевников, приведших в итоге к кардинальному изменению этно-политической карты среднеазиатского региона, обрисовывается по данным письменных источников, но даже будучи существенно откорректированной результатами археологических исследований, все еще изобилует “белыми пятнами”. Одной из важных остается проблема количества и хронологической последовательности волн вторжений и взаимосвязи расселившихся групп с племенами, обозначенными в письменных источниках.

1. Некоторый свет на проблему проливают материалы археологического исследования на территории Ташкента. Городище Шаш-тепе, в нижнем культурном горизонте которого обнаружен полуподземный поселок второго этапа бургулюкской культуры (VI – IV вв. до н. э.), сохранило также горизонт некрополя пришлых кочевников, которые использовали холм с опустевшим поселком бургулюкцев как курган. Обряд погребения – прямоугольные простые ямы (до 2,5 м глубиной), врезанные в жилища и ориентированные по линиям запад–восток и юг–север. Костяки лежали на камышевой подстилке на спине, в сопровождении заупокойной пищи (лопатка и передняя нога барана), плоскодонной керамики и других предметов инвентаря (бронзовые зеркала, пряслица из стенок сосудов, бусы, бронзовая пряжка). Сосуды аналогичны керамике из савроматских и раннепрохоровских некрополей Заволжья и Приуралья, а также некоторым формам посуды чирикратской культуры и отдельных захоронений в ареале джетысарской культуры. Весь остальной погребальный инвентарь указывает на то же направление инноваций, включая бронзовую прямоугольную пряжку с изображением лежащего двугорбого верблюда. Весь комплекс красноречиво свидетельствует о появлении в Ташкентском оазисе племен сарматского круга, которые, по всей очевидности, проследовали из районов Поволжья и Приуралья через земли дельтовых протоков Яксарта (Сырдарьи), испытав некоторое воздействие местных культур. По данным стратиграфии Шаш-тепе и аналогиям, они появились в Ташкентском оазисе не позднее III в. до н. э., вытеснив бургулюкцев и основав на покинутом поселке многоуровневый могильник.

2. Культурный комплекс пришельцев и особенно бронзовая пряжка, которая может служить ключевым артефактом, позволяют проследить дальнейший маршрут этой группы кочевников на юг через Сырдарью по ее левобережью в долину Зеравшана и далее, вплоть до среднего течения Окса (Амударьи). В долине Зеравшана их присутствие фиксируют могильники на северной окраине Самаркандского оазиса (Агалыксай, Акджар-тепе), погребения в ямах которых датируются IV в. до н. э. (О. В. Обельченко) или несколько позднее. Конечный пункт следования этой группы племен фиксирует могильник Бабашов на средней Амударье, датированный второй половиной II в. до н. э. (А. М. Мандельштам), где выявлены погребения в ямах с идентичными пряжками, но в большинстве своем с местной станковой посудой.

3. По всей видимости, перед нами один из маршрутов движения в глубинные районы Трансоксианы группы кочевых племен самой ранней волны вторжения, об угрозе

которого, очевидно, предупреждал селевкидского царя Антиоха III мятежный греко-бактрийский правитель Евтидем. Исходным пунктом можно считать степи Заволжья и Приуралья. Другой путь прохождения родственных им племен фиксирует идентичный погребальный комплекс курганной группы Кулкудук в Центральных Кызылкумах III – II вв. до н. э. (Ю. П. Манылов).

4. Самая ранняя крупная волна кочевнического вторжения в Среднюю Азию связана с дахами (даями). В эпоху Ахеменидов они составляли обширный союз кочевых племен к востоку от реки Волги. В конце IV в. до н. э. дахи жили также по берегам Сырдарьи и в Согдиане (Curt. VII.7.32, VIII.1.6;8; Агг. *Anab.* III.28.8;10). В начале III в. до н. э. их застают в Восточном Прикаспии к северу от Гиркании и Парфиены. В дахскую конфедерацию входили племена апарнов, ксанфиев и писсуров (Strabo XI.8.1). Данные античной письменной традиции указывают на юго-западное направление миграции дахов и возможные пути их перемещения в западной части среднеазиатского региона.

В Восточном Прикаспии выявлены могильники с погребальным обрядом и инвентарем, свойственными племенам сарматского круга, которые на этой территории являются привнесенными извне. Исследователи не связывают их напрямую с дахами (хотя и существует определенная тенденция сделать это [С. А. Балахванцев]) на том основании, что в исконных местах обитания дахов-даев с VII в. до н. э. существовали культуры савроматов и затем сарматов (самаро-уральский вариант савроматской культуры, прохоровская культура, некоторые археологические комплексы в низовьях Сырдарьи).

О возможном продвижении племен дахского союза в восточном и юго-восточном направлениях письменных свидетельств нет, кроме косвенного указания Помпония Мелы на пребывание дахов на Оксе, вблизи первого поворота этой реки на север (Mela III.42), т. е. в районе Северо-Западной Бактрии близ Керки.

5. Материалы некрополя Шаш-тепе свидетельствуют о начальном этапе вторжения кочевников с северо-запада, что раньше не было столь очевидным (здесь мы оставляем за рамками более поздние материалы раскопок Шаш-тепе, свидетельствующие об очередной волне миграции из низовьев Сырдарьи). На наш взгляд, возможность проследить маршрут племен, оставивших могильник, до средней Амударьи делает сообщение Помпония Мелы о присутствии дахов на Оксе более весомым, как и отождествление погребенных в могильнике Шаш-тепе с одним из племен дахского союза.

IV. КУЛЬТУРОГЕНЕЗ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МИР И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ

Б. Абдулгазиева (Самарканд)

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ В ИСКУССТВЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Археологические данные позволяют судить о распространении античных идей на территории Средней Азии. Культ древнегреческих богов-близнецов Диоскуров был популярен в древнебактрийском городе Дильберджине, где в их честь был построен храм. В этом же городе почитали и Геракла, который, по всей видимости, пользовался большой популярностью среди военных – большая глиняная статуя этого героя была найдена в одном из помещений мощных привратных укреплений около южных городских ворот. В позднекушанскую эпоху античные традиции сочетались с традициями местной культуры, роль которых все более усиливалась. Так, хорошо известны так называемые “бактрийские” чаши раннесредневекового времени с изображениями сцен из трагедий Еврипида. На кустанайской чаше (Эрмитаж) в изображении фигур торевт следует в основном традициям античности, но при этом он внес в композицию и местный сюжет – богиню Ордохшо с рогом изобилия. На другой чаше (Эрмитаж, из собрания Строгановых) с изображением свадебного пира также явно проступает следование запросам местных вкусов. Супружеская чета на чаше имеет явное сходство с персонажами сцены пира в росписях Балалык-тепе (Л. И. Альбаум, Б. Я. Ставиский). На металлическом штампе из Кувы (Ферганская область) Дионис изображен в облике местного бога виноградарства и виноделия Куверы. Легенда о Ромуле и Реме изображена в настенной живописи дворца Уструшанского правителя Калаи Кахкаха I (VIII вв.).

Под явным влиянием местной культуры показаны сцены из цикла подвигов Геракла на керамической чаше из Лумби-тепе, найденной в ходе раскопок на поселении Лумби-тепе в слое VII в. н. э. (Андижанская область, Восточная Фергана). Уникальность этой чаши состоит не столько в том, что ее декор содержит хорошо известный греческий мифологический сюжет, сколько в том, что здесь можно проследить эволюцию в изображении античных образов на среднеазиатской почве.

Сама чаша имеет форму сегмента. Рельефные изображения выполнены в технике лепки и штампа. Чаша была разбита еще в древности, удалось собрать только одну ее треть. Эта сохранившаяся часть позволяет предполагать, что на чаше были изображены три сцены, заключенные в полукруглые арки, разделенные виноградной лозой. Одна из сцен представлена полностью. Она посвящена одному из подвигов Геракла – поимке Эриманфского вепря. Туловище Геракла лепное, изображено в фас, голова выполнена штампом, повернута влево в три четверти. Герой изображен безбородым, крутые локоны обрамляют лоб, черты лица лишены индивидуальности. На голову надет львиный скальп, спускающийся ниже плеч. Торс обнажен, но ниже идет юбка до колен, подпоясанная широким поясом. Перед Гераклом мы видим ошетилившегося кабана. Правой, вытянутой вперед рукой герой схватил животное за голову, а левой вонзает меч ему в пасть.

Под другой аркой, частично сохранившейся и расположенной слева от описанной выше сцены, имеется фрагментарное изображение персонажа, выполненное в технике штампа. Он одет в длинное платье из тонкой ткани и накидку или плащ с развевающимися краями, переданными типично на согдийский манер – со спиралевидными завитками, как у женских фигур на мианкальских оссуариях 2-го типа (VI – VII вв.).

Виноградная лоза изображена с двумя расходящимися в противоположные стороны раскидистыми ветвями. Листья и гроздья переданы в предельно стилизованной манере. Над ней вдоль венчика чаши расположены три одинаковые наклепные штампованные женские головки.

На дне чаши в кольце поддона имеется штампованное изображение головы в фас, почти идентичное голове Геракла. Лицо круглое, пухлое, глаза миндалевидные, со зрачками. Кудрявые волосы показаны крутыми колечками в два ряда. Уши большие, в левом ухе четко видна овальная серьга.

Облик персонажа на данной чаше далек от античного изобразительного канона. В нем уже трудно узнать Геракла, и только львиный скальп – его неперменный атрибут – идентифицирует героя. Местный мастер показал его в манере, характерной для среднеазиатского раннего средневековья: туловище показано в фас при профильной постановке ног, а голова – с поворотом в три четверти. Техника исполнения типична для мелкой пластики Согда V – VIII вв. Фигура статична. Геракл закалывает кабана мечом, тогда как, согласно античному мифу, он должен не убивать его, а связать и доставить живым. Это явное отступление от сюжета сближает нашу сцену с изображениями спешенных персидских шахиншахов на охоте, хорошо известными по серебряным сосудам сасанидского круга. Местное восточное влияние сказывается также и в том, что борющийся герой изображен не атлетически сложенным, как это принято в античной традиции, а с узкими плечами и тонкой талией, т. е. именно так, как изображались юноши и мужчины в настенных росписях Средней Азии VI – VIII вв. (Пенджикент и др.).

Е. В. Абдуллаев (Ташкент)

К ПРОБЛЕМЕ ГРЕКО-БУДДИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ВЗАИМОВЛИЯНИЯ В БАКТРИИ И ИНДИИ НА МАТЕРИАЛЕ “МИЛИНДАПАНЬХИ”

Хотя “Милиндапаньха” (“Вопросы царя Милинды [Менандра]”, далее – ВМ) является единственным произведением древнеиндийской литературы, где фигурирует древнегреческий царь, до сих пор остается нерешенным вопрос, есть ли в ВМ следы присутствия античной философии (Васильков 1989: 92; Парибок 1989: 8; Schrader 1907: XXI-XXII).

Сопоставление ВМ (ее древнейшей части, охватывающей часть первой и вторую книгу до середины гл. 4) с платоновским “Теэтетом” позволяет обнаружить аналогии в: (а) жанровой форме (словесное состязание; близость характеристик Менандра и платоновского Сократа; (б) композиции завязки (вводная часть состоит из двух прологов, в первом из которых действуют два персонажа, “симметричные” двум персонажам основного диспута, а во втором один из персонажей обращается к своему собеседнику с целью найти достойного соперника в споре); (в) образном ряде (использование в обоих текстах примеров с колесницей, водяными часами, оттисками, возрастами человека и геометрической

фигурой); (г) метафорах, описывающих гносеологическую функцию души (как “знатока”, “наблюдателя” и “собеседницы самой с собой”).

По всем пунктам в ВМ дается интерпретация, прямо противоположная содержащейся в “Теэтете”, что позволяет рассматривать ВМ как антиплатоновский текст. Учитывая, что основное острие “Теэтета” было направлено против киников (прежде всего, Антисфена и Диогена), правомерно предположить, что древнейшая часть ВМ представляла собой один из кинических антиплатоновских текстов, написанный в опровержение “Теэтета”.

Известно, что киники попадают в Индо-Бактрию на волне похода Александра. Киник Онесикрит (вторая половина IV до н. э.) сам сопровождал македонского царя в его походах на восток, совмещая должность летописца и мореплавателя. Далеко не ко всем философам Александр относился с таким пиететом, как к Онесикриту: например, Каллисфен, ученик и племянник Аристотеля был заточен им в темницу. Дело в том, что Каллисфен, будучи историографом Александра на первом этапе его похода, затем стал идейным вдохновителем греческой оппозиции Александру, недовольную отходом царя от принципов панэллинизма (“весь мир – для эллинов”) к космополитизму (Александр “сводил воедино различные племена, ... заставляя всех считать родиной вселенную”: Плутарх. “О судьбе и доблестях Александра. Речь I”, § 6). В своем идейном развитии Александр все дальше удалялся от своего учителя Аристотеля (Кошеленко 1972: 76) в сторону симпатий к Диогену и киникам. Даже если допустить, что образ Александра был значительно синизирован, начиная с Онесикрита – автора его первой биографии (Нахов 1982: 74), политические акции македонского царя в Средней Азии и Индии свидетельствуют о явном усвоении им таких кинических идей, как космополитизм, допустимость равноправия эллинов и “варваров”, презрение к полисной демократии и т. д.

Вероятно, киникам покровительствовали и приемники Александра – греко-бактрийские правители. Киническими могли быть и обнаруженные в Ай-Ханум фрагменты философских текстов, в которых обсуждается учение Платона об отношении причастности чувственных вещей к сверхчувственным идеям, которые трудно определить и как платоновские, и как аристотелевские (Hadot, Rapin 1987: 244-249). Однако разбор и критика платоновского учения об идеях, прежде всего о так называемой «причастности», содержался и в несохранившихся сочинениях киника Антисфена. Известен и анекдот, в котором Диоген высмеивает учение Платона о причастности (Диоген Лаэрт. VI.25-26).

Киники напрямую упомянуты и в зороастрийском тексте “Шаяст на-Шаяст” (гл. 6).

Кроме того, после Александра Македонского, во II – I вв. до н. э., в самой Элладе кинизм переживает период упадка, его представители буквально ушли в подполье, ибо их “изгоняли, наказывали и даже казнили” (Дион Касс. 66.13-16). Можно предположить, что многие киники тогда переселились на Восток, в том числе в Бактрию и Индию, подобно тому, как спустя пять столетий в сасанидском Иране найдут свое прибежище изгнанные христианским императором Зеноном последние греческие философы-неоплатоники.

О том, что в III – I вв. до н. э. деятельность киников была связана с Востоком, говорит и тот факт, что обе рукописи, являющиеся единственными (за исключением эпиграмм в честь Диогена) памятниками кинической литературы, посвящены Востоку и восточной мудрости, а действие в них происходит в Индии (Берлинский папирус № 1304 и Женевский папирус № 271, см. Нахов 1984). В пределах этого же периода, примерно с 155 по 130 гг. до н. э. правил греко-индийский царь Менандр – главное действующее лицо ВМ (Voreagachchi 1990).

Косвенное свидетельство пребывания киников в Индии и Бактрии содержится и в переводе 12-го эдикта Ашоки, обнаруженный в северном Афганистане близ Кандагара. В

этом фрагменте индийское слово, обозначающее секты передано на греческом языке словом “диатриба” (Harmatta 1994: 405-406). Однако это слово обозначает, прежде всего, созданный и развитый киниками жанр философского диалога. Она [диатриба] “впитала в себя наиболее характерные для кинического стиля черты, специфические приемы изобразительности, уже встречавшиеся ранее, но перевоплотившиеся в новое качество. ... Ее нельзя отделить от имени Антисфена и Диогена” (Нахов 1981: 47).

Этика аскетизма, невозмутимости (автаркии), отказ от социальной активности, неприязнь ко всякого рода умозрениям – все это сближало два учения, кинизм и ранний буддизм. Киники издавна зорко присматривались к индийской мудрости: уже в жизнеописании Александра у Онесикрита “содержалось кинизированное описание индийских гимнософистов-брахманов. О посещении индийских аскетов и беседах с ними Онесикрита сообщают Страбон и Плутарх” (Нахов 1982: 68). Беседе Александра с гимнософистами посвящены и вышеупомянутые кинические папирусы II – I вв. до н. э. Поэтому вряд ли было бы чем-то неожиданным обращение киников в последователей Будды, что, в принципе, не препятствовало им продолжать исповедовать свои кинические идеи. Нечто подобное происходило и во II – VI вв. н. э. с киниками, перешедшими в христианство (Перегрин, Максим и др.), которых называли “христианизирующими киниками” (там же: 215)!

Логично предположить, что многие из тех греков, которые переходили в буддизм, были киниками. О греках (надо полагать, из Бактрии и Индии), перешедших в буддизм сообщается в эдиктах Ашоки (Левек 1989: 208) и буддийских сочинениях “Махадхармакшита” и “Махаванша” (Puri 1987: 91-93). Греками были и некоторые буддийские проповедники, о чем говорит присутствие компонента “йона” (иониец, т. е. грек) в их именах (Бонгард-Левин 1981: 110). Автором древнейшей части ВМ мог оказаться такой “буддизированный” киник, переработавший в целях религиозной пропаганды один из антиплатоновских диалогов того же Антисфена или какого-либо его ученика, а может и свой собственный, написанный еще в бытность киником.

Последовательная реконструкция кинического пратекста, лежащего в основе ВМ, позволяет выявить три проблемы, по которым позиции Платона и киников расходились:

1. соотношение между словом и его носителем (т. е. именем и денотатом): согласно Платону, имя указывает на личность/предмет, но познание слова не тождественно познанию предмета; киники считали, что связь между именем и денотатом устанавливается для каждого конкретного случая, некоторые имена (“фтангос”) никак не представляют свои денотаты.

2. соотношение между частью и целым: у Платона целое первично и присутствует в каждой своей части как идея вещи, у киников целое возникает благодаря своим частям как их перечень (“логос”).

3. соотношение между чувственным и рациональным познанием: знание, получаемое через органы чувств, Платон не считал подлинным знанием, так как последнее постигается душой; киники же полагали, что чувственное и умопостижимое знания неотделимы друг от друга, и не требуют “души” как посредника между ними.

Таким образом, архаический текст ВМ полностью находится в русле проблем полемики между платониками и киниками IV – I вв. до н. э. и добавляет немало важного к тому, что об этом было известно исследователям. Если до сих пор о критике киниками платоновского учения мы знали, главным образом, по анекдотам об эксцентричных выпадах Антисфена и Диогена против Платона, то теперь в нашем распоряжении имеется

достаточно проработанная система контраргументации в отношении почти всех пунктов платоновской критики киников в “Теэтете”.

Библиография

Бонгард-Левин Г. М. 1981. Древняя Индия и античность (общая характеристика традиций) // Древний Восток и мировая культура. М.: 107-111.

Васильков Я. В. 1989. О возможности греческого влияния на «Вопросы Милинды» // Буддизм: история и культура. М.: 92-103.

Кошеленко Г. А. 1972. Восстание греков в Бактрии и Согдиане 323 г. до н. э. и некоторые аспекты греческой политической мысли IV в. до н. э. // ВДИ. № 1: 59-78.

Левек П. 1989. Эллинистический мир. М.

Нахов И. М. 1981. Киническая литература. М.

Нахов И. М. 1982. Философия киников. М.

Нахов И. М. 1984. Антология кинизма. М.

Парибок А. В. 1989. Вопросы Милинды (Милиндапаньха). М.

Woparachchi O. 1990. Ménandre Sôter, un roi Indo-Grec. Observations chronologiques et géographiques // Studia Iranica. T. 19, fasc. 1. Paris: 39-85.

Harmatta J. 1994. Languages and Scripts in Graeco-Bactria and the Saka Kingdoms // History of civilizations of Central Asia. Vol. II. The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. Paris: 397-416.

Hadot P., Rapin C. 1987. Les textes littéraires grecs de la Trésorerie d’Aï Khanoum // Bulletin de Correspondance Hellénique. CXI, 1. Athènes; Paris: 225-266.

Puri B. 1987. Buddhism in Central Asia. Calcutta.

Schrader F. O. 1907. Die Fragen des Königs Menandros. Berlin.

Д. Абдулнасырова (Санкт-Петербург)

ТЮРКСКИЙ КОБУЗ:

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Тюркский *кобуз* является одним из древнейших смычковых инструментов. Наиболее ранние сведения о *кобузе* относятся к X – XI вв. Предположительно X в. датируется сохранившаяся до наших дней рукопись уйгурской версии буддийской истории о царевичах Калиамкара и Папамкара. В одной из ее глав встречается упоминание о том, что “принц был чрезвычайно искусен в игре на *кобузе*”. Название струнного *кобуза* фигурирует в произведении Махмуда Кашгари “Дивану лугат-ит-турк” (1072 – 1074).

Древнее происхождение *кобуза* отмечается многими исследователями. На основании китайских письменных источников IX в., В. Бахман делает вывод: смычковый способ звукоизвлечения проник в Китай вместе с народным инструментом одного из тюркских племен *tung-hu* со старомонгольской культурой. Речь идет о китайском смычковом хордофоне, известном в Китае под названием *хуцинь*, с двумя волосяными струнами. Изображение смычкового инструмента с грушевидным корпусом и лукообразным смычком, датируемое В. Бахманом IX – X вв., видим на деке корпуса лютни эпохи Тан в коллекции Сёсоин. На деке, обтянутой кожей, изображены два музыканта: один, играющий на лютне, другой – на смычковом инструменте. В отличие от лютни, последний

изображен схематично. Т. С. Вызго допускает, что “именно кобыз запечатлен на деке лютни, некогда привезенной в качестве драгоценного дара из Средней Азии в Японию”.

Смычковый *кобуз* входил в состав инструментария тюркских кочевников-кыпчаков (восточнославянские источники называли этот народ половцами, западные – куманами), занимавших в XI – XIII вв. степи между Волгой и Днепром. Бытование у кыпчаков смычковых инструментов подтверждается историко-археологическими и литературными источниками. Н. И. Веселовский, С. А. Плетнева, Г. А. Федоров-Давыдов обращали внимание на наличие на каменных бабах изображений, напоминающих музыкальные инструменты. Так, С. А. Плетнева пишет, что “на поясах у женских статуй нередко попадаются изображения каких-то непонятных неопределимых вещей”, например, “лопатообразные предметы, которые, возможно, представляли собой музыкальные инструменты. На одном из них прочерчены контуры какого-то острия (вроде ланцета), могущего быть смычком”. Впервые на изображение музыкального инструмента на каменной статуе обратил внимание Н. И. Веселовский, фотоиллюстрацию которой он поместил в приложении к своей статье “Современное состояние вопроса о “Каменных бабах” или “Балбалах”.

Изображение музыкального инструмента находится в правой нижней части статуи у ноги запечатленного на ней воина. Н. И. Веселовский пишет, что “по догадке Я. И. Смирнова это – струнный инструмент вроде балалайки, что весьма правдоподобно”. С. А. Плетнева данный фрагмент каменной бабы, вслед за Веселовским, рассматривает как “типично кочевнический струнный инструмент – комс”.

По мнению Г. А. Федорова-Давыдова, хордофон изображен и на статуе, находящейся в Днепропетровском историческом музее. Среди “непонятных изображений вещей, подвешенных к поясу”, имеется музыкальный инструмент, по определению автора, “так называемая “кожа” – инструмент в виде двухструнной мандолины”. Ссылка, тем не менее, дается на вышеупомянутую статью Веселовского и на инструмент из коллекции Симферопольского музея.

Судя по довольно качественной фотоиллюстрации, помещенной в статье Веселовского, на каменной бабе из Симферопольского музея действительно изображен хордофон – шейковая лютня с овальным корпусом, шейкой длиной с корпус и округлой головкой. Колки и струны не просматриваются, поэтому об их количестве судить трудно. Внутри корпуса показано углубление, из чего можно сделать вывод, что мастер хотел изобразить инструмент с выдолбленным дном.

Изображение музыкального инструмента на каменной бабе в классификациях археологов часто попадает в категорию “непонятных, неопределимых предметов”. Причина этого, с одной стороны, в необычном местоположении инструмента, а с другой – в некоторой (хотя и весьма сомнительной) его схожести с другими предметами, например, “лопаткой” или “веслом” (С. А. Плетнева). Эти сомнения могли бы быть вполне обоснованными, если бы изображение инструмента, сделанное средневековым ваятелем, не получило материального подтверждения.

В 1984 г. при раскопках кургана в пределах кыпчакского могильника XIII в. около села Кирово Бериславского района Херсонской области был обнаружен смычковый хордофон, по своим внешним признакам идентичный инструменту, изображенному на каменной бабе. Он находился вместе с другими предметами сопроводительного инвентаря (луком, стрелами и т. д.), положенными в погребение.

Как сообщает Г. Евдокимов, инструмент был сделан из цельного куска дерева, за исключением головки. По данным ксилотомического анализа, проведенного А. И.

Семеновым, корпус инструмента изготовлен из ясеня, головка – из древесины семейства розоцветных. Корпус – ковшеобразный, долбленный. На его краях имеются прямоугольные отверстия, очевидно, для подставки. Последняя имела дугообразную форму и была снабжена тремя вырезами для струн. Судя по высоте вырезов, средняя струна находилась в более высоком положении по сравнению с крайними, то есть струны находились не в одной плоскости, что доказывает смычковый способ игры на найденном инструменте. Шейка, имеющая врезные ладки, заканчивается коробчатой головкой с поперечно вставленными в нее тремя колками. Общая длина инструмента – 80 см (длина корпуса – 36 см, шейки – 44 см), ширина корпуса – 12 см, шейки – 3,5 см, высота корпуса – 4-5 см. Зафиксированы и остатки смычка. На основе этой находки Г. Евдокимовым сделана реконструкция инструмента. Аналог ему, но больших размеров, находится в Саратовском областном краеведческом музее. По мнению А. И. Семенова, инструмент также происходит из могильника золотоордынского времени.

Каким же было название кыпчакского хордофона? Археологи, давая ему разные определения, часто исходя из аналогии с современными западноевропейскими или русскими инструментами, не учитывают того, что название кыпчакского хордофона могло сохраниться в письменных источниках того времени.

Сведения о кыпчакских музыкальных инструментах имеются в латино-персукуманском (т.е. кыпчакском) словаре “Codex cumanicus” (1303). Здесь, наряду с названиями музыкальных инструментов (*daf*, *suruna*, *nakara*), мы находим профессию певца (*yrci*) и музыканта (*cobuxci*). В приведенном здесь же переводе значится *sonator* (лат.), т.е. “музыкант”, человек, играющий на музыкальном инструменте. В. В. Радлов переводит этот термин как “kobusspieler” – “кобузист”, исполнитель на *кобузе*, а “kobuz” как “eine Art Geige” – “род скрипки”.

Н. Абубакирова (Санкт-Петербург)

К ИЗУЧЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДОИСЛАМСКОГО МЕРВА

(по археологическим данным и письменным источникам)

Мерв, расположенный на юге Туркменистана, представляет собой один из крупнейших и известнейших центров экономики и культуры древнего и средневекового Востока. На протяжении тысячелетий он играл выдающуюся роль в истории, являясь связующим звеном между различными цивилизациями, от античной до китайской. Различные религии (зороастризм, буддизм, манихейство, христианство), исповедовавшиеся в Мерве, мирно сосуществовали вплоть до распространения ислама. Но и последний не смог полностью вытеснить религиозные представления формировавшиеся веками. Они продолжали существовать наряду с мусульманской идеологией. Сосуществование различных религиозных систем в немалой степени способствовало интенсивному расцвету различных видов искусства, среди которых музыка была неотъемлемой частью духовной культуры.

Недостаточность письменных источников по истории музыки тех далеких времен придает первостепенное значение изучению музыкальных археологических памятников для хотя бы частичного воссоздания музыкальной культуры прошлого. Мы исходим из убеждения, что устойчивость традиций и их преемственность – одна из основополагающих

и глубоко специфических черт культуры народов Средней Азии. Так, в частности, туркменский национальный орнамент, в том числе ковровый, восходит к прототипам неолитической и энеолитической древности, а местные традиции ковроделия уходят в глубь веков. То же самое относится и к туркменскому национальному костюму. Г. А. Пугаченкова, исследовавшая иконографию статуэток Маргианской богини (первые века н. э.) считает, что костюм на статуэтках и костюм современных туркменских женщин почти идентичны. Женское изображение на знаменитой расписной вазе из Мерва (V – VI вв. н. э.) запечатлело характерную манеру укладки кос – две на груди, две за спиной, сохранившуюся в прическах туркменских девушек до настоящего времени. Совпадают даже формы бороды мужских статуэток с Гяур-калы с формой бороды современных туркмен.

Перечень подобных исторических параллелей между культурными явлениями древности и современностью можно продолжить и в музыкальной сфере. Поразительные аналогии возникают при сравнении пяти терракотовых статуэток музыкантов, обнаруженных в Гяур-кале экспедицией ЮТАКЭ. Имеющиеся повреждения не мешают определению типа музыкальных инструментов в руках терракотовых музыкантов. На четырех из них изображены лютневые инструменты, на одном, очевидно, струнно-смычковый. Среди «лютневых» статуэток можно провести дифференциацию по технике исполнения терракоты, времени изготовления, композиции и особенностям самого музыкального инструмента. Две статуэтки (датируемые II – III вв. н. э.) изображают мужчин с прижатым к груди лютнеобразным музыкальным инструментом с почти круглым резонатором. Четко обозначены подставки для струн и две струны, изображенные широкими рельефными линиями. На одной из статуэток, судя по переходу от корпуса к грифу, угадывается тонкий гриф, но неизвестно какой длины. Можно выдвинуть предположение о том, что подобные инструменты были прообразом современного двухструнного инструмента (возможно даже туркменского *дутапа*).

Другая фигурка (первые века н. э.) с лютнеобразным музыкальным инструментом имеет продолговатый корпус с плавным двухсторонним сужением посередине, разделяющим его на две округлые части. Подобная конструкция инструмента вызывает ассоциации с *таром*. К тому же В. Н. Пилипко, описавший данную скульптурку, делает предположение, что звук извлекался плектром.

В ином стиле представлена статуэтка музыканта-всадника из Эрк-Кала (V – VI вв. н. э.). Современные исследователи-востоковеды часто обращаются к этому памятнику музыкальной археологии, видя в этой статуэтке образ странствующего певца, аккомпанирующего себе на двухструнке, который был широко распространен в народных эпических сказаниях народов Средней Азии.

Чрезвычайно интересной является фигура сидящего музыканта со скрещенными ногами. Музыкальный инструмент, изображенный достаточно схематично, установлен почти вертикально, с небольшим наклоном в сторону левой руки. Верхняя и нижняя части отбиты, но очевидно, нижним сужающимся концом он опирался на левую ногу. На деке четко обозначены три струны в виде глубоких процарапанных бороздок. Всплывают аналогии с образом туркменского традиционного гиджакиста: такая же типичная посадка музыканта, вертикальное положение инструмента с наклоном влево, опора подставки инструмента на левую ногу и, наконец, его трехструнность. Можно полагать, что данная скульптурка мервского музыканта является наглядным подтверждением мнения В. Бахмана о родине струнно-смычковых инструментов именно в Средней Азии.

Лютневые инструменты мервских терракотовых музыкантов, по всей видимости,

стали впоследствии лютней легендарного Барбада (VII в. н. э.) – выдающегося певца и инструменталиста из Мерва, прославившегося своим искусством на всем Востоке и оказавшего громадное влияние на традиционную музыку многих народов всего региона, в том числе и на туркменскую.

По мнению многих исследователей, именно этот вид струнно-щипкового инструмента, зафиксированный мервскими, а также афрасиабскими терракотами, послужил прототипом арабского *уда*, а затем и европейской лютни.

Данные археологии и письменных источников позволяют считать, что культура Мерва и других регионов Средней Азии в истории мирового искусства раннего средневековья имела самостоятельное значение, а не была провинциальной модификацией культуры древнего Ирана.

Н. Альмеева (Санкт-Петербург)

“КУЛЬТУРНЫЕ СЛОИ” ТРАДИЦИОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

(Исламо-христианское пограничье в Среднем Поволжье
и татарский песенный фольклор)

1. Находящийся на границе Европы и Азии, Волго-Камский регион издавна является контактной зоной для целого ряда европейских и азиатских этнических массивов. После падения Казанского ханства (1552 г.) и присоединения края к Российскому государству, в результате активной миссионерской деятельности русской православной церкви Среднее Поволжье выступает как исламо-христианское пограничье (реально оно даже исламо-христиано-языческое). С того времени татарский этнос состоит из мусульман и кряшен (крещеных татар). Песенный фольклор этих групп-субэтнотосов различается во многих отношениях, в частности, в плане музыкального стиля. Фольклор татар-мусульман в отношении музыкального стиля достаточно монолитен (главное его отличие – это пентатонный колорит и традиция сольного исполнительства). Фольклорное наследие татар-кряшен – это принципиальная стилевая многослойность. Песенная культура кряшен производит, образно говоря, впечатление “археологического раскопа”, в котором видны различные “культурные слои” (ладовые, тембровые), в том числе и очень древние, чудесным образом сосуществующие в музыкальном сознании исполнителей.

Главная причина такой разницы состоит в том, что кряшены имеют традиции общинно-родового (донационального) обрядового пения, которого нет у татар-мусульман (у них обрядовое пение – это напевная речитация Корана, а лирика – общенациональная). То есть, сравнивая наши субэтнотосы, мы сопоставляем разностадиальный фольклор. Он разностадиален по определению, даже безотносительно друг к другу, т. к. 1) в случае с кряшенами мы имеем дело с архаическими формами исполнительства (сакральный тембр в сочетании с архаическим многоголосием – гетерофонией), которые распространены в обрядовых земледельческих культурах; 2) в случае с татарами-мусульманами доминирующая в их фольклоре протяжная лирика общепризнанно считается поздним явлением, а празднование календарно приуроченных праздников не сопровождается обрядовым интонированием.

“Культурные слои” музыки устной традиции кряшен (первому пункту более всего свойственна гемитоника; в пунктах 2 и 4 ангемитоника):

1) архаика, восходящая к языческим аграрным культам;

2) семейно-обрядовое пение, лирика (своя, кряшенская);

3) православное пение;

4) татарские песни (поздний слой).

“Культурные слои” музыки устной традиции казанских татар-мусульман (им характерна пентатонная монолитность всей традиции):

1) напевы речитации книг (средневековых сказаний, романов); баиты; мусульманские духовные книги (мунажаты); речитация Корана и других религиозных книг;

2) лирика;

3) такмаки, плясовые напевы.

2. Как же стадильно соотносятся между собой песенные традиции татар-мусульман и кряшен?

Экспедиционная работа с кряшенами показала, что в их сознании разделяются понятия “кряшенский напев” и “татарский напев”. Это выступает проявлением не только микроэтнического самосознания, но и проявлением стилевой самоидентификации, основанной на специфике кряшенской мелодики в сочетании с кряшенским исполнением.

Если попросить кряшена спеть “любимое”, он может запеть общеизвестную и эффектную для записи татарскую песню. Но если цель экспедиции – традиционные обрядовые напевы, то достаточно сказать: “Мне нужны напевы кряшен”. Информанту становится понятно, что речь идет о другом “культурном слое”, о напевах, приуроченных к обрядовой системе кряшен, т. е. к более глубоким слоям их традиционной музыкальной памяти. Почему более глубоким? Потому, что даже на интуитивном уровне напевы кряшен воспринимаются как а) архаика вообще и б) архаика татарского фольклора, которая, в частности, в традиционной татарской музыке присутствует как пунктирный след (это касается только мелодики). Часть традиционных песен кряшен (и немалая) несет в себе татарский музыкальный смысл (этически очень важное для татарской музыки устной традиции исполнительское понятие “мон” фигурирует и в традиционной эстетике кряшен).

3. Такая музыковедческая метафора, как стилевой пласт, употребляемая по отношению к фольклору, имеет вполне “археологический” характер и смысл. Зачастую понятие стилевого пласта может выступать как аналог понятия “культурный слой” археологии. Стилиевые пласты музыкального фольклора могут отражать а) не только звучания разных исторических эпох (стадий), но и б) разных этнических миров.

Несмотря на многокомпонентность этнической истории Поволжья (участие в этногенезе народов края ранних индоевропейцев, индо-иранцев, сармато-алан и хазар), названный регион – это, прежде всего, тюрко-финноугорский конгломерат.

Архаический пласт обрядового пения кряшен еще нуждается в этнической идентификации, хотя в фольклоре, как и в археологии, такая идентификация не всегда возможна. Календарное пение кряшен частично близко обрядовым культурам финно-угров Волго-Камья и балто-славянским культурам (определенный тип формульского мелоса, тип многоголосия, тембр). Возможно, он является музыкальным доказательством факта ассимиляции татарами Поволжья финского и древне-балтского субстратов, о чем говорят данные археологии и антропологии (то, что у татар-мусульман в музыкальной сфере стерлось неформальным влиянием ислама). В таком случае мы имеем счастливую возможность заниматься “археологическими раскопками” традиционной музыкальной памяти в почти буквальном смысле. Это распространяется и на многие соседние

фольклорные культуры: татарский стилевой пласт присутствует у южных удмуртов, восточных мари, чувашей-анатри.

Как тут не вспомнить об исторической роли и для нашего региона, и для Венгрии старовенгерского пентатонного стиля, который до своего открытия Золтаном Кодаи и Белой Бартоком покоился (не будучи широко известным) под мощным слоем цыганского стиля “вербункош”, в международном масштабе считавшегося национальной эмблемой венгерской музыки. Пентатонный слой послужил научным доказательством реального этнического родства венгров с народами Поволжья и Приуралья. Это – характерный пример наличия ярких “культурных слоев” музыкального сознания, прямо соотносящихся с этнической историей народа-носителя этого сознания и способности последнего невероятно долго сохранять эти слои (память венгров, пришедших в Европу в X в., об их азиатской прародине). При этом не будем забывать, что “культурный слой” может быть как продуктом саморазвития исконно этнического музыкального сознания, так и продуктом культурного воздействия другой цивилизации, результатом пребывания различных этносов в единой культурно-исторической среде. Это следует различать, исследуя всякий раз соотношения причины и следствия, чью последовательность порой легко перепутать. В больших контактных зонах, подобных Среднему Поволжью, в ситуации многоэтапных этнических наслоений, идентификация “культурных слоев” в музыкальном фольклоре народов региона является очень актуальной и весьма увлекательной задачей. И на этом пути нужно быть готовым к парадоксальным открытиям.

Г. И. Богомолов (Самарканд)

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АНИМИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Анимистические представления присутствуют в любой религиозной системе, но в верованиях народов Средней Азии они составляли сложный комплекс, тесно связанный с поминально-похоронной обрядностью. Обнаружение в большинстве регионов Средней Азии захоронений в керамических сосудах и оссуариях и просто кучек предварительно очищенных костей указывают на существование обряда выставления трупов, наряду с ингумацией и кремацией. Именно устойчивые анимистические представления обеспечивали религиозно-правовую основу этого обычая, когда кости наделялись особыми свойствами. Возможно, здесь отразились общие для индоариев представления, восходящие еще к первобытной эпохе, когда необходимым условием возрождения было сохранение костей животного или человека. В индийской традиции кости после кремации собирали и хоронили в ожидании воскрешения, т. к. считалось, что в течении первого года после смерти кости тленного тела восстанут и, одевшись бессмертной плотью, соединятся с душой на небе (Бойс 1987: 23).

Эти же мотивы двигали зороастрийцами Ирана и маздеистами Средней Азии, которые верили, что, едва тело покидает жизненная сила-огонь, в мертвую плоть сразу вселяется скверна, которую надо уничтожить, т. к. умерший должен был предстать перед богом чистым (Рак 1998: 17). С этой целью труп выставляли в каком-нибудь пустынном возвышенном месте, где птицы и звери, питающиеся падалью, быстро его поедали, а солнечные лучи становились тем путем, по которому душа поднималась к подножию

моста Чинват. Кремация или поедание трупов животными – это лишь способ, необходимый для быстрого уничтожения плоти, освобождения души от всего земного и ее восхождения на небо.

Тесно примыкает к этому концепция, что разум и кости человека – творение Ахура Мазды, тогда как тело недолговечно, и оно может быть легко захвачено демоном Насу. Поэтому труп создает реальную опасность, т. к., разлагаясь, оскверняет все вокруг. Следовательно, чтобы обеспечить счастливое возрождение, требовалось очистить светлые частицы Ахура Мазды, и для этого тело подвергалось очищению посредством поедания, срезания, вываривания и т. д. Обычно в оссуарий помещали длинные кости ног (рук), два-три ребра, несколько позвонков и обязательно череп (часто без нижней челюсти), т. е. то, что составляло бы основные части модели человека как самостоятельной единицы микрокосмоса. Однако на практике в оссуарии нередко попадались кости от разных скелетов. По-видимому, это объясняется часто вторичным использованием оссуария, во-вторых, тем, что даже небольшое количество костей было теоретически достаточно для возрождения человека. В этом заключалась функция одного из Амеша Спента Спандарманд – покровительницы Земли: в день воскрешения восстановить кости умерших. В отрывке из “Бундахишна” говорится от имени Ормузда: “В этот час (т. е. воскрешения, *рист-ахезишних*, буквально “выставления трупов”) я потребую от духа земли кости, от Воды – кровь, от Растения – волосы, от Ветра – жизненного дыхания” (Грене 1987: 52). Поэтому собранные и очищенные кости следовало сохранять для возрождения, так как они воплощали частицы души умершего и в будущем (в день Страшного Суда) прорастут подобно зерну пшеницы. Поэтому оссуарии (и, возможно, кучки костей) хоронили цепочками в поле. Отголоском этого является сообщение Агафия Миринейского (VI в.), что после выставления трупов у персов “остаются голые кости, беспорядочно разбросанные по полям” (Раппопорт 1971: 17). Таким образом, до и вне догматического зороастризма, даже в позднем “Бундахишне” целью обряда выставления было сохранение костей как неперемennого условия воскрешения (Лелеков 1992: 197).

Базисом этой концепции служили устойчивые представления у народов Средней Азии о наличии у человека двух или более душ – явлении, восходящем к первобытно эпохе. По мере развития этих представлений выделялись две основные души – одна уходила на небо, другая была как-то связана с костными останками умершего. Так, в зороастрийских текстах для обозначения души умершего использовались термины *урван* и *фраварти* (*фраварши*, *фравашии*).

Возможно, *фраварти* происходит от корня *вар*, т. е. “доблесть”, и первоначально означало душу героя (Бойс 1987: 24). *Фраварши* представлялись женскими крылатыми существами, одетыми в доспехи и с оружием, населяющими воздух (Яшт 13.45). Они старались обеспечить своих потомков каждый год дождями, давали потомство и во время войны невидимо сражались рядом с ними (Бойс 1987: 24). На ранних стадиях развития, по-видимому, они прямо отождествлялись с духами предков, способными влиять на природные циклы, урожайность и соответственно достаток в доме (Рак 1998: 15). Так как место обитания *фраваршей* – небесная обитель, то вырабатывается концепция их ассоциации со звездами, которые стоят на страже 12 зодиакальных домов, обеспечивая миропорядок. Отсюда же вытекает представление о наделении звездой всего живого и неживого, т. к. каждому телу (рожденному и нерожденному, даже божеству) явлена специальная душа (*Меног-и-Храт*).

Об *урван* известно, что это душа человека, которая три дня находится рядом с телом, а потом отлетает в царство Йимы.

Может быть, *урван* и *фравари* – это остатки представлений о существовании нескольких душ у одного человека одновременно. Схожие представления бытовали и у ряда народностей Сибири, но все они четко выделяли две основные души: душу (бессмертную), переходившую от умершего к новорожденному, которая ассоциировалась с птичкой, улетающей после смерти человека на небо (схожую в этом с *фраварти*), где она обитала до вселения в тело женщины, и душу-тень, отправляющуюся после смерти человека в страну мертвых (подобно *урван*), которая находилась в Нижнем мире. Остальные души были выражены менее отчетливо, и считалось, что они исчезают со смертью человека (Косарев 1984: 206–213). Причем душа-тень выступала как материальная категория, которая испытывает усталость, холод, жару, нуждается в пище, видит сны и может умереть. Бессмертная душа мыслилась как птица или как солнечный луч, причем в последнем случае они воспринимались как синонимы и даже назывались одинаково – “ильсат” (Косарев 1984: 206). Любопытна в этом отношении традиция изображения птиц на оссуарии и проделывания в крышке или тулове оссуария небольших отверстий. Быть может, посредством этих отверстий солнечные лучи или птицы (бессмертные частицы души) должны были соединиться с костями (другими частицами души) и воскресить человека.

Поэтому преобладающим элементом орнаментации оссуариев была растительная символика. Больше того, на некоторых оссуариях Чача и Согда изображались прорастающие подобно зерну (или египетскому Осирису) фигурки людей.

По-видимому, *урван* олицетворял собой душу, заключенную в костях (материальном остове человека) и ассоциировался с его персональной принадлежностью, которая после смерти (и очищения) шла в подземный мир ждать возрождения. А *фравари* отождествлялись с бессмертной душой (духом рода), после смерти человека отлетающей на небо, в обитель Арты. Любопытные параллели обнаруживаются у бурят, веривших, что одна из душ – *заяши* (душа-судьба) после смерти человека возвращалась на небо и там оставалась жить с *тенгриями*. Другая душа – *сулдэ* – воплощалась в каком-то материальном объекте, в черепахе или в знамени, если это был великий человек, который становился гением-хранителем рода (Галданова 1987: 49).

С течением времени представления об отдельных душах могли сливаться. Так, в зороастрийских текстах отождествление *фравари* и души *урван* иногда бывает полным: “Мы поклоняемся душам (*урван*) умерших, которые являются *фравари* праведных” (Бойс 1987: 25).

Данные этнографии показывают, что у народов Средней Азии устойчиво сохранялись представления о наличии двух душ у человека. Так, таджики долины Хуф верили, что каждый человек обладает душами *джон* и *рух*. Первая из них в момент смерти безвозвратно покидает тело и улетает к божьему престолу, а *рух* некоторое время остается на земле. Почти такие же представления о *жон* и *рух* существовали у хорезмийских узбеков. Причем в определенные дни они посещают родных и могут влиять на их дела. Каракалпаки верили, что одна из душ человека после смерти отлетает на небо, другая какое-то время остается в теле умершего и поддерживает связь с родственниками.

ОБЩИЕ ЯВЛЕНИЯ В ДРЕВНИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ ЕВРАЗИИ

(на примере анализа одного типа лютневидного инструмента)

1. По сложившейся традиции в классификационных системах истории щипковых инструментов учитываются два вида лютен: т. н. “длинная” и “короткая”. В классическом виде средневосточного инструментария первый тип представляет *танбур* (для него характерны очень длинная, узкая шейка и маленький корпус), а второй – *уд* (он отличается весьма короткой, широкой шейкой и большим корпусом). Самые ранние находки первого типа относятся к Передней Азии (I тыс. до н. э.), второго – к Средней Азии и конкретно к Согду (рубеж н. э.). Литература об этих инструментах весьма обширна (см. Мешкерис 1989).

2. Не включен в общую классификацию и фигурирует под разными именами еще один тип струнного щипкового инструмента, являющийся как бы промежуточным между двумя вышеназванными. Он не входил, по-видимому, в обиход профессиональных музыкантов Среднего Востока, так как не описан в средневековых трактатах о музыке. К тому же у него не было стабильной формы и размера – варианты соотношения длины и ширины корпуса и шейки могли отличаться. Для этого инструмента характерна относительно широкая (по сравнению с *танбуром*) шейка, по длине почти равная с корпусом или заметно превышающая его. Размер его корпуса занимает среднее место между размерами корпусов *танбура* и *уда*, а сама его форма переменна. Таким образом, это явно иной, третий тип, который можно включить в число “лютневидных” музыкальных инструментов. Он отражен в археологических и этнографических материалах широкого территориального ареала (Хорезм, Согд, Греция, Кавказ, Поволжье, Средняя Азия, Восточная Сибирь, Россия). Он упоминается в античной литературе и термином *тригодон*, под звуки которого плясали бактрийские девушки (Дюнген, Пьянко 1990). Его древнегреческое название – *пандора* – созвучно древнеармянскому *пандирну* и бытующим и поныне грузинским и осетинским *пандури*, а также целому ряду инструментов других народов Закавказья и Северного Кавказа.

3. Подробное рассмотрение изображения *пандоры* (*тригона*, *тригодона* по иным версиям) в руках одной из муз на барельефе из Мантинеи (IV в. до н. э.) со сценой музыкального состязания Аполлона и Марсия позволяет выявить некоторые близкие черты сходства с инструментами из раскопок в Хорезме (Садоков 1970) и с упомянутыми выше кавказскими инструментами, а также с разными вариантами *домбры* (Вертков, Благодатов, Язовицкая 1975). Однако наиболее близкая к ней параллель – это старинный народный образец долбленной русской балалайки (там же). Для изучения истории балалайки важным представляется мнение В. М. Беляева (1990), что ее позднесредневековый вариант является тем же инструментом, который раньше назывался *домрой*, запрещенный в период борьбы со скоморошеством. Единой точки зрения до сих пор нет, однако еще на рубеже XVIII – XIX вв. С. А. Тучков высказал предположение о преемственности данного инструмента от древних кочевников-скифов: “Некоторые говорят, что сие орудие заимствовано у татар, но я в этом сомневаюсь, ибо древние римские историки повествуют, что подобный сему инструмент был в большом употреблении у скифов” (Банин 1986).

4. По этимологическому словарю Будагова (1869), в основе названия рассматриваемого инструмента лежит сочетание двух иранских слов – *домба* и *бәрре*, означающее “курдюк ягненка”. Действительно, форма корпуса некоторых

этнографических образцов этого инструмента из Средней Азии позволяет допустить такую этимологию. Под этим и близкими к нему названиями этот инструмент бытует вплоть до XX в. как у таджиков (*думбрак*), так и у ряда тюркоязычных народов Средней Азии и Поволжья (*домбра, домбыра, тумра* и т. п.). Судя по репертуару, он появился у них довольно давно (хотя, по-видимому, позднее, чем, например, смычковые *кобыз* и *кыяк* у казахов и киргизов, связанные с архаическими пластами культуры, возможно, сибирского происхождения, в частности, с шаманством). Иначе говоря, щипковые инструменты третьего типа лютневидных явно прослеживаются во многих местах того обширного региона, где некогда обитали ираноязычные племена, в том числе скифы. Поэтому можно предположить, что данный тип инструмента возник именно в их среде, и они же способствовали его распространению.

5. Отметим в связи с этим, что на вышеназванном барельефе из Мантиней имеется своего рода “знак” скифского присутствия: между состязающимися в игре на лире и авлосе Аполлоном и Марсием стоит стражник-скиф, по-видимому, долженствующий подвергнуть Марсия наказанию после проигранного богу соревнования. М. Вегнер (Wegner 1986³), как кажется, справедливо считает этот инструмент в качестве привнесенным в Элладу с Востока, однако, его версия об египетском происхождении данного грифного щипкового инструмента, нехарактерного для античной Греции, представляется нам менее вероятной, чем предлагаемая скифская.

6. Вопрос об истории *домры* в русской культуре соприкасается и с вопросом о “короткой лютне”. Как известно, после VIII в. под арабским названием *al ud* этот инструмент согдийского происхождения проник почти во все страны Европы. Считалось, однако, что исключением была только Россия. Но попытаемся внести некоторые коррективы, уточнив вопрос о том, какой же инструмент запечатлен в “Учительском Евангелии” и в т. н. “Евангелии Бориса Годунова”. Надписи над иллюстрациями гласят, что изображены Царь Давид с его музыкантами. Нарисованный же инструмент, трактуемый современными исследователями истории русских инструментов как *домра*, адекватен *барбату* и *уду*, известным по археологии и иконографии Среднего Востока и освещенным в исследовательской литературе. Расположение и крепление струн (фронтальный струнодержатель на деке) полностью совпадают с тем, что написано о строении этого инструмента в трактате Фараби и комментариях к нему (Вызго 1972). Допускаемая ошибка в определении вида инструмента (*домра* вместо *уда* или *барбата*) ведет и к исторической некорректности, ибо запрещенная в быту церковными постановлениями “греховная” *скоморошья домра* оказывается безосновательно возведенной в ранг по сути сакрального инструмента. По всей видимости, истоком здесь была Византия.

*** Данное исследование выполнено в рамках проекта № 99-04-00407а, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом.**

ШАХРЕВАР В ЧАГАНИАНЕ

Культурные традиции и преемственность древних культур и цивилизаций отражены в самых разнообразных явлениях материального и духовного порядка. Один из видов прикладного искусства – коропластика, имевшая важное значение в культурах Средней Азии доисламского периода, – также может служить показателем некоторых интеграционных процессов в развитии древних обществ.

За несколько последних лет при археологических раскопках раннесредневековых слоев на цитадели городища Дальверзин-тепе в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан (работы проводятся узбекско-японской экспедицией ташкентского НИИ Искусствознания и Института изучения Шелкового пути, Камакура) было найдено несколько новых для Северного Тохаристана типов терракот, в том числе фрагменты плакеток с выполненным в технике оттискивания в матрице изображением стоящего под аркой воина в доспехах. В правой руке его копье, а в левой – рукоять меча, подвешенного слева на ремне; орнаментальный бордюр под ногами воина украшен рельефными кругами, боковые стороны арки – треугольниками вершиной вверх (Ильясов 1997; 1998; Tanabe, Hori et al. 1997; 1998). Так называемые образки или плитки характерны для согдийской коропластики периода раннего средневековья, есть среди них и датированные VI в. изображения стоящего под аркой воина в доспехах (Мешкерис 1989), что позволяет видеть в находках из Чаганиана отражение согдийского влияния. Более того, фрагмент терракоты из Южного Согда с городища Сарык-тепе в Яккабагском районе Кашкадарьинской области (Лунина 1990) представляет собой абсолютную аналогию дальверзинтепинским плиткам. Подчеркнем, что речь идет не о типологическом или композиционном сходстве, а о полной идентичности – матрицы, в которых были оттиснуты находки из Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, имели общий исходный прототип. Подобный факт обнаружения идентичных терракот в двух различных (хотя и соседних) регионах – в Южном Согде (в Кеше) и в Северном Тохаристане (в Чаганиане) – кажется, еще не был отмечен исследователями. Он прекрасно иллюстрирует существование тесных связей между этими территориями в период их объединения под властью эфталитов и тюрков. Связи, а точнее влияния, более отчетливые в направлении от Согда к Тохаристану, документированы согдийскими надчеканами на чаганианских и вахшских монетах, находками согдийских монет и т. д. Персонаж в доспехах, изображенный на фрагменте оссуария из Биянаймана, предположительно интерпретирован как Шахревар (Грене 1987), но это мнение разделяется не всеми (Marshak 1996; Пугаченкова 1996). Тем не менее, следует отметить, что хотя рассматриваемые терракоты имеют, по всей вероятности, согдийское происхождение, для территории Бактрии-Тохаристана образ воина в доспехах фиксируется с греко-бактрийского и юечжийско-кушанского времени, будучи воплощенным в самых разных материалах (терракоты из Кампыр-тепе; застежки из Тиллятепе; скульптура из Халчаяна; кушанские и кушано-сасанидские монеты). Часть этих изображений, разумеется, не связана напрямую с каким-либо божественным персонажем, однако присутствие Шахревара на монетах Канишки I и Хувишки позволяет предположить, что представленный терракотовыми плитками образ связан с одним из Амеша Спента, покровителем металлов, оружия и небесного свода.

Таким образом, терракотовые плитки согдийского образца, найденные в Чаганиане, демонстрируют, с одной стороны, преемственность традиции почитания Шахревара, зафиксированную для более раннего времени кушанскими монетами, а с другой –

показывают процессы взаимовлияния, протекавшие начиная с периода включения Тохаристана и Согда в состав государства эфталитов.

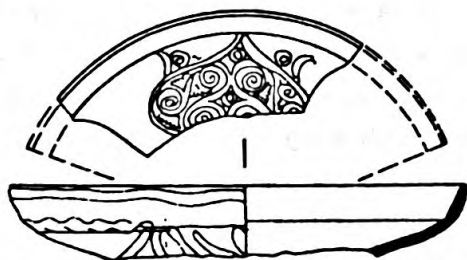
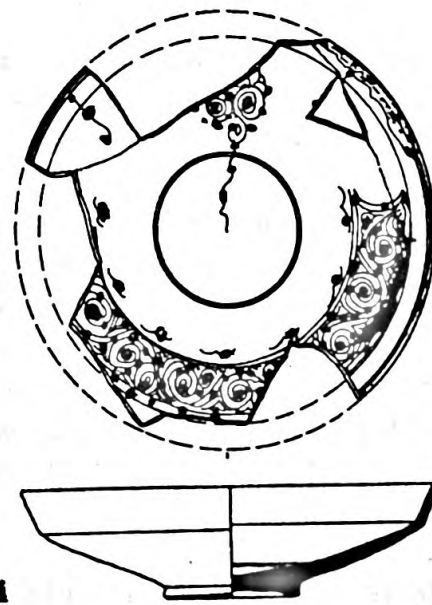
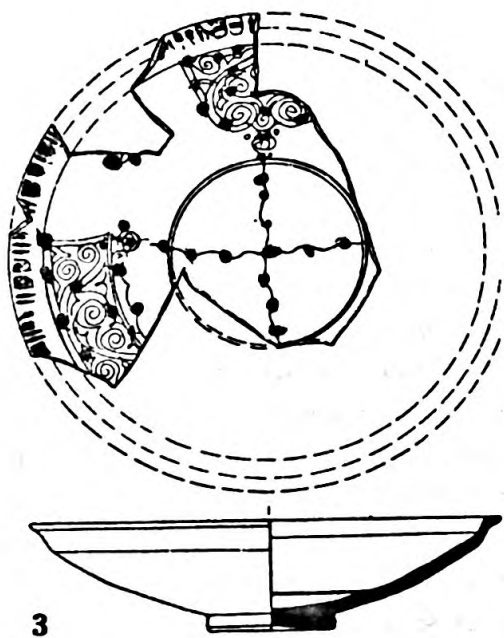
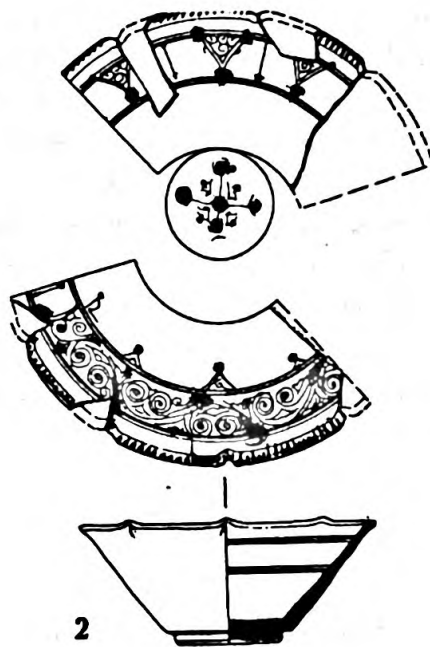
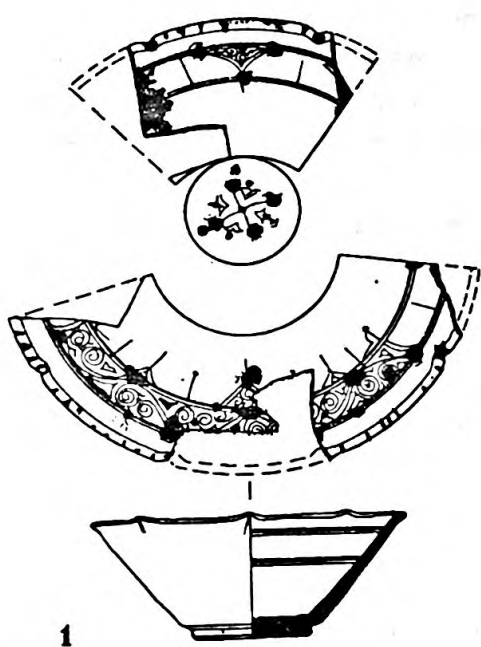
С. Р. Ильясова (Самарканд)

ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ТРАДИЦИОНАЛИЗМЕ ("Древо жизни" на керамике Ферганы)

Один из универсальных символов мироздания, созданный мифопоэтическим сознанием древних, распространенный почти повсеместно и включавший в себя множество разновидностей и вариантов (в частности, понятие Древа жизни) – образ Мирового древа, представления о котором обобщены В. Н. Топоровым (Мифы народов мира). С этими представлениями связывают самые разнообразные изображения, от древнейших до средневековых, в которых принципы строения Вселенной или идеи зарождения и развития жизни, плодородия и плодовитости, воплощены либо довольно наглядно, либо в виде символической растительной орнаментики. Довольно характерно, что с развитием общества более или менее четкое осмысление подобных изображений, по-видимому, размывается. К примеру, в прикладном искусстве и художественном ремесле средневековой Средней Азии семантика изображений, скорее всего, уступает место декоративному значению растительных, зооморфных и т. п. композиций. Трудно представить, что расписывая керамическое блюдо или гравирюя бронзовый кувшин, мастер держал в голове сложную картину мироздания и стремился символически воплотить ее на своем изделии. И тем не менее, декоративное оформление вещей несло в себе определенную семантическую нагрузку, содержало пронесенные через века и поколения идеи о благодати, благотворности тех или иных изображений и символов. В этом проявлялась сила традиции, определенного консерватизма, присущего, в особенности народной среде, к каковой можно отнести средневековых ремесленников.

Одним из примеров подобной преемственности является композиция, выявленная нами на большой группе ферганской глазурованной посуды. Речь идет о сосудах открытой формы – чашах и блюдах конца XII – начала XIII вв. (см. ил.), найденных на цитадели городища Ахсикет в Туракурганском районе Республики Узбекистан (исследования проводились отрядом Института археологии АН Республики Узбекистан под руководством И. А. Ахрарова и при участии автора) (Ахраров 1990).

В XII в. чрезвычайно популярным становится подглазурный гравированный декор. Кроме того, для конца XII в. характерно появление нового варианта чаш и пиал конической формы. По сырой глине на венчике этих сосудов сделаны вдавления, придающие устью волнистую форму. Сосуды с подглазурным гравированным по ангобу узором (блюда и чаши), в свою очередь, подразделяются на две большие подгруппы. Первая состоит из чаш, покрытых бесцветной глазурью, в которых гравировка часто дополнена точками и пятнами зеленой и коричневой краски, во вторую входят сосуды, покрытые глазурью ярко-зелёного цвета. Что касается мотивов декорирования, то они в обеих подгруппах идентичны. В отличие от посуды с расписным подглазурным декором X – XI вв., в украшении которой растительная орнаментика и символика была широко представлена центрической композицией с мотивом букетов, вырастающих из центра сосуда, композиция на описываемой группе керамики превращается в вертикальную – букет или дерево веерообразной, миндалевидной и трапециевидной формы вырастает из четырёхугольной фигуры, занимающей противоположный край сосуда. При этом стебель или ствол, показанный очень схематично или не показанный вовсе, но подразумеваемый,



01 5 10

Чашы и блюда конца XII – начала XIII вв. с цитадели городища Ахсикет

проходит через центр чаши. На конических чашах изображение растения приобретает весьма условный и схематизированный облик, но тем не менее композиция вполне узнаваема. Популярность данного мотива в Фергане не только на керамике с гравировкой демонстрирует пока единственный известный нам сосуд из Кувы этого периода, на котором описанная композиция выполнена в технике подглазурной росписи. Вертикальные композиции в целом не характерны для глазурованной посуды Мавераннахра IX – XI вв. с растительной орнаментикой, встречаются они довольно редко (Ильясов, Ильясова 1989). Тем удивительней их появление в конце XII в. на гравированной керамике Ферганы, причем в виде, не оставляющем сомнений в том, что перед нами именно воплощение идеи Древа, произрастающего из Земли. Несмотря на декоративность, налицо символика, обозначающая растительный мир как воплощение блага, жизни, роста, плодородия и т. п. Таким образом, в данной композиции можно, на наш взгляд, увидеть один из примеров сохранения традиций и преемственности в культурном наследии Востока.

С. Н. Кибирова (Санкт-Петербург)

**ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ
ОАЗИСОВ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА**

Формирование уникальной культуры Восточного Туркестана было обусловлено такими двумя главными факторами, как Шелковый путь и геополитическое положение этого региона. Находясь в центре Азии, на стыке крупнейших цивилизаций мира, Восточный Туркестан с глубокой древности играл роль перекрестка этносов, религий и культур Евразии. Эти контакты существенно активизировались в эпоху двух наиболее могущественных империй Востока и Запада – Ханьского Китая и Римской. Во второй половине II в. до н. э., с выходом Китая в Ганьсуйский коридор, по Шелковому пути устанавливаются долговременные торгово-дипломатические отношения между Китаем и Западными землями, в число которых входили и области Восточного Туркестана. В связи с климатическими условиями и политической обстановкой число, направление и динамика дорог на Шелковом пути менялись, но главные его артерии на протяжении более полутора тысяч лет стабильно пролегли через этот регион. Резко континентальный климат и система орошения способствовали образованию государств-оазисов, ожерельем охвативших огромную пустыню Такла-Макан в центре Восточного Туркестана. Шелковый путь по его территории кольцом огибал пустыню, образуя две основные дороги – южную и северную. В “Описании Западного края” (II в. до н. э. – II в. н. э.) южный путь назван единственным, который связывал империю Хань с Западом. В III – IV вв. н. э., по мере угасания жизни в древних оазисах Крорайны, Эндере, Ния и Дамдан, главной дорогой стал северный отрезок – через Турфан, Карашар и Кучу.

С древнейших времен на территории Восточного Туркестана выделялись оазисы Цюцы (Куча), Сулэ (Кашгар), Гаочан (Турфан), Ичжоу (Хами) и Юйтянь (Хотан). Их города на протяжении многих веков служили узловыми пунктами на трассе Шелкового пути и выполняли функцию своего рода тиглей, в которых сплавились, активно взаимодействуя и взаимообогащаясь, культурные достижения и традиции великих цивилизаций Евразии. Кроме того, на местные этнокультуры оказывали сильное воздействие миграции народов, а также вхождение областей региона в различные

политические объединения. Весьма ощутимый миграционный процесс произошел в середине IX в. в связи с переселением в Восточный Туркестан уйгуров, которые живут там до настоящего времени и входят в число наследников многовековых культурных традиций Восточного Туркестана во всем их разнообразии.

Особое место среди достижений древнего населения Восточного Туркестана занимала музыкальная культура. Первые сведения о музыке Восточного Туркестана содержатся в китайских письменных источниках, и относятся они ко II в. до н. э. Перечисляя города Западного края, оказавшие наибольшее влияние на музыкальную культуру Китая, они называют, в первую очередь, Цюцы (Куча), Сулэ (Кашгар) и Гаочан (Турфан). Привозимые как нечто экзотическое, либо в качестве “живого” приданого принцесс, выдаваемых замуж за китайских императоров, либо пленников, музыканты, певцы, танцоры, актеры из Восточного Туркестана ознакомили китайцев со своими инструментами, музыкой, танцами и т. п. Древние традиции с успехом развиваются современной уйгурской музыкой, в частности ее ведущим инструментально-вокально-танцевальным жанром *мукам*.

И. Мациевский (Санкт-Петербург)

О ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ АРХЕОЛОГИИ С
ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕМ И ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЕЙ
НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Музыкальная археология как наука или область научного знания весьма молода. Еще не сложилась даже сколько-нибудь однозначная трактовка ее исследовательского профиля. Согласно одним представлениям, это область археологии, посвященная фиксации и интерпретации относимых к музыкальной культуре артефактов, полученных в результате раскопок. Согласно другим, ее объект – это древнейшие памятники музыкальной истории и доистории, т.е. сфера музыкальной антропологии и истории музыки.

Однако при любом взгляде на объект и предмет исследования все большую актуальность приобретает проблема междисциплинарного взаимодействия музыкальной археологии с инструментоведением (органологией) и этномузыказнанием. Взаимодействие это имеет двухвекторный характер. С одной стороны, достоверно зафиксированные и атрибутированные археологические факты не только обогащают исследовательскую базу, но и способствуют объективации исторических моделей органологии и этномузыказнания; с другой – органологические и этномузыкаведческие данные и выводы существенно сказываются на объективной интерпретации исторических процессов и, в особенности, явлений этнической истории. Последнее, прежде всего, связано с тем обстоятельством, что наиболее архаичные, связанные с древнейшими стадиями культурной антропологии музыкальные орудия чаще всего изготовлялись из нестойких материалов (травы, листьев, стеблей растений и т.п.). Будучи инструментами разового или сезонного употребления, они не предназначались для длительного использования, хранения и могли дойти до нас лишь при исключительных биогеологических обстоятельствах. Находимые в раскопках древнейшие собственно материальные артефакты музыкальной культуры (из раковин, камней, костей птиц и животных и т.п.) находятся поэтому с культурно-антропологическими архетипами в сложных, неоднозначных связях. Сохранение у ряда этносов архаических форм охоты,

собирательства, скотоводства обеспечило нерушимость основ репродуцирования, традиции производства и применения ряда архаичных (стадиально!) звуковых орудий. Их исследование в координации с данными по другим видам материальной и духовной культуры того или иного этноса либо культурно-исторического образования позволяет приходиться к более обоснованным этно-историческим выводам.

Согласно данным этнологии и инструментоведения, губнощелевые флейты относятся к одному из этнорепрезентирующих феноменов культур финно-угорских народов (Э. Эмсгаймер). Исследования конца XX в. показали наличие этого инструмента не только у народов, этногенез которых включает финно-угорский субстрат (например, русские, башкиры, татары), но и у длительно не контактировавших с уральскими племенами тюркских (алтайских) этногрупп (кара-киргизов и др.), что позволяет размышлять о соотносимости названного феномена с енисейской эпохой алтайско-уральской общности. С этим хорошо координируются енисейские археологические ансамблевые пан-флейты (А. Черныш) – одного органологического типа с пэляннез и куима-чипсанами коми, курскими кугиклами и литовскими скудучай (последние к тому же снабжены теми же знаками-символами, что и названные енисейские прототипы). Их собственно балтский аналог – натуральные трубы и квази-сутартинный тип ансамблирования – фиксируемый у этнических белорусов северо-восточной Белосточкины, служит подтверждением ятвяжской (балтской) версии в трактовке их этногенеза. Лишь при инструментоведческом понимании законов соотносимости корпуса, мензуры, расположения струн хордофона со способом воспроизведения звука возможна достоверная интерпретация типологии согдийских арфо-лютен при ненормативных (Р. Сардоков) размерах возбuditеля – плектра, смычка или ударника. В свою очередь, новое поле для размышлений открывают обнаруженные археологами и реконструируемые инструментоведами как губнощелевые флейты из птичьей кости сваевой эпохи (5-е тыс. до н. э.) на севере нынешней этнической Беларуси...

Особую значимость для исторических построений приобретает выявление инструментоведами-музыкологами закономерностей взаимосвязи между конструкцией, эргологией, способом употребления музыкального инструмента и артикуляционными, интонационными, ритмическими и композиционными особенностями исполняемой на нем музыки, а всего ее комплекса – с артикуляцией, фоникой, ритмикой, лексикой и структурой речи, что позволяет включить в исследовательское поле музыкальной археологии также данные этнолингвистики, фольклористики и этномузукологии.

Сохранность ранне-стадиальных структур в мышлении, поведении (бытовом и обрядовом), обычаях и фольклоре у ряда хранящих древнейшие традиции этносов или этнографических образований позволило И. Богданову ввести еще один существенный предмет исследования в область музыкальной археологии – стратиграфические пласты музыкальной памяти – и добиться существенных результатов в осознании многих музыкально-антропологических реалий.

Несмотря на обращение к древнейшим историческим ценностям и пластам культуры, музыкальная археология поистине является совсем юной наукой, находящейся сегодня на стадии своего формирования в качестве самостоятельной дисциплины. Горизонты же ее широки и ясны.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЕЕ НАСЛЕДИЕ

(бактрийско-тохаристанский вариант в свете археологических данных)

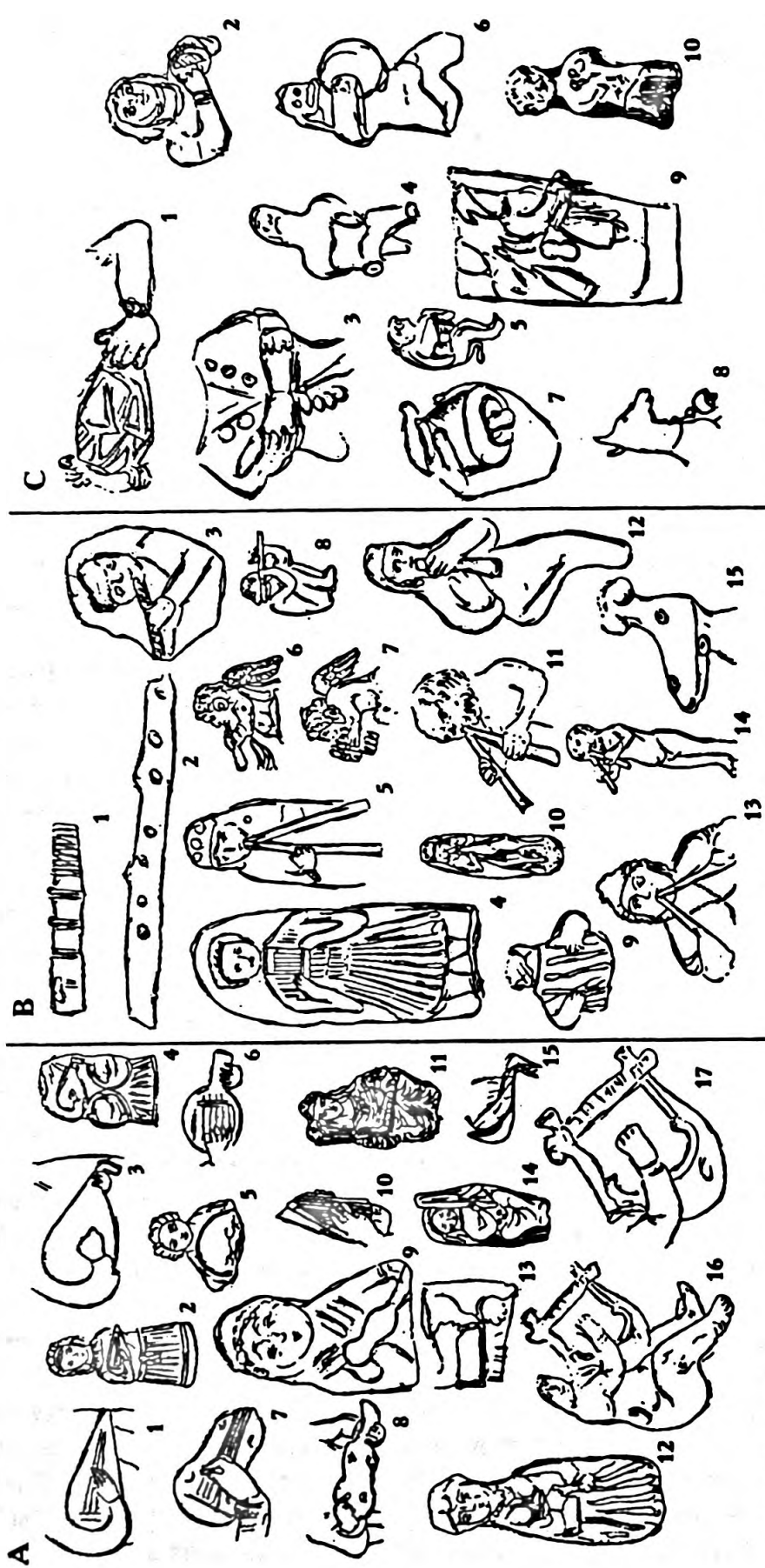
О существовании музыкальной культуры доарабской Средней Азии было почти ничего неизвестно более полувека тому назад. В настоящее время только благодаря археологическим исследованиям, успешно осуществляемым в 1930-х – 80-х гг. на территории среднеазиатских республик, Казахстана и Горного Алтая, перестала существовать лагуна в изучении музыкального наследия народов азиатского континента. После длительного игнорирования Средней Азии как самостоятельного историко-культурного региона, который, согласно консервативной традиции, долго рассматривался лишь в контексте иранской цивилизации, открылась перспектива представить дотоле неизвестное и вместе с тем важное звено истории музыкальной культуры Среднего Востока и мировой цивилизации. Выявление и накопление базового материала, его типологическая и хронологическая классификация позволили получить общие представления о древней музыкальной культуре Средней Азии и конкретизировать локальные варианты в пределах отдельных историко-культурных регионов.

Цель настоящего сообщения – дать свод памятников музыкальной археологии Бактрии-Тохаристана. Художественная культура этой области, охватывавшей в древности южные районы Узбекистана и Таджикистана и территорию на севере Афганистана, отражала синтез различных этносов, религий, творческих традиций искусства Запада и Востока. Бактрийско-тохаристанский участок Великого шелкового пути представлял собой перекресток караванных дорог, связывавших эту страну с Ираном, Индией, Китаем и Римом. Существенными вехами в изучении музыкальной культуры Бактрии-Тохаристана следует считать появление обобщающих музыковедческих трудов – очерка Т. С. Вызго о древних музыкальных инструментах Средней Азии (1980) и специального тома серии “Musikgeschichte in Bildern” (Karomatov, Meškeris, Vyzgo 1987), а также работ К. Абдуллаева (1986; 1990). Итоги этих исследований подготовили почву для решения задачи исторической периодизации памятников музыкальной культуры, представленных в археологических комплексах четырех хронологических периодов:

1. ахеменидский (V – IV в. до н. э.): изображения жрецов в качестве участников культового песнопения на предметах из Амударьинского клада и Чим-кургана.

2. эллинистический (конец IV – II вв. до н. э.): идиофоны-колокольчики из Амударьинского клада и Ай-Ханум; аэрофоны – деревянная горизонтальная флейта (Ай-Ханум), изображение *авлоса* на статуэтке Силена-Марсия и костяные флейты (Тахти Сангин, Старый Термез).

3. Кушанский (I в. до н. э. – IV в. н. э.) – период, характеризующийся сосуществованием восточно-эллинистических, ирано-зороастрийских, местных бактрийских и индо-буддистских тенденций. Это было время расцвета музыкальной культуры Бактрии. Изображения музыкантов и инструментов часто встречаются на Айртамском фризе и терракотах из Старого Термеза, Кампыр-тепе, Зар-тепе, Дальверзин-тепе и других городищ. В кушанской Бактрии лидирующим инструментом следует признать короткую лютню (с округлой и грушевидной декой), которая явилась прототипом популярных струнно-щипковых инструментов *борбада* и *уда*. Бактрийская короткая лютня сыграла значительную роль в развитии инструментальной культуры западных стран и Китая (Т. С. Вызго, Л. Пиккен). Самобытная и типичная именно для Бактрии



А: 1-4, 12-14 - терракотовые статуэтки I - II вв. н. э. из Дальверзин-тепе; 5 - глиняная статуя - I в. до н. э. из Халчяна; 6 - фрагмент терракотовой статуэтки первых веков н. э. с городища Старого Термеза; 7, 10 - детали Айртамского фриза, II в. н. э.; 8 - терракотовая статуэтка первых веков н. э. из Сарнасия; 9 - статуэтка первых веков н. э. с городища Будрач; 11 - терракота первых веков н. э. с городища Старого Термеза; 15 - деталь терракотовой плитки Зар-тепе, III - IV вв. н. э.; 16, 17 - фигурка из меди и ее деталь, Тахти Сангин, I в. н. э. В: 1 - костяная флейта III - II вв. до н. э. из Старого Термеза; 2 - деревянная горизонтальная флейта из Ай-Ханум, III - II вв. до н. э.; 3 - статуэтка из Кампыр-тепе, середина I в. н. э.; 4 - реконструкция на основании фрагментов терракот первых веков н. э. из Кампыр-тепе и Зар-тепе; 5, 10 - статуэтки первых веков н. э. из Старого Термеза; 6, 7 - изображения на Бартымском кубке, III - VII вв. н. э.; 8 - деталь тохаристанской чаши со сценой свадебного пира, VII в. н. э.; 9 - фигурка первых веков н. э. из Зар-тепе; 11 - фрагмент бронзовой статуэтки II в. до н. э. из Тахти Сангин; 12 - статуэтка I - II вв. н. э. из Кампыр-тепе; 13 - деталь Айртамского фриза, II в. н. э.; 14 - бронзовая статуэтка II в. до н. э., Тахти Сангин; 15 - санстулька в виде фигурки барана из Дальверзин-тепе, первые века н. э. С: 1, 2 - детали Айртамского фриза, II в. н. э.; 3 - фигурка первые веков н. э. из Куль-тепе; 4 - терракота первых веков н. э. из Гиссарской долины; 5 - изображение на серебряной чаше VII в. н. э. со сценой венчания царя и свадебного пира; 6 - терракотовая статуэтка первых веков н. э. из Барат-тепе; 7 - фрагмент глиняной скульптуры VII в. н. э. из Аджина-тепе; 8 - фрагмент керамической чаши VII в. н. э. из Кафыр-калы; 9 - фрагмент плитки из Зар-тепе, III - IV вв. н. э.; 10 - фигурка из Дальверзин-тепе, I - II вв. н. э.

гитараобразная лютня могла быть изобретением бактрийцев, от которых она проникла в Индию (Буткара) и Восточный Туркестан (Миран). К этому типу инструментов возможно восходит смычковый народный инструмент *рубаб*. Бактрийская угловая арфа представлена двумя типами: миниатюрная треугольной формы и большая с изогнутым резонатором, явившаяся прототипом средневекового *чанга*. Кроме местных арфовидных инструментов, в Бактрии позднекушанского времени, судя по уникальному изображению на плитке из Зартепе, была известна дуговидная индийская арфа. В бактрийском инструментарии существовали и разнообразные аэрофоны: горизонтальные и вертикальные флейты, “флейта Пана”, двойная флейта-*авлос*. Среди ударных инструментов получили распространение барабаны в форме бочонка и песочных часов, а также кроталы и тарелки. Известны находки колокольчиков в погребениях (Туп-хона, Пархарский могильник, Иттифок).

4. Раннесредневековый период (V – VIII вв. н. э.) не столь богат памятниками музыкальной археологии. В частности, известны роспись с музыкальной сценой и вещественная находка короткой лютни на городище Балалык-тепе. Декор Бартымского кубка содержит реминисценции античной музыкальной культуры. Представляется весьма перспективным изучение генезиса бактрийско-тохаристанского инструментария эпохи раннего средневековья по материалам из Хульбука и Лакшари-Базар, а также по данным средневековой миниатюры и письменных свидетельств (Ибн-Сина, аль-Фараби [см. Гулямова, Хикманн]).

Важное значение Бактрии-Тохаристана в распространении эталонов музыкальной культуры по трассам восточного участка Великого шелкового пути в эпоху поздней античности и раннего средневековья нашло отражение не только в параллелизме некоторых сюжетов и инструментов (например, аппликации, изображающие эроты, из Тахти Сангина и реликварий из Кучи, *сирикс* и барабан-песочница на терракотах из Бактрии и Хотана), но и в восприятии бактрийских традиций (росписи Мирана, рельефы Чан-те-фу и сосуд из Хонаня, см. работы А. Стейна, Г. Скальи, Дж. Лернер). Исследование памятников музыкальной археологии Бактрии-Тохаристана открывает перспективу изучения взаимодействия инструментальных культур Азиатского континента.

А. Б. Никаноров (Санкт-Петербург)

ДРЕВНИЕ ЦЕРКОВНЫЕ КОЛОКОЛА ХРИСТИАНСКОГО ВОСТОКА

(на примере Эфиопии)

В отличие от европейских и буддийских, колокола христианского Востока в настоящее время остаются наименее изученной темой музыкальной археологии. Хотя сведения о них имеются в различных географических и этнологических работах, специальное исследование по этой проблеме мне не известно. Пожалуй, единственным автором, интересовавшимся этим вопросом, был эстонский музыковед Э. Арро. Им в 1963 г., на основе материалов Ф. Альвареса, Э. Ф. Мюнценбергера, Т. фон Хойглина и Г. Хикманна, а так же данных немецких экспедиций в Аксум, был поднят вопрос о типах и характере функционирования колоколоподобных инструментов Абиссинии (Эфиопии). Из его исследований следует, что для богослужения употреблялись как металлические колокола, так и каменные (литофоны). Последние представляли собой каменные плиты, которые висели при помощи лыковых веревок на перекладине, поддерживаемой низкими

раздвоенными столбами. Когда в них ударяли каменными шарами размером с яблоко, они издавали хотя и несколько отрывистые, но тем не менее красивые звуки. По данным Т. фон Хойглина, в абиссинской церкви особенно почитается колокол, который подвешивается на дереве или в специальной маленькой колокольне, и в который не звонят, а бьют. Кроме того, небольшие колокольни сооружались перед западным фасадом церкви с одним расположенным на уровне земли маленьким квадратным помещением, в которое и помещался колокол. Колокола не подвешивали высоко, поскольку они служили не столько для созыва верующих в церковь, сколько для использования во время проведения самого богослужения. При отсутствии металлических колоколов использовали одну или несколько каменных плит, подвешенных на ветвях деревьев. К сожалению, звучание этих колоколов и наличие в нем каких-либо определенных мотивов звонов не известно.

Кроме каменных, в Эфиопии издавна существовали и металлические колокола плоской формы, которые упоминаются уже в сообщении Ф. Альвареса (1558 г.). Европейские же металлические колокола, т. е. круглой формы стали использоваться, по-видимому, позднее. Однако они не сумели полностью вытеснить колокола в виде каменных плит.

Примечательно, что литофоны служили, прежде всего, в качестве повседневных колоколов, к которым металлофоны обычно добавлялись в праздники. Вместе они создавали впечатление праздничной оркестрики звонов, подобной индонезийским *гамеланам* и имеющей также сходство с колокольной музыкой Восточной Европы, особенно России.

В. Ф. Платонов (Санкт-Петербург)

ПАРФЯНСКИЕ МНОГОСТВОЛЬНЫЕ ФЛЕЙТЫ
НА РИТОНАХ ИЗ СТАРОЙ НИСЫ

Археологические раскопки, произведенные в Старой Нисе, расположенной недалеко от совр. Ашхабада, дали исключительно богатый материал по культуре и искусству Парфянского государства. Для нас большой интерес представляют обнаруженные там ритоны – крупные рогообразные сосуды, выточенные из слоновой кости, на фризах которых изображены сцены и персонажи в эллинизированном стиле, в том числе музыканты с инструментами. При рассмотрении сюжетов, прежде всего, обращает на себя внимание разнообразие инструментальных ансамблей и самих музыкальных инструментов. Среди последних особый интерес представляет многоствольные флейты или “флейты Пана” – аэрофоны, не получившие широкого распространения на территории Средней Азии. Барельефные изображения нисийских многоствольных флейт предоставляют нам уникальную возможность попытаться реконструировать как внешние, так и внутренние признаки восточной панфлейты II в. до н. э.

Одну из первых попыток интерпретации парфянских многоствольных флейт предприняла Т. С. Вызго: “Очевидно, инструмент представлял собой набор тростниковых (бамбуковых) трубочек, закрытых с одного конца. ... Каждая трубка издавала только один звук, высота которого зависела от длины трубки... Чаще всего их (трубок. – В. П.) пять, встречаются и семиствольные флейты”.

Действительно, многоствольной флейтой традиционно считается набор продольных флейт, соединенных в один инструмент. Но сразу возникает вопрос, каким образом соединенных? Таких способов три: трубки соединены в один ряд, в два ряда и в пучок.

Судя по изображениям, панфлейты из Нисы состояли из нескольких продольных флейт (трубок), подобранных в один ряд форме плота. Но такие флейты могут состоять как из открытых или закрытых трубок, так и из тех и других. С каким же типом многоствольных флейт мы сталкиваемся на ритонах? Если нисийские многоствольные флейты состояли из трубок, закрытых с одного конца, то почему тогда они все одинаковой длины? Ведь в этом случае из инструмента можно было извлекать только один и тот же звук! Ответить на этот вопрос можно будет, только затронув проблему инструментального строя “флейт Пана”. Существуют два способа настройки инструмента: трубки подбираются различной или же одинаковой длины, но с разной длиной внутреннего канала каждой трубки, входящей в набор. Все трубки нисийских флейт одинаковой длины, из чего следует, что высота звука у них зависела не от длины трубок, а от размера их внутреннего канала. Чем короче канал, тем выше звук, чем длиннее – тем ниже. Следовательно, можно с достаточной степенью уверенности предположить, что парфянские многоствольные флейты – это аэрофоны, состоящие из набора продольных флейт, которые при одинаковой длине имели разную длину внутреннего канала.

Разное количество трубок у парфянских многоствольных флейт свидетельствует о том, что данные инструменты могли не иметь постоянных звукорядов. Последние зависели от количества трубок в наборе, а в нашем случае и от соотношения длины их внутренних каналов. Какие это могли быть соотношения? Размер каналов флейтисты Парфии могли регулировать при помощи постоянной пробки, функцию которой выполнял, по-видимому, расплавленный воск, заполнявший в разных пропорциях внутренний объем каждой трубки. Таким способом инструменталисты получали на своих инструментах различные звукоряды. Т. С. Вызго интерпретирует строй нисийских флейт следующим образом: “Поскольку на нисийских ритонах встречаются пяти- и семиствольные флейты, постольку можно предположить, что музыка, исполняемая на них основывалась на пятиступенном или семиступенном звукоряде”. Не углубляясь в этот вопрос, заметим, что само по себе наличие в наборе парфянских флейт пяти или семи трубок не может служить достаточным основанием для определения ладовой структуры исполнявшейся на них музыки. Многоствольные флейты инков, например, могли воспроизводить полный диатонический звукоряд, однако сами индейцы и сегодня исполняют на этих инструментах только пентатонную музыку. Тем не менее, не оспаривая сам факт возможности наличия в музыкальной практике Парфии II в. до н. э. пяти- либо семиступенных звукорядов, отметим, что любой звукоряд на духовом инструменте может быть изменен исполнителем. Так, в зависимости от способов держать инструмент и прикладывать губы, можно добиться различия в высотах звука, извлекаемого из одной и той же трубки. Можно вообще значительно повысить высоту любого звука и тем самым изменить ладовую структуру звукоряда. Для этого в трубку достаточно бросить несколько зернышек. Разница в длине каналов на 7 мм дает, например, разницу в высоте звука почти на $\frac{1}{2}$ тона. В музыкальной практике исполнительства на многоствольных флейтах зафиксированы и такие случаи, когда расположение трубок представляет собой не звукоряд, а соответствует конкретному движению мелодии. На островах Тонга (Полинезия) еще в прошлом веке существовали девяти- и десятиствольные флейты Пана, на которых местные аборигены исполняли музыку, основанную на пяти- и, соответственно, четырехступенных звукорядах. И последнее. На духовых инструментах, наряду с основным звукорядом, при

слишком сильном вдувании образуются частичные тоны (обертоны). В нашем случае на закрытых парфянских панфлейтах, помимо основного звукоряда, исполнители могли получать дополнительный обертоновый звукоряд, состоящий из нечетных обертонов.

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод. Парфянские многоствольные флейты II в. до н. э. представляли собой пяти- и семиствольные флейты типа “флейты Пана”, состоящие из набора закрытых с одного конца продольных флейт, подобранных в один ряд и соединенных между собой в двух местах в форме прямоугольного плота. Трубки закрытых продольных флейт при одинаковой длине имели разную длину внутренних каналов, что давало возможность флейтистам исполнять разнообразную в ладовом отношении музыку, основу которой составляли следующие звукоряды: пяти- или семиступенный диатонический звукоряд; расширенный звукоряд, включающий в себя основной и обертоновый звукоряды; альтерированный звукоряд, представляющий собой вариант любого основного пяти- или семиступенного звукоряда; звукоряд, фиксирующий конкретную мелодию.

В. А. Свободов (Санкт-Петербург)

К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРИФНЫХ ХОРДОФОНОВ:
МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Музыкальная археология как наука ставит перед собой две основных проблемы: интерпретацию найденных в ходе раскопок остатков музыкального инструментария и его реконструкцию. В частности, если иметь в виду вещественные находки хордофонов, то археологи, как правило, имеют дело с остатками их резонатора, по которым фантазия ученого пытается воссоздать внешний облик ископаемого инструмента. Так, А. Резепкиным (1997) и Ю. Сташем (1997) была предложена концепция реконструкции угловой арфы по “остаткам деревянного предмета в виде ящичка”, найденным при раскопках подкурганной мегалитической гробницы на Северном Кавказе. На Второй Международной инструментоведческой конференции (1995 г.), проводимой Сектором инструментоведения Российского института истории искусств (РИИИ), был продемонстрирован деревянный ящичек, сконструированный Ю. Сташем, назвавшим свою модель *пхъотэпцын* (“поющий ящичек”). К сожалению, пения ящичка участники конференции не услышали, так как модель на самом деле оказалась не “поющим ящичком”, а всего лишь его макетом. Что же касается музыковедческого аспекта реконструкции – количества струн и звукоряда археологического хордофона, то ее автор ограничился следующим замечанием: “Песни времен нартов, дошедшие до наших дней, укладываются в одну октаву... Следовательно, ... мы можем предположить, что реконструируемый инструмент оснащался семью струнами с диатоническим строем звукоряда” (Сташ 1997: 36). Находка А. Резепкина относится к новосвободненской культуре (конец IV – середина III тыс. до н. э.). Какое отношение к той культуре имеют “песни времен нартов, дошедшие до нашего времени”? [Подобно тому, как и выстукивание современным исполнителем ритмов на костях мамонта вряд ли сможет приоткрыть завесу с тайны “древнейшего музыкального комплекса” раскопок Мезинской стоянки эпохи палеолита (Бибиков 1981).]

Поэтому более удачным кажется опыт мастера-экспериментатора А. Гнездилова (Барнаул), ознакомившего участников Третьей Международной инструментоведческой

конференции (1997 г.) с музыкальным инструментом, в основу конструкции которого был положен проект реконструкции арфы, выполненной Б. Лоугреном (США) по остаткам музыкального инструмента, найденного при раскопках кургана Пазарыкской культуры на Алтае (ок. IV в. до н. э.). Хордофон мастера из Барнаула предназначался для исполнения народных мелодий, бытующих в наши дни на Алтае. Удивительно! Звукоряд “скифской арфы” (так назвал А. Гнездилов свою репродукцию) совпал со звукорядом “азиатской кифары”, на которой знаменитый поэт и музыкант древней Эллады Терпандр одержал победу на поэтических соревнованиях в Спарте в 676 г. до н. э. (Переверзев 1966: 12). Однако из этого случайного совпадения не следует, что во времена Терпандра народы, жившие на Алтае, распевали песни, которые поют сегодня жители этого горного региона, а тем более, что сам Терпандр пел их у себя на родине. [Правильнее было бы назвать “скифскую арфу” А. Гнездилова “алтайской”.]

Интерпретация археологических находок в качестве музыкальных инструментов, а тем более реконструкция музыкального инструментария по данным археологических раскопок требует тесного творческого сотрудничества археологов и музыковедов. Не случайно, вероятно, в работе IX Международного симпозиума музыкальных археологов (Германия, 1998 г.) представители собственно музыкальной науки принимали самое деятельное участие. Действительно, дальнейшая судьба известного музыковедческого издания “Musikgeschichte in Bildern” всецело зависит от того, насколько успешно будет решаться проблема реконструкции не столько внешних признаков археологически известных инструментов, сколько их внутреннего устройства, а именно, если иметь в виду хордофоны, восстановления их звукорядов и принципа звуковысотного соотношения настройки струн, понимая музыкальный инструмент как акустический прибор для нахождения звуков данной ладовой системы.

Здесь, прежде всего, принимает особое значение постановка вопросов, связанных с терминологией. *Танбур* начала нашего тысячелетия, воспетый Фирдоуси, это не инструмент современной исполнительской практики, фигурирующий под тем же названием. Если всего за три с половиной столетия конструкция инструментов скрипичного семейства подверглась существенным изменениям, не нашедшим отражение в полотнах выдающихся живописцев, стремившихся к максимальной детализации изображаемых моделей, то, исходя из данных археологических раскопок, можно лишь определить тип инструмента, но не более. В отношении конструкции хордофонов можно выделить два типа: инструменты-звукоряды (арфа, кифара, псалтериан, гусли и т. д.) и грифные хордофоны, где звукоряд строится на каждой отдельной струне, расположенной над грифом. В свою очередь, грифные хордофоны различаются размерами и шириной грифа, на котором располагаются игровые пальцы. Хордофоны с длинным узким грифом и резонатором небольших размеров получили в отечественном инструментоведении название танбуровидных, а с коротким широким грифом и большим резонатором – лютневидных. Независимо от длины и ширины грифа, размеров резонатора, а также формы колковой коробки (“головки”), звуковысотная настройка струн отражает закономерности ладовой системы музыкального мышления, в которой функционируют инструменты.

Установлено, например, что “классический” тип средневекового фиделя (XIII в.) находился в фактурно-аппликатурном соответствии с системой средневековых ладов в ее классическом варианте (Свободов 1988). Путем наложения минорного фрагмента звукоряда современного танбура на его мажорный получаем модифицированный звукоряд пятиструнного фиделя, что указывает на общие корни западноевропейской и восточной

инструментальных культур. Взаимосвязь опорных тонов лада и высоты настройки струн грифных хордофонов (Свободов 1998) позволяет решить проблему звуковой реконструкции археологических музыкальных инструментов. Думается, что опыт подобной реконструкции, описанный в исследованиях, посвященных западноевропейским и славянским струнным инструментам, может быть перенесен на инструментарий вневропейских музыкальных культур, в том числе и народов Востока.

Библиография

- Бибиков С. Н. 1981. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта. Киев.
- Переверзев Н. 1966. Проблемы музыкального интонирования. М.
- Резепкин А. Д. 1997. Музыкальный инструмент эпохи ранней бронзы на Северном Кавказе // Вопросы инструментоведения. Вып. 3. СПб.
- Свободов В. А. 1988. Становление и эволюция строя западноевропейских смычковых инструментов // Исполнительское искусство: виолончель, контрабас. М.
- Свободов В. А. 1998. Западноевропейский смычковый инструментарий середины XVIII столетия (по Леопольду Моцарту и Курту Заксу) // Материалы к энциклопедии музыкальных инструментов народов мира. Вып. 1. СПб.
- Сташ Ю. 1997. Музыкальный инструмент эпохи ранней бронзы (по археологическим раскопкам) // Вопросы инструментоведения. Вып. 3. СПб.

Е. С. Таникова (Санкт-Петербург)

ТЮРКСКИЙ КОМПОНЕНТ В ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКЕ МАРИ

Известно, что в процессе этногенеза мари принимали участие не только финно-угорские племена, но и представители многих других народов. Современные ученые (Акцорин, Архипов, Халиков) выделяют на историко-культурном уровне несколько этапов формирования национального культурного комплекса мари, связанных с различными иноплеменными контактами, оказавшими существенное влияние на данный процесс. Один из таких этапов характеризуется проникновением в пласт марийской традиционной культуры тюркских элементов, сначала благодаря взаимодействию с волжскими булгарами и среднеазиатскими тюрками (X – XIII вв.), а затем посредством контактов с населением Казанского ханства (XIV – XVI вв.). Следствием подобной интеграции стало появление некоторых новых компонентов в песенной, танцевальной и инструментальной традиции мари.

Рассмотрим, к примеру, *варган* – инструмент, имеющий тюркское происхождение и получивший распространение среди марийцев, у которых, однако, он приобретает другое название – *умша ковыж* (“ротовая скрипка”). Это один из немногих инструментов, обнаруженных во время раскопок древнемарийских захоронений, что свидетельствует о его бытовании в прошлом. Тем не менее, ареал его распространения в настоящее время довольно узок – среди сернурской, частично мари-турекской и моркинской групп мари. Характерно, что в тех же районах местное население параллельно с *варганом* использует и другой инструмент – *кон-кон* (музыкальный лук). Этот наиболее древний хордофон не имеет типологических аналогов в традициях соседних народов, как финно-угорских, так и тюркских, и в этом смысле можно говорить об обособленности и самостоятельности

данного инструмента. Все же мы хотели бы обратить внимание на сходство принципов звукоизвлечения, используемых при игре на *кон-кон* и *умша ковыж*. Резонатором для обоих инструментов служит полость и носоглотка, они имеют тембральное сходство во время звучания, сам звук извлекается щипком (в первом случае защипывается струна, во втором – язычок). В то же время, как отмечают исследователи, у многих тюркских народов наряду с металлическими *варганами* применяются и деревянные (Галайская, Рахимов). Возможно, в данном случае будет правомерным поставить вопрос о наличии органологической связи между *умша ковыж* и *кон-кон*, о взаимодействии их исполнительских принципов и некоторых моментов инструментальной постановки.

Другой инструмент, *ия-ковыж* также является следствием контактов древних мари с соседними тюркскими народами. Как подтверждают последние исследования, название инструмента трансформировалось с тюркоязычного термина *жия кубыз* – “скрипка с лукообразным смычком” (Рахаев, Герасимов). Следует отметить, что наряду с самим этим инструментом в марийскую инструментальную традицию вошли также:

1. особенности его функционирования – как у тюрков, так и у мари *ия-ковыж* использовался во время похоронного обряда;

2. характерные элементы постановки – вертикальный способ держания инструмента, неполное прижатие струн во время игры;

3. некоторые исполнительские приемы – активное использование нижней струны в качестве бурдона, хотя бурдонное интонирование в целом не характерно для марийской инструментальной традиции;

4. репертуар (нередко с собственными танцами и песнями).

В данном случае имеет место включение в пласт традиционной культуры мари целого комплекса заимствованных компонентов, оказавших впоследствии влияние на процесс формирования особенностей звукоидеала в районах распространения инструмента (группа луговых мари).

Тюркское влияние заметно также в традиционной хореографии и танцевальных наигрышах. Для болгар, татар и других народов, основным видом деятельности которых было скотоводство, зооморфность представлений являлась наиболее важной частью их мифологии (образы коня, лебедя и др. животных), что, в свою очередь, не могло не отразиться на других элементах традиционной культуры. В частности, для хореографии тюркоязычных народов характерно имитирование в танцах стука конских копыт (дробные движения ног, называющиеся общим термином *тыпырлату*), подражание посадке наездника (раскинутые в стороны или вытянутые перед собой руки, прямой корпус тела), характерные выкрики. Подобные параллели можно обнаружить также в марийской традиционной хореографии. Ритмы же некоторых тюркских танцев, например, башкирского “тыпырлау” (дробь с притопом) или “ат югерге” (бег коня) обнаруживают сходство с характерными для луговых мари танцевальными ритмами (Медведево куштымо сем, Олык марий муру сем).

Марийская музыкальная традиция за весь период своего развития формировалась в активном взаимодействии с другими культурами. Тем не менее, до настоящего момента она не утратила самобытности, сохранив свои первоначальные корни и вместе с тем элементы взаимодействий с другими традициями.

К ВОПРОСУ О ПРОНИКНОВЕНИИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
В ЮЖНУЮ СИБИРЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Со времени включения в эпоху раннего средневековья Саяно-Алтая в состав кочевых империй и установления регулярных контактов со странами Средней и Восточной Азии население этого района вошло в орбиту влияния мировых религий. Возможность проникновения к енисейским кыргызам в конце I тыс. н. э. христианства в форме несторианства, а также манихейства и буддизма допускали многие исследователи. О распространении у кыргызов "северного манихейства" настойчиво декларирует в ряде работ последних лет Л. Р. Кызласов. По его оценке, именно манихеям могут принадлежать раскопанные им в Минусинской котловине культовые постройки. Если манихейская принадлежность этих памятников остается пока недоказанной, то о знакомстве кыргызов с этим вероучением имеются и иные свидетельства. В рунических надписях из Монголии и Тувы встречается термин *мар*, которым назывались согдийские манихейские и несторианские вероучители. Религиозная каноническая символика, характерная для несторианства, манихейства и буддизма, присутствует на кыргызской тюркестанке. О знакомстве кыргызов с буддизмом свидетельствуют рунические надписи, открытые в Восточном Туркестане. Отдельные сведения о распространении буддизма среди кыргызской знати имеются также в тибетских источниках.

Буддийская символика в оформлении художественных металлических изделий в конце I – начале II тыс. н. э. была характерна не только для кыргызов, но и других этнических групп, обитавших на Среднем Енисее. Одной из находок, представляющих особый интерес в этом отношении, являются серьги с подвесками из погребения со шкурой коня на памятнике Койбалы. Эти предметы неоднократно издавались автором раскопок, С. Г. Скобелевым, однако, возможности для их анализа и интерпретации далеко не исчерпаны. Серьги изготовлены из золота. Их форма представляет собой уплощенную фигуру, образующую округлый нимб, симметрично расположенные крылья и загнутый хвост, украшенный окантовкой и кольцами из витой проволоки. К нимбу и крыльям по бокам на цепочках прикреплены полые шарики. С лицевой стороны к пластине-основе припаяна полая объемная фигурка обнаженной женщины с высокой прической, широкоскулым лицом, сложенными на груди в молитвенной позе руками. На голове, щеках и поясе фигурки изображены украшения. К тыльной стороне пластины прикреплены изогнутые стержни-крючки, характерные для серег монгольского времени. К каждой серьге крепилась подвеска в виде полого объемного бутона раскрывающегося цветка, вероятно, лотоса. К подвеске на цепочках крепились три полых шарика. В целом эти серьги сложной конструкции выглядели очень эффектно. Они совершенно не типичны для местной южносибирской ювелирной традиции изготовления серег.

Крылатые обнаженные женские фигуры на койбальских серьгах мало похожи на древнетюркские каменные изваяния, в которых некоторые исследователи усматривают изображение божества Умай. В значительно большей степени они схожи с изображениями гаруд или апсар, персонажей буддийского пантеона, заимствованных из индуизма. Гаруда, царь птиц, изображался с чертами человека и птицы. Известные ламаистские изображения гаруд более орнитоморфны, чем койбальские фигурки. У них изображены клювы, руки раскинуты по размаху крыльев, ноги в перьях с когтями. Более близкой аналогией койбальским находкам можно считать статую гаруды в индуистском храме XIII в. в г. Белуре. Белурская гаруда изваяна в виде обнаженной женской фигуры в стоящей

статичной позе с молитвенно сложенными на груди руками, в головном уборе и с украшениями на шее, плечах, груди, запястьях, поясе, щиколотках. За спиной у статуи крылья.

Достаточно широкой популярностью в буддийской иконографии пользовались образы апсар, гандахв или киннар, крылатых антропоморфных фантастических существ – небесных музыкантов. Они часто изображались в виде женских фигур с обнаженной грудью и украшениями, с птичьими крыльями, лапами и хвостом, в помпезных головных уборах, ниспадающих одеждах. У них были показаны руки с молитвенно соединенными ладонями, с цветком лотоса, блюдом или музыкальным инструментом. Эти образы нередко использовались в прикладном искусстве для изготовления украшений из золота и серебра. Парные золотые бляшки с изображением апсар украшали головные уборы и диадемы в империи Тан. Такие украшения несли охранительную функцию.

Вероятно, и койбальские серьги могли служить не только украшением, но и оберегом. Они использовались очень длительное время, поскольку одно из крыльев обломано и имеет следы починки. В пользу буддийской принадлежности анализируемых изображений свидетельствуют цветы лотоса и шарики на цепочках, предназначенные отпугивать злых духов.

Койбальские находки являются важным свидетельством распространения украшений с буддийской символикой среди населения Минусинской котловины в начале II тыс. н. э.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Многополюсный мир культур Востока: культурное наследие, вопросы традиционализма в развитии и взаимодействии

<i>В.М. Массон</i> (Санкт-Петербург). Традиционализм в культурном наследии цивилизаций Востока	5
<i>А.А. Амбарцумян</i> (Санкт-Петербург). Три парфянских термина из «Айадгар-и Зареран»	6
<i>В.К. Афанасьева</i> (Санкт-Петербург). Шумерский пласт месопотамской цивилизации: литературные тексты с позиций педагогики	13
<i>М.Н. Боголюбов</i> (Санкт-Петербург). Хорезмийская глагольная глосса	14
<i>А.К. Бондарев</i> (Санкт-Петербург). Культурные традиции и китайское экономическое чудо	16
<i>Я.В. Васильков</i> (Санкт-Петербург). Арийско-финно-угорские параллели в сфере заупокойного ритуала	19
<i>С.М. Горшенина</i> (Ташкент). Из истории организации изучения среднеазиатских древностей (об экспедиционной деятельности В.В. Крестовского)	22
<i>Л.Л. Гуревич</i> (Санкт-Петербург). Бухарские евреи и проблема десяти потерянных колен Израиля	26
<i>С.Г. Кляшторный</i> (Санкт-Петербург). Рунические памятники Таласа: проблемы датировки и топография	30
<i>А.И. Колесников</i> (Санкт-Петербург). О характере разночтений в тексте V книги «Денкарда» (по спискам В и К43b)	34
<i>С.В. Красниенко</i> (Санкт-Петербург). Кулайцы на Среднем Чулыме: столкновение традиций	37
<i>Г.А. Пугаченкова</i> (Ташкент). Буддийское искусство кушанской Бактрии	40
<i>И.В. Пьянков</i> (Великий Новгород). К вопросу об этнической и языковой ситуации в Бактрии ко времени возникновения Кушанской державы	42
<i>С.Н. Травкин</i> (Санкт-Петербург). Культурное наследие «Востока» в средневековых древностях Юго-Восточной Европы (на примере монет Шехр ал-Джедида)	43
<i>Н.О. Чехович</i> (Санкт-Петербург). Новый клинописный документ из финикийского Тира в собрании Государственного Эрмитажа (к вопросу о «мирных» документах среди руин)	45
<i>П.В. Шувалов</i> (Санкт-Петербург). К вопросу о влиянии аваров на позднеримское военное дело	48
<i>Д.А. Щеглов</i> (Санкт-Петербург). Структура «списков стран» древнеперсидских надписей	52
<i>А.Я. Щетенко</i> (Санкт-Петербург). Культурное наследие древнеиндийской цивилизации	55
<i>R.N. Frye</i> (Cambrige, Ma). The Achaemenids and Zoroastrian Fire Altars	59

II. Материальная культура древних обществ Востока и вопросы преемственности и традиционализма

<i>Д. Абдуллоев</i> (Санкт-Петербург). Некоторые доисламские традиции в средневековой культовой архитектуре Средней Азии	61
<i>Э. Авганова</i> (Ташкент). Металлическая и комбинированная скульптура Средней Азии	63

<i>И.М. Азимов</i> (Ташкент). К изучению строительной культуры средневекового Казахстана	64
<i>А. Анарбаев</i> (Самарканд). Урбанические традиции Ферганы	65
<i>Н.Е. Васильева</i> (Санкт-Петербург). Рисунки Роберта Кер Портера из собрания Британской библиотеки	66
<i>Т.Ю. Гречкина</i> (Самарканд). Захоронения в гроте Замича-тош	68
<i>А.Г. Грушевой</i> (Санкт-Петербург). Об интерпретации одного эпизода из «Тайной истории» Прокопия	71
<i>Р.М. Джанполадян</i> (Санкт-Петербург). Надписи на <i>хачкарах</i> как исторический источник	73
<i>М. Исамиддинов</i> (Самарканд), <i>К. Рапен</i> (Лозанна). О культурной преемственности в Согде в эпоху раннего железа (по данным строительной традиции)	74
<i>А.К. Каспаров</i> (Санкт-Петербург) Статуэтки животных и костяные орудия из поселения Кара-депе (Южный Туркменистан)	75
<i>С.М. Кашкай</i> (Баку). О скифских предметах в археологических памятниках юго-восточного Азербайджана	79
<i>К.Х. Кушнарера, М.Б. Рысин</i> (Санкт-Петербург). Бедено-алазанская группа памятников Кавказа: (к пересмотру хронологии, периодизации и культурно-экономических связей)	81
<i>И.Г. Нариманов</i> (Баку). Раскопки на некрополе Бузейир Лерикского района Азербайджана	82
<i>А.К. Нефёдкин</i> (Санкт-Петербург). Вооружение воинов Позднего Египта по данным торевтики финикийской работы VIII–VII вв. до н.э.	83
<i>В.П. Никоноров</i> (Санкт-Петербург). Об источнике информации Плутарха о маргианском железе	88
<i>А.А. Раимкулов</i> (Самарканд). Пещерные архитектурные сооружения Средней Азии	92
<i>Э.В. Ртвеладзе</i> (Ташкент). О монетах Вахшувара, месте его владений и принадлежности Амударьинского клада	93
<i>Н.А. Хан</i> (Киров). К вопросу о роли ордынского «выхода» во взаимоотношениях Руси и Орды	95
<i>О. Ценова</i> (Париж). Бактрийская декорированная керамика с Кампыр-тепе	96
<i>M. Biran</i> (Jerusalem). Chinese Emperors and Gürkhans: Cultural Traditions in the Development of the Qara Khitai (Western Liao) Dynasty (1124–1211) and the Role of Archaeology	100
<i>M.J. Olbrycht</i> (Kraków). The Significance of the Arsacid Kingdom in the History of Central Asia	101
<i>M. Sobti</i> (Atlanta). The Origins of Central Cities: Investigations into the Continuity of Urban Layouts, Formal Spaces and Structure	105
<i>S. Stride</i> (Tashkent). Archaeological Data Management in Central Asia	106

III. Развитие кочевых обществ и вопросы традиций и преемственности

<i>Н.А. Боковенко</i> (Санкт-Петербург). Происхождение всадничества и этапы развития верховой сбруи у древних номадов Центральной Азии	108
<i>А.Ю. Борисенко, К.Ш. Табалдиев, Ю.С. Худяков</i> (Новосибирск и Бишкек). Особенности поминальной и погребальной обрядности у западных и восточных тюрок в Средней и Центральной Азии	110
<i>В.Ю. Зуев</i> (Санкт-Петербург). Сарматский вотивный кинжал из первого кургана у дер. Прохоровка	111
<i>С.С. Миняев</i> (Санкт-Петербург). О наследии сюнну в истории и культуре народов Центральной Азии	115

<i>Вл.А. Семенов</i> (Санкт-Петербург). Синхронизация памятников сюнну Забайкалья и поздних скифов Тувы и Северо-Западной Монголии	117
<i>А.В. Субботин</i> (Санкт-Петербург). Скифы на юге Сибири: феномен тагарской культуры	122
<i>М.И. Филанович</i> (Ташкент). К вопросу о путях движения ранних кочевников (Чач и Согд на пути кочевников в Бактрию)	124

IV. Культурогенез, интеллектуальный мир и традиционализм

<i>Б. Абдулгазиева</i> (Самарканд). Античная литературная традиция в искусстве Средней Азии	126
<i>Е.В. Абдуллаев</i> (Ташкент). К проблеме греко-буддийского философского взаимовлияния в Бактрии и Индии на материале «Милиндапаньхи»	127
<i>Д. Абдулнасырова</i> (Санкт-Петербург). Тюркский кобуз: историко-археологический аспект	130
<i>Н. Абубакирова</i> (Санкт-Петербург). К изучению музыкальной культуры доисламского Мерва (по археологическим данным и письменным источникам)	132
<i>Н. Альмеева</i> (Санкт-Петербург). «Культурные слои» традиционного музыкального сознания (исламо-христианское пограничье в Среднем Поволжье и татарский песенный фольклор)	134
<i>Г.И. Богомолов</i> (Самарканд). К вопросу о некоторых анимистических представлениях народов Средней Азии	136
<i>И.М. Вызго-Иванова</i> (Санкт-Петербург). Общие явления в древних музыкальных культурах Евразии (на примере анализа одного типа лютневидного инструмента)	139
<i>Дж.Я. Ильясов</i> (Ташкент). Шахревар в Чаганиане.	141
<i>С.Р. Ильясова</i> (Самарканд). Об идеологическом традиционализме («Древо жизни» на керамике Ферганы)	142
<i>С.Н. Кибирова</i> (Санкт-Петербург). Особенности формирования древней культуры оазисов Восточного Туркестана	144
<i>И. Мациевский</i> (Санкт-Петербург). О проблемах взаимодействия музыкальной археологии с инструментоведением и этномузыкологией на рубеже тысячелетий	145
<i>В.А. Мешкерис</i> (Санкт-Петербург). Музыкальная культура древней Средней Азии и ее наследие (бактрийско-тохаристанский вариант в свете археологических данных)	147
<i>А.Б. Никаноров</i> (Санкт-Петербург). Древние церковные колокола Христианского Востока (на примере Эфиопии)	149
<i>В.Ф. Платонов</i> (Санкт-Петербург). Парфянские многоствольные флейты на ритонах из старой Нисы	150
<i>В.А. Свободов</i> (Санкт-Петербург). К проблеме реконструкции грифных хордофонов: музыковедческий аспект	152
<i>Е.С. Таникова</i> (Санкт-Петербург). Тюркский компонент в традиционной музыке мари	154
<i>Ю.С. Худяков</i> (Новосибирск). В вопросе о проникновении мировых религий в Южную Сибирь в эпоху средневековья	156

CONTENTS

I. Multipolar World of Cultures of the East: Cultural Heritage, Problems of Traditionalism in the Development and Interaction

<i>V.M. Masson</i> (Sankt-Petersburg). Traditionalism in the Cultural Heritage of Civilizations of the East	5
<i>A.A. Ambartsumyan</i> (Sankt-Petersburg). Three Parthian Terms from "Ayadgar i Zareran"	6
<i>V.K. Afanas'yeva</i> (Sankt-Petersburg). Shumer Layer of the Mesopotamian Civilization: Literary Texts from a Position of Pedagogics.	13
<i>M.N. Bogolyubov</i> (Sankt-Petersburg). A Khwarezmian Verbal Gloss.	14
<i>A.K. Bondarev</i> (Sankt-Petersburg). Cultural Traditions and the Chinese Economic Miracle.	16
<i>Ya.V. Vasil'kov</i> (Sankt-Petersburg). Aryan-Finno-Ugric Parallels in the Sphere of Mournful Ritual.	19
<i>S.M. Gorshenina</i> (Tashkent). From the History of the Organization of the Study of Central Asian Antiquities (about the Expedition Activities of V.V. Krestovskii).	22
<i>L.L. Gurevich</i> (Sankt-Petersburg). Bukhara Jews and the Problem of the Ten Lost Generations of Israel.	26
<i>S.G. Klyashtornyi</i> (Sankt-Petersburg). Runic Monuments of Talas: Problems of Dating and Topography.	30
<i>A.I. Kolesnikov</i> (Sankt-Petersburg). On the Nature of Variant Readings in the Text of the 5th Book of "Denkard" (in the Manuscripts B and K43b).	34
<i>S.V. Krasnienko</i> (Sankt-Petersburg). Kulanians in the Middle Chulym: a Collision of Traditions.	37
<i>G.A. Pugachenkova</i> (Tashkent). Buddhist Art of Kushan Bactria.	40
<i>I.V. Pyankov</i> (Velikiy Novgorod). On the Ethnic and Linguistic Situation in Bactria by the Time of the Rise of the Kushan Power.	42
<i>S.N. Travkin</i> (Sankt-Petersburg). Cultural Heritage of the "East" in Medieval Antiquities of South-Eastern Europe (on the Instance of Shahr al-Jadid Coins).	43
<i>N.O. Chekhovich</i> (Sankt-Petersburg). A New Cuneiform Document from Phoenician Tyre in the Collection of the State Hermitage (to the Problem of the "Peaceful" Documents among the Ruins).	45
<i>P.V. Shuvalov</i> (Sankt-Petersburg). On the Influence of the Avars upon Late Roman Warfare.	48
<i>D.A. Shcheglov</i> (Sankt-Petersburg). Structure of "Country List" of the Old Persian Inscriptions.	52
<i>A.Ya. Shchetenko</i> (Sankt-Petersburg). Cultural Heritage of the Ancient Indian Civilization.	55
<i>R.N. Frye</i> (Cambridge, Ma). The Achaemenids and Zoroastrian Fire Altars.	59

II. Material Culture of the Ancient Societies of the East and Problems of Continuity and Traditionalism

<i>D. Abdulloev</i> (Sankt-Petersburg). Some Pre-Islamic Traditions in the Medieval Cult Architecture of Central Asia.	61
<i>E. Avganova</i> (Tashkent). Metallic and Combined Sculpture of Central Asia.	63
<i>I.M. Azimov</i> (Tashkent). To the Study of Building Culture of Medieval Kazakhstan.	64
<i>A. Anarbaev</i> (Samarkand). Urbanism Traditions of Ferghana.	65
<i>N.Ye. Vasil'eva</i> (Sankt-Petersburg). Robert Ker Porter's Drawings from the British Library Collection.	66

<i>T.Yu. Grechkina</i> (Samarkand). Burials in the Grotto of Zamicha-tosh.	68
<i>A.G. Grushevoi</i> (Sankt-Petersburg). On the Interpretation of One Episode from Procopius' "Secret History".	71
<i>R.M. Dzhanpoladyan</i> (Sankt-Petersburg). Inscriptions on the Khachkars as a Historical Source.	73
<i>M. Isamiddinov</i> (Samarkand), <i>C. Rapin</i> (Lausanne). About the Cultural Continuity in Sogdiana at the Early Iron Age (according to Building Tradition Data).	74
<i>A.K. Kasparov</i> (Sankt-Petersburg). Statuettes and Bone Tools from the Settlement of Kara-Depe (Southern Turkmenistan).	75
<i>S.M. Kashkai</i> (Baku). About Scythian Objects in Archaeological Sites of Azerbaijan.	79
<i>K.Kh. Kushnareva, M. B. Rysin</i> (Sankt-Petersburg). Bedeno-Alazan Group of Sites of the Caucasus (To the Revision of Chronology, Periodization and Cultural-Economic Relations).	81
<i>I.G. Narimanov</i> (Baku). Excavations at the Necropolis of Buzeir in the Lerik District of Azerbaijan.	82
<i>A.K. Nefiodkin</i> (Sankt-Petersburg). Armament of Warriors of Late Egypt as shown in Toreutics of Phoenician Workmanship of the 8th–7th Century B.C.	83
<i>V.P. Nikonorov</i> (Sankt-Petersburg). On the Source of Plutarch's Information concerning Iron of Margiana.	88
<i>A.A. Raimkulov</i> (Samarkand). Cave Architectural Structures of Central Asia.	92
<i>E.V. Rtveladze</i> (Tashkent). On the Coins of Vakhshuvar, Localization of His Domains and Property of the Oxus Treasure.	93
<i>N.A. Khan</i> (Kirov). On the Role of the Tribute paid to the Golden Horde in the Interrelations between Russia and the Horde.	95
<i>O. Tsepova</i> (Paris). Bactrian Decorated Pottery from Kampyr-Tepe.	96
<i>M. Biran</i> (Jerusalem). Chinese Emperors and Gurkhans: Cultural Traditions in the Development of the Qara Khitai (Western Liao) Dynasty (1124–1211) and the Role of Archaeology.	100
<i>M.J. Olbrycht</i> (Krakow). The Significance of the Arsacid Kingdom in the History of Central Asia.	101
<i>M. Sobti</i> (Atlanta). The Origins of Central Asian Cities: Investigations into the Continuity of Urban Layouts, Formal Spaces and Structure.	105
<i>S. Stride</i> (Tashkent). Archaeological Data Management in Central Asia.	106

III. Development of Nomadic Societies and Problems of Traditions and Continuity

<i>N.A. Bokovenko</i> (Sankt-Petersburg). The Origin of Horsemanship and Stages of the Development of Horse Harness in the Midst of Ancient Nomads of Central Asia.	108
<i>A.Yu. Borisenko, K.Sh. Tabaldiev, Yu.S. Khudyakov</i> (Novosibirsk and Bishkek). Peculiarities of Funeral and Sepulchral Rites in the midst of the Western and Eastern Turks in Middle and Central Asia.	110
<i>V.Yu. Zuev</i> (Sankt-Petersburg). Sarmatian Votive Dagger from the First Barrow near the Village of Prokhorovka.	111
<i>S.S. Minyaev</i> (Sankt-Petersburg). On the Heritage of the Hsiung-nu in the History and Culture of Central Asian Peoples.	115
<i>Vi.A. Semenov</i> (Sankt-Petersburg). Synchronization of Sites of the Trans-Baikal Hsiung-nu and Those of the Late Scythians of Tuva and North-Western Mongolia.	117
<i>A.V. Subbotin</i> (Sankt-Petersburg). The Scythians in the South of Siberia: a Phenomenon of the Tagar Culture.	122
<i>M.I. Filanovich</i> (Tashkent). On the Routes of the Movements of Early Nomads (Chach and Sogdiana on the Nomads' Road to Bactria).	124

IV. Culturogenesis, Intellectual World and Traditionalism

<i>B. Abdulgazieva</i> (Samarkand). Classical Literary Tradition in the Art of Central Asia.	126
<i>Ye.V. Abdullaev</i> (Tashkent). To the Problem of Graeco-Buddhist Philosophical Mutual Influence in Bactria and India on the Materials from the "Milindapanha".	127
<i>D. Abdulnasyrova</i> (Sankt-Petersburg). Turkic kobuz: a Historico-Archaeological Aspect.	130
<i>N. Abubakirova</i> (Sankt-Petersburg). To the Study of the Musical Culture of Pre-Islamic Merv (according to Archaeological Data).	132
<i>N. Al'meeva</i> (Sankt-Petersburg). "Cultural Strata" of Traditional Musical Consciousness (Islam-Christian Borderland in the Middle Volga Region and Tatar Song Folklore).	134
<i>G.I. Bogomolov</i> (Samarkand). On Some Animistic Notions of the Peoples of Central Asia.	136
<i>I.M. Vyzgo-Ivanova</i> (Sankt-Petersburg). General Phenomena in the Ancient Musical Cultures of Eurasia (on the Instance of One Type of Lute-like Instrument).	139
<i>Dzh.Ya. Il'yasov</i> (Tashkent). Shahrevar in Chaganiyan.	141
<i>R. Il'yasova</i> (Samarkand). About Ideological Traditionalism ("Tree of Life" on Ferghana Pottery).	142
<i>N. Kibirova</i> (Sankt-Petersburg). Peculiarities of the Forming of Ancient Culture of Eastern Turkestan Oases.	144
<i>I.V. Matsievskii</i> (Sankt-Petersburg). On the Problems of the Interaction of Musical Archaeology with Instrumental Studies and Ethno-Musicology at the Turn of Millennia.	145
<i>V.A. Meshkeris</i> (Sankt-Petersburg). Musical Culture of Ancient Central Asia and Its Heritage (Bactrian-Tokharistan Variant in the Light of Archaeological Data).	147
<i>A.B. Nikanorov</i> (Sankt-Petersburg). Ancient Church Bells of the Christian East (on the instance of Ethiopia).	149
<i>V.F. Platonov</i> (Sankt-Petersburg). Parthian Multi-barrelled Flutes on the Rhyta from Old Nisa.	150
<i>V.A. Svobodov</i> (Sankt-Petersburg). To the Problem of reconstructing Finger-board Chordophones: a Musicological Aspect.	152
<i>Ye.S. Tanikova</i> (Sankt-Petersburg). Turkic Component in the Mari Traditional Music.	154
<i>Yu.S. Khudyakov</i> (Novosibirsk). On the Penetration of World Religions into Southern Siberia during the Middle Ages.	156



**РОССИЙСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РАН**

Дворцовая наб., д. 18
191186 Санкт-Петербург, Россия
тел.: (007) 812-3121484
fax: (007) 812-3116271
e-mail: adm@km1213.spb.edu

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОСТОЧНЫХ
ДРЕВНОСТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

В сентябре 1998 г. на общем собрании ученых, изучающих восточные древности, было образовано Восточное отделение Российского археологического общества (далее – ВОРАО) как продолжатель и правопреемник Восточного отделения Российского императорского археологического общества, прекратившего свою деятельность в 1924 году.

ВОРАО воссоздается для содействия и активизации научно-исследовательской, научно-организационной и популяризаторской деятельности по изучению древних и средневековых культур Востока, в том числе в их связях и взаимодействиях с культурами и культурными явлениями народов и регионов Российской Федерации и других стран СНГ. Деятельность ВОРАО опирается на традиции и достижения отечественной науки в области изучения древностей Востока и направлена на разработку проблем археологии, эпиграфики, нумизматики, сфрагистики и культурного наследия. Предполагается возобновить публикацию “Записок” прежнего ВОРАО, последний том которых (№ 25) увидел свет в 1921 году. В настоящее время готовится к печати очередной том (№ 1/26).

ВОРАО уже объединил в своих рядах многих сотрудников из Института истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН, Государственного Эрмитажа, Восточного факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета и ряда других организаций Санкт-Петербурга, а также из научных центров России и СНГ. В частности, коллективным членом ВОРАО стала кафедра древней истории Московского Государственного Университета.

Избран Президиум ВОРАО в составе трех человек: акад. РАЕН В. М. Массон (Институт истории материальной культуры РАН) – председатель, акад. РАЕН Л. Н. Меньшиков (Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН) и акад. РАЕН А. А. Иванов (Государственный Эрмитаж).



**RUSSIAN ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
ORIENTAL DEPARTMENT**

RUSSIAN ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

**RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF THE HISTORY OF MATERIAL
CULTURE**

Dvortsovaya nab. 18
191186 Sankt-Petersburg, Russia
tel.: (007) 812-3121484
fax: (007) 812-3116271
e-mail: adm@km1213.spb.edu

**RENEWAL OF THE CENTRE FOR THE STUDY OF ORIENTAL
ANTIQUITIES IN SANKT-PETERSBURG**

The Oriental Department of the Russian Archaeological Society (hereafter – ODRAS) was re-established in September 1998 by a general meeting of the scholars exploring Oriental antiquities. It is a continuer and competent successor of the Oriental Department of the Imperial Russian Archaeological Society which had put an end to its existence in 1924.

The ODRAS sets itself as an object to promote the making more active of scientific-research, scientific-organizational and enlightenment activities in the sphere of studying ancient and medieval cultures of the East, including their relations and interactions with cultures and cultural phenomena of the peoples and regions of the Russian Federation and other countries of the Commonwealth of Independent States (CIS). The activities of the ODRAS lean upon the traditions and achievements of the Russian studies of Oriental antiquities and are directed to elaborate the problems of archaeology, numismatics, epigraphy, sphragistics and cultural heritage. It is supposed to resume the edition of the "Memoirs" of the former ODRAS, the last volume of which (No. 25) had come out in 1921. Now a next volume (No. 1/26) is in process of the preparation for publishing.

The ODRAS has already united many researchers from the Institute of the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, the Sankt-Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, the State Hermitage, the Oriental Faculty of the Sankt-Petersburg State University and from a number of other institutions of Sankt-Petersburg, as well as from scientific centres of Russia and the CIS. In particular, its collective member is the Department of Ancient History of the Moscow State University.

The Presidium of the ODRAS has been elected in the composition of three personalities, all of whom are Academicians of the Russian Academy of Natural Sciences: Prof. Vadim M. Masson (Institute of the History of Material Culture) as President, Prof. L. M. Men'shikov (Sankt-Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies) and Prof. Anatolii A. Ivanov (State Hermitage).

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОСТОКА

**Культурные традиции и преемственность
в развитии древних культур и цивилизаций**

ЛР № 065334 от 7 августа 1997 г.

Формат 60x90 в 1/8. Печать офсетная.

Бумага офсетная. Печ. л. 10.3

Заказ № 380

Европейский Дом

191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3

Петербургкомстат

197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, 39